

ПОСЛЕДНИЙ



ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН

МИКРОРАЙОН

Цена 68 коп.



МИКРОФИОН



**ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН**

# **МИКРОРАЙОН**

**РОМАН**

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
"СОВЕТСКАЯ РОССИЯ"  
МОСКВА • 1963

Лазарь Карелин, автор повестей «Младший советник юстиции», «Общезнание», «Надежда и любовь», «Открытый дом» и других, неизменно верен в своих книгах теме современности, теме становления характера молодого человека, вступившего на самостоятельный путь в жизни.

Героя романа «Микрорайон» Михаила Анохина принимают в кандидаты партии. Две книги романа вбирают в себя всего лишь несколько недель партийной проверки будущего коммуниста на стойкость, на верность делу партии. Но эти недели заполнены событиями подлинно драматическими, заполнены нелегкой борьбой. Выполняя первое партийное поручение, работая агитатором, Михаил Анохин смело вступает в бой со всем старым и отжившим, что мешает молодому району ладить новую, счастливую жизнь. Роман посвящен людям сегодняшней Москвы.

# **КНИГА ПЕРВАЯ**



**Е**му не удавалось застать ее дома. Даже вечером. Тогда он решил прийти к ней чуть ли не ночью. Спать-то домой она является. Ему обязательно нужно было ее увидеть.

Нина Васильевна Лагутина, 1940 года рождения... Вот и все, что он знал о ней. Надо было проверить, верно ли она записана, тот ли год ее рождения. Надо было отметить ее в списках избирателей. Сама она сделать это не удосужилась.

1940 год... Ему, Михаилу Анохину, всего на два года больше. Интересно, какая она? Впрочем, он наперед знал, какая. Вот распахнется, наконец, дверь ее квартиры — она жила в комнате-квартире и, видно, одна жила, — и на пороге встанет этакая насмешливая девица. «Да? Вы ко мне? Вы агитатор? Ну-ну, что же вы мне скажете, товарищ агитатор?..»

Дом, в котором жила Нина Лагутина, был совсем еще новым. Его заселили минувшим летом. Это был дом-близнец с тем, что стоял справа от него, и с тем, что стоял слева. Девять этажей, белый кирпич, широкие окна, в цокольных этажах магазины.

Но это только на первый взгляд дома-соседи казались близнецами. Михаилу Анохину, здешнему старожилу, они представлялись очень разными. Похожими и очень разными.

Дом, что стоял справа, заметно возвышался над другими. Он будто всходил на крутой холм и, одолев его, оказывался лицом к лицу с недалеким лесом. Здесь до поры Москва обрывалась. И здесь почти всегда дули сильные ветры. Дом заступал им дорогу в город. Он был обветренный и суровый. И чем-то напоминал Анохину флагманский корабль в открытом море. При желании можно было легко принять его плоскую крышу за палубу, выступ карниза — за капи-

танский мостик, вентиляционную трубу — за парходную.

Дом напротив (а они соседствовали, разделенные небольшой внутренней площадью) был так же спланирован, что и первый. Но он стоял на ровном месте и потому казался поменьше ростом. Ему не нужно было принимать на себя ударов ветра, и в облике его не было той суровости, которая была у его соседа. Как ни старайся, представить его кораблем в море было нельзя. В этом доме и жил Михаил Анохин. Вот уже два года, как они с матерью переехали сюда из центра, когда их маленький домик в два этажа, такой самый, какие в старину назывались флигелями, пошел на слом.

И, наконец, дом-новичок, что стоял в глубине внутренней площади. Снова та же планировка, но и снова что-то свое, какая-то своя стать. Должно быть, по молодости он выглядел очень уж щеголеватым. В его окнах виднелись причудливые растения, развевались прозрачные ткани. Вечером, когда вспыхивали в окнах огни, можно было разглядеть с улицы совсем новую в комнатах мебель — легкую и тонконогую. Да и весь дом казался легким, точно со вскинутой головой, точно только и забот было у него, что смотреть своими окнами в высокое небо.

Вот и разберись: и похожи дома и совсем разные. Но то, что дома похожи, что одинаково спланированы, выстроены из одного материала, равно удобны и даже с одними и теми же недостатками — и это тоже нравилось Михаилу Анохину. Ведь таким вот сходством здесь как бы утверждалось равенство возможностей для людей. Утверждалась справедливость.

Анохин поднялся в лифте на восьмой этаж, прошел по узкому коридору, в глубине которого, как и в каждом подъезде и во всех трех домах, находились комнаты-квартиры, и сильно постучал в дверь. Он уже привык так стучать в эту дверь, потеряв надежду, что кто-нибудь отзовется на его стук. Звонка на двери не было. Его кто-то сорвал безжалостной рукой. И, видно, та же рука начертала на стене чем-то острым гневно и размашисто: «Ненавижу!» Эту надпись пытались затереть, но тщетно. Буквы глубоко, яростно врезались в стену.

— За что же это тебя, Нина Лагутина? — негромко спросил Анохин, когда в первый раз оказался перед ее дверью. Вот тогда-то он и представил себе девушку, которая вот-вот должна была встать на пороге. И представил того, кто написал ей столь яростное послание в одно-единственное слово. Они увиделись Анохину с зримой отчетливостью — эти два неведомые ему человека. Она была красива и заносчива, он — неказист и робок. Она подсмеивалась над ним, он был ей совсем не нужен. А он любил ее и молча сносил ее насмешки, все чего-то ожидая, на что-то надеясь. И только уж в очень худую для себя минуту, в очень обидную, написал на стене свое «Ненавижу!» и ушел. Старая-престарая история...

Анохин снова постучал в дверь — коротко и тихо, как стучат, смиряясь с тем, что никто тебе не откроет. Но вот на этот как раз постук за дверью откликнулся робкий голос:

— Кто там?

— Из агитпункта! — радостно гаркнул Анохин.

— Откуда?

— Из агитпункта, — уже потише сказал Анохин. — Я к вам неделю целую хожу. Все нет и нет. Вы уж простите, что так поздно. Я на одну только минуточку.

— Но теперь почти ночь... — Голос за дверью звучал недоверчиво и все так же робко.

— Да вы что — боитесь меня?

Молчание.

— Нет, честное слово, я из агитпункта.

Молчание.

— Хорошо, не открывайте, — сдался Анохин. — Скажите только — вы Лагутина?

— Да.

— Нина Васильевна?

— Да.

— Сорокового года рождения?

— Сорокового.

— Ну вот, собственно, и все пока, — рассмеялся Анохин. — Правда, хотелось бы взглянуть на вас, какая вы есть. Ох и настучался я в вашу дверь. Даже злость взяла. Спокойной ночи, Нина Васильевна. Заходите к нам в агитпункт. Зайдете?

Снова молчание.

— Только, конечно, не ночью,— сказал в молчащую дверь Анохин и пошел к лестнице.

— Пойдите! — за его спиной щелкнул замок.

Анохин обернулся. В дверях, в ярко освещенном прямоугольнике, легко прислонясь плечом к косяку, стояла невысокая худенькая девушка, большеглазая и бледная, с какой-то черточкой-приметиной в лице, у глаз, у губ, приметинной то ли испуга, то ли усталости.

И Анохин вдруг вспомнил... Скверный осенний день с низким серым небом, с морозящим дождем. Ветрено. Холодно. А на улице играет оркестр. Бухают без звона медные тарелки, хрипло вздыхают трубы. Похороны.

Из подъезда нового дома, где совсем еще недавно справлялись новоселья, выносят гроб. Провожающих человек десять. И все они толпятся вокруг гроба, поддерживая его, кому как сподручнее. И все они спешат — дождь ведь! — одолеть короткий путь от подъезда до похоронного автобуса.

Не спешит лишь одна женщина. Тоненькая, в длинном черном платке, медленно и шатко идет она вслед за гробом. Не понять, молода ли, стара ли. Но вот и она дошла до автобуса, кто-то подсадил ее, и машина тронулась.

Разом смолкла музыка. Перегоняя друг друга, оркестранты побежали к своему автобусу, продувая и стряхивая на бегу трубы. Еще минута — и улица опустела.

Но Анохин все не уходил, горько и странно пораженный увиденным, и все шла и шла перед его глазами своей шаткой походкой женщина в черном платке, не понять — молодая или старая.

И вот она стоит перед ним — Нина Васильевна Лагутина, 1940 года рождения — та самая женщина в черном, что шла тогда за гробом. Он узнал ее.

— Заходите,— сказала она и посторонилась, открывая перед Анохиным путь в ярко освещенную переднюю своей квартиры.

— Ночь ведь...— Анохина вдруг взяло сомнение.

Она улыбнулась и прямо и не робко глянула ему в лицо.

— А стучали. Да вы что — боитесь меня?

Она дождалась на пороге, когда он войдет в дверь, в узком дверном проеме они мимолетно коснулись друг друга, и Анохин увидел ее тонкие светло-темные волосы, увидел карие пятнышки в ее серых глубоких глазах, и влажные неровные зубы, и белесую, совсем ребячью еще полоску, гибко очертившую тронутый помадой рот.

В передней было как-то по-праздничному светло. И было очень чисто, прибрано. Все вещи — плащи и пальто на вешалке, резиновая обувь и лыжи с зачехленными концами сверкали почти магазинной новизной. Только в углу между дверью и вешалкой одного жался портняжный манекен с истрескавшейся пышной грудью и осиной талией, до дыр исколотой булавами и до бурых пятен захватанной руками.

Странно, но одна-единственная эта ветхая вещь в блистающей новизной передней сводила на нет всю здесь праздничность и светлость. Казалось, это безголовое существо нарочно проникло сюда, чтобы своим зловещим убожеством непрестанно о чем-то напоминать. О чем-то давнишнем и тягостном, что ютилось в подвалах, где тускло горели лампочки, скверно пахло паленым сукном, заслуженным мелом и перекалившимися утюгами.

— От мамы унаследовала, — проследив взгляд гостя, сказала Лагутина. — Не выбрасывать же. Раздевайтесь. Проходите.

Она протянула руку и взяла у Анохина шапку. Чуть подумала, куда бы ее деть, и, усмехнувшись, водрузила на тулово манекена.

— А ему, оказывается, идет пыжик.

— К лицу, — кивнул Анохин. — Похоже, что это не он, а она.

— Разбираетесь. Это — она. Кокетка, модница, бой-баба. Наверное, сто лет уже гонится за модой. Я, когда маленькой была, с ней в куклы играла. Я звала ее мадам заказчицей. Мы не очень-то дружили, но что подделаешь, всегда вместе — никуда не денешься. Ну, снимайте, снимайте ваше пальто, товарищ агитатор.

— Тоже на нее накинуть?

— Нет, что вы! Бобрик толстит!

Они прошли в комнату. Здесь, пожалуй, было еще светлее, чем в передней. И уже ничто не омрачало магазинной новизны мебели, занавесок, книг. Ни единого старского корешка не виднелось за стеклом книжного шкафа. Даже картина на стене поблескивала такой масляной свежестью, что нельзя было разглядеть, про что эта картина.

— «Отречемся от старого мира! Отряхнем его прах с наших ног!» — оглядываясь, сказал Анохин.

— Вот именно, — рассмеялась Лагутина. — Вам не нравится?

— Нравится.

— Всем нравится. Всем очень нравится. Знаете, когда мы с мамой сюда переехали, когда все это тут расставили и развесили, мама села вот в это креслице и сказала: «Ну, теперь можно и умирать спокойно. Теперь я за тебя не боюсь». — Что-то дрогнуло в голосе Лагутиной, точно заспорили внутри него два разных звука — усмешливый и горький. И лицо у нее стало такое же: губы улыбались, глаза грустили. — А через месяц...

— Я знаю, — сказал Анохин. — Я видел, как вы хоронили свою мать. Осенью.

— Осенью... — Лагутина села на тахту, движением руки приглашая сестру и Анохина. — Вы живете в нашем доме?

— В соседнем, в корпусе «Б». — Анохин продолжал стоять, не решаясь сесть в предложенное ему кресло — то самое, в котором сидела мать Нины Лагутиной незадолго до своей смерти.

— Вот как! А я в вашем доме работаю.

— В столовой?

— Нет, в ателье.

— Вы — портниха?

— Не совсем. Я — приемщица. Выписываю квитанции, обмеряю отрезы, даю советы.

— А чему вы учились? Или вы еще учитесь?

— Еще учусь.

— Где?

— Все там же — на приеме заказов.

— Разве это такое уж трудное дело?

— Такое уж.

— Вы кончили десятилетку?

— Давным-давно.

- А как с институтом?
- Никак. Сунулась, провалилась — и все тут.
- Мечтаете поступить в какой-нибудь?
- Нет, не мечтаю.
- Что-то не верится.

— А вы поверьте. — Она обвела Анохина медленным и откровенно насмешливым взглядом, зорко как-то и очень уж по-взрослому разглядывая его. Точно оценивая, что стоит и он сам и его одежда. И Анохин, страшно отчего-то смутившись, вдруг увидел себя со стороны и ее глазами. Неуклюжий малый, длиннорукый и длинноногий, с широким безвольным лицом, с толстенными губами и каким-то дурацки разляпистым носом, да к тому же в очках, да к тому же в старом и маловатом уже костюме, — вот такая нескладная личность увиделась Анохину, когда он вдруг глянул на себя как бы со стороны.

Анохин никогда сам себе не нравился. И что только не делал он, когда был мальчишкой, чтобы придать своему лицу хоть сколько-нибудь воли. Он часами ходил плотно стиснув губы, хмурился, раздувал ноздри. Но стоило ему заговорить, как лицо его вновь становилось широким и мягким, без единой волевой черточки. А потом пришлось надеть очки. Тут уж и хмурый вид не спасал. Да еще это имя — Михаил, Мишка, Мишенька. Ребята в школе почему-то решили, что он добряк и очень покладист, хотя никакой особенной доброты или там уступчивости Анохин за собой не замечал. Ни в школе, ни на курсах киномехаников, где проучился два года, ни потом, когда начал работать. На работе тоже почему-то решили, что он этакий добрый малый, простая душа.

— Садитесь, — улыбнувшись, сказала Лагутина, словно разглядела в Анохине что-то такое, чему нельзя было не улыбнуться. — Чего это вы переминаетесь с ноги на ногу, как ученый медведь?

— Вот-вот — уже и медведь. — Анохин поспешно и не очень-то ловко уселся в кресло. — Между прочим, меня Михаилом звать. Так что все правильно.

— Чай пить будете?

— Спасибо, я же не в гости к вам.

— Ах, да — ведь вы агитатор. Ну и что же? Я недавно видела в газете фотографию, как агитатора

чаем поят. Все такие нарядные, торжественные, и все влюбленно смотрят агитатору в рот. Интересно, про что он им там рассказывал? Ну вот вы, про что вы мне станете рассказывать?

— Пока вроде не про что, — замялся Анохин. — Выдвинут кандидатов — вот тогда их биографии вам расскажу.

— Нет, это неправильно! — явно подшучивая над парнем, очень уж горячо запротестовала Лагутина. — Вы и сейчас мне должны что-нибудь рассказать.

— Должен?

— Конечно. Это ваша обязанность. Вы должны нам про все рассказывать, все объяснять, втолковывать. А как же! И если надо, то и помочь нам должны с ремонтом там или еще с чем. Например, у меня муж запойный. Значит, вы должны...

— У вас есть муж? — встревожился Анохин. — Он с вами живет? Отчего же он не значится в моем списке?

— Да нет, нет у меня никакого мужа! — рассмеялась Лагутина. — Списки! Вам бы только списки проверить — и делу конец. Эх вы, агитатор!

Анохин поднялся, прощаясь, прижмурил за очками смущенные глаза.

— До свидания, Нина Васильевна. Заходите к нам на агитпункт, он в вашем доме находится. Знаете, где библиотека. Там у нас концерты будут, лекции. А агитатор я, конечно, не ахти какой. Опыта нет. Это ведь мое первое партийное поручение.

Говоря все это, Анохин потихонечку продвигался к двери в переднюю.

— А вы обидчивый. — Лагутина быстро поднялась с тахты, заступая ему дорогу. — Я же пошутила. На что мне ваша агитация — я и сама все знаю. Можете даже и не приходить больше ко мне, все будет в порядке.

— А биографии кандидатов? — улыбнулся Анохин.

— На стенке читаю.

— А если вопросы какие?

— Обойдусь без вопросов. — Лагутина продолжала стоять в дверях, не давая Анохину выйти из комнаты.

— Так я пойду, — качнулся он вперед.

Лагутина не отстранилась.

— Значит, вы — партийный? — спросила она. — Сколько же вам лет?

— На два годика вас постарше.

— Вот как? Мне показалось, как раз наоборот.

— Это из-за очков, — почему-то вдруг хриплым голосом сказал Анохин. — Меня очень очки молодят.

— Верно? — Она глянула на него и быстро нахмурилась, чтобы не улыбнуться. Но все равно он успел приметить усмешку в ее глазах.

— Так я пойду, — снова подался он вперед.

Она точно не слышала его слов, продолжая оставаться в дверях. Теперь она не смотрела на Анохина. Усмешливые искорки сгасли в ее глазах, губы поджались, и черточка-приметина то ли испуга, то ли усталости еще явственней обозначилась на ее лице.

— Погодите... — она проговорила это слово тревожно и шепотом и с той же тревогой спросила: — А хорошо быть партийным?.. Интересно?..

— Трудно, — сказал Анохин. — Спрос с себя какой-то другой. И все думаешь, как что получше бы сделать. А то о таком задумаешься, о чем и не думал никогда во всю свою жизнь.

Замолчав, Анохин почувствовал, как жаркий стыд ожег ему щеки. С чего это он вдруг разоткровенничался с совсем чужим ему человеком? Да она и не слушала его вовсе. Она спрашивала и не спрашивала. Ей безразличны были его слова. Ей важно было лишь о чем-то говорить с ним, все равно о чем, лишь бы только он не ушел вот прямо сейчас, чтобы еще хоть ненадолго задержался. Зачем? Что ей от него нужно?

Недавно начавшийся и все нараставший гул на лестнице оборвался. Совсем близко громко хлопнула дверь лифта.

— Вот! — одними губами вскрикнула Лагутина и резко обернулась всем телом к входной двери. И замерла, вслушиваясь в приближающиеся шаги. Они были тяжелы и неспешны, чуть пришаркивали на ходу подметки. Так пришаркивают на танцуйках иные парни, направляясь к своим девушкам. Походка вразвалочку, руки по-боксерски согнуты в локтях, на лице такая бывалая улыбочка. Хозяин, хозяин идет! Вот протянет сейчас руку, не сказав ни слова, облап

девчонку за талию, и пошел и зашаркал, как-то странно и дрянно уснув лицом.

Анохин ненавидел таких парней. Давно уже. С мальчишеских лет. Он подозревал в них какую-то червоточину. И не верил, что они до отчаянности смелы, что надежны в мужской дружбе, что за внешней их грубостью скрывается строгая доброта. Он понагляделся на них, еще когда жил в своем старом доме, выходившем окнами в большой и шумный двор. Эти парни свято считали, что тот, кто сильнее, тот и прав. А Миша Анохин этого не считал. И немало натерпелся за свое упрямство. Бывал и бит, и обманут, и высмеян.

В дверь постучали, осторожно или робко — не понять. Как-то очень уж тихо и коротко. До странности похож был этот стук на тот, каким постучался сюда Анохин, изверившись, что ему откроют. Но как раз на этот-то тихий его постук Лагутина и открыла. А когда он стучал изо всех сил, в квартире царило безмолвие. Что так?

— Вот! — снова беззвучно шевельнула губами Лагутина, порывисто оборачиваясь к Анохину. — Не говорите ему, что вы агитатор, — просительно зашептала она. — Мы с вами — школьные друзья. Хорошо? И называйте меня Ниной и на ты. Прошу вас!

Не ожидая ответа, она устремилась к двери.

— Сейчас! Сейчас!

Анохин повернулся и вошел в комнату.

— Миша, куда же ты? — громко позвала его Лагутина. — Женья, познакомься с моим школьным другом!

Анохин продолжал стоять спиной к двери. Он совсем не спешил включаться в весьма странную игру, затеянную Лагутиной, Ниной Васильевной Лагутиной, 1940 года рождения, к которой он пришел лишь затем, чтобы отметить ее в списках избирателей. Какой еще там школьный друг? И почему это он не должен говорить, что он агитатор?

Тяжелая рука легла ему на плечо.

— Здорово, браток. — Голос был упруг и бодр. — Грешным делом, не помешал? — Рука все еще оставалась на анохинском плече, и даже шевелились пальцы, чтобы поудобнее улечься.

Анохин резко повернулся, скидывая с плеча эту

бесцеремонную и, как ему показалось, потную, короткопалую руку:

— Ну, здорово, браток...

Но вовсе не «браток» стоял перед ним. Коренастому, с грузными плечами человеку перевалило за тридцать. Он был круглолиц и лысоват. И ему не обязательно было улыбаться — все равно лицо у него смеялось. Это из-за усмешливо прищуренных глаз и потому, что морщинки вокруг глаз, в уголках губ и у короткого носа уже накрепко выучили свои места. Они не исчезли вот и сейчас, хотя круглолицый смотрел на Анохина испытующе и строго, точно спрашивал: «Откуда ты тут взялся, мальчишка?» А круглое лицо продолжало смеяться всеми своими прикованными к месту веселыми морщинками.

«Человек, который смеется», — подумал Анохин. Ему стало не по себе, и он быстро отвел глаза.

— Здравствуйте. — Он виновато улыбнулся, как бы прося прощения за свое «Ну, здорово, браток». — Анохин. Михаил Анохин.

— Евгений Князев, — протянул ему руку «человек, который смеется». Рука оказалась крепкой, жарко-сухой, с ухватистыми жесткими пальцами. — Так вы школьный друг?

Анохин поднял глаза на Лагутину. Она ждала, встав за спину Князева, чтобы Анохин поглядел на нее, и быстро, судорожно кивнула ему, всем своим тревожно напрягшимся лицом прося, приказывая, чтобы он утвердительно ответил на вопрос Князева. Нет, это была не игра, то, что затеяла Лагутина. Тут происходило что-то серьезное, и его, Анохина, всерьез просили сейчас о помощи. Нельзя было медлить, и он коротко, отрывисто кивнул, будто отвечая кивку Лагутиной, и невнятно пробормотал:

— Да, школьный друг...

— Вот и славно! — бодро воскликнул Князев, внезапно обернувшись к Лагутиной. — Перемигиваетесь? А почему? Что за утайка?

Анохин изумленно глядел на девушку. Какое-то мгновение еще держалась на ее лице тревога, но только покуда Князев поворачивал к ней свою круглую голову. И вот уже на лице Лагутиной появилась улыбка, правда, не слишком веселая, но улыбка. И лишь

глаза были прикрыты ресницами. Казалось, она просто ненадолго устало прижмурилась.

— Нет, мы не перемигиваемся,— сказала она очень спокойным, ровным голосом и спокойно, чуть-чуть удивленно поглядела на Князева.— Вот ведь, случайно встретились, а оказывается, почти соседи. Он в корпусе «Б» живет, в том самом, где наше ателье.

— Недавно переехали? — быстро спросил Князев, уставив на Анохина свое улыбающееся лицо.— Чем занимаетесь? У мамочки с папочкой под рукой или уже сами по себе?

Слова Князев выговаривал с таким напором, что казалось невозможным немедленно же не дать на все его вопросы исчерпывающих ответов.

— Нет, я здесь уже давно живу,— сказал Анохин.— Как дом построили, так и переехал. Вместе с матерью.

— А папочка?

— Отец погиб на войне.

— Ну-ну,— зачем-то решил похлопать его по плечу Князев.— Стало быть, солоно досталось, паренек? Профессия имеется?

— Имеется. Я — киномеханик.

— Дело! Киномеханик? Дело! Платят, правда, маловато и украсть вроде нечего, но работенка не из последних. Кино! Это, браток, как универсальный магазин. Дешевка пополам с дорогим товаром. Смекать надо! Можно ведь и на режиссера выучиться. А? Как думаешь? С течением времени. Или там на оператора. Ведь правильно?

— Правильно,— кивнул Анохин.

Все тягостней становился ему этот разговор. Он чувствовал себя глупее глупого. Каким-то мальчишкой, которого выспрашивает скуки ради лукавый дяденька. Но ничего не поделаешь, он уже ввязался в эту непонятную ему игру-неигру, и отступать было поздно. Да и Лагутина отошла лицом, повеселела и ласково кивала ему, когда он отвечал Князеву. Значит, его ответы были как раз такими, какие ей нужны. А зачем? Что все-таки тут происходит?

«Ладно, потерплю,— решил про себя Анохин.— Помогу девушке. Но только дальше спрашивать буду я...» И тотчас начал справляться с этим делом:

— А у вас как с профессией — имеется? — спросил он Князева, испытующе и строго, как ему показалось, поглядев на него.

— Есть, есть, а как же! — точно отмахнувшись, быстро проговорил Князев.

— Воевали? По годам вы вроде должны бы были воевать.

— И по сей день, и по сей день воюю, — посмеялся морщинками Князев, зорко так и колко глянув на Анохина. — Вся наша жизнь — война. — Внезапно он как-то привычно устало сгорбился. — Имею два ранения. Это ты не гляди, что я такой бугай. Видимость. Инвалид третьей группы. — И вдруг весело, на этот раз от души, рассмеялся. — Но, конечно, меня ветром с ног не сдуешь. Выпьем? — Шагнув к буфету, Князев по-хозяйски широко распахнул дверцы. — Водку пьешь, кавалер?

Лагутина поспешно отрицательно качнула головой.

— Пью! — с вызовом отозвался Анохин, вконец озлясь от этой новой подсказки, как ему следует себя вести. — Но только с друзьями!

— А я разве не друг?

— Вы?..

— А как же! Школьный друг моей невесты — и мне друг.

— Так она невеста вам?

— Угадал. Нареченная. Еще матерью ее обещана завещана. Вот оттраурничаем — и к венцу.

Князев подошел, ловко неся в растопыренных пальцах графин, рюмки, вилки и даже тарелки с какой-то закуской. Он нес все это с официантской ухватистостью, плавно поводя плечами и мягко ступая. И снова что-то вспомнилось Анохину, когда он глядел сейчас на Князева, что-то давнишнее, смутное, виденное даже и не в жизни, а в очень старой кинокартине. Верно, так вот, совсем так же вот бегали между столиками в трактире половые — ловкие, угодливые и наглые. И кипела вокруг них жизнь — судорожная и какая-то зловещая. Люди странно дергались в старой картине, странно гримасничали, беззвучно выкрикивая слова. Наверно, точно такие же: «Водку пьешь, кавалер?.. Нареченная... Обещана-завещана...» А потом вспыхну-

ла на экране короткая надпись, то ли поясняя, то ли глумясь: «В трактире становилось все веселее».

Веселее!.. Диким и зловещим дохнуло с экрана на Мишу Анохина. И запомнилось, впечаталось в память как что-то затхлое, безысходное, тяжело враждебное. Увидится такое во сне — проснешься. Люди не должны так гримасничать, выламываться, так угождать и неистовствовать, будто бы веселясь.

Видение промелькнуло и исчезло, словно в зале зажегся свет. И все вокруг стало обычным, нынешним — и эта вот новенькая мебель, и эти вот новенькие корешки книг в шкафу, и это вот широкое, в полстены окно, с нынешними, поближавшими звездами за ним.

У низкого журнального столика умело хлопотал Князев, устанавливая графин, рюмки, тарелки. И он здесь тоже был вполне на месте, вполне под стать этой новой комнате — в новом и ладно сидящем на нем костюме.

И вот уже рюмки налиты, и вот уже сошлись, осторожно звякнув, над столом.

— Пусть нам будет хорошо! — строго и как-то истово произнес Князев и поспешно кинул содержимое рюмки в рот. Жадно глотнул, не закусывая, налил себе еще. — Пусть нам будет хорошо! — И снова жадным глотком осушил рюмку.

И снова мелькнуло в глазах Анохина чье-то дико очерившееся лицо, чья-то дернувшаяся рука с зажатой в пятерне рюмкой. И точно кто глумливо шепнул ему: «Пусть нам будет хорошо!..»

— А ты что же? — воззрился на Анохина Князев.

— Нет, я пить не стану, — сказал Анохин.

— Что так? Расхотелось?

— Расхотелось.

— Ну, а ты, Ниночка? — Князев твердым, коротким движением протянул Лагутиной рюмку.

Она взяла ее, трудно глянула в ее синеватое нутро и выпила, некрасиво, безвольно искривив рот. Потом посмотрела исподлобья на Анохина, с укором и даже зло, будто это он был виноват в том, что она вот пьет, хотя ей и не хочется.

— Эх ты, Миша! — проговорила она совсем тем же насмешливо-укоризненным тоном, как и свое недавнее: «Эх вы, агитатор!..»

— А что — Миша? — быстро спросил Князев. — Чем это он плох — твой Миша? Не пьет? Обучим. — Он снова налил себе и сам же себе укоризненно покачал головой. — Торопись, Князев. Устал... — Он присел к столу, медленным движением отодвинул от себя рюмку и вдруг очень внимательно, распрямив почти все свои насмешливые морщинки, поглядел на Анохина. — А ты кто таков, молодец?

— Я же говорила тебе — мы вместе учились в школе, — сказала Лагутина. — Не хватит ли вопросов?

— Я не спрашиваю, я думаю, — все продолжая разглядывать Анохина, отозвался Князев. — Кто с кем учился и в салочки играл — это мне ни к чему. Я смотрю, что за человек ко мне за полночь в дом пришел. Сорта какого. Вот что важно!

— Это мой дом, — тихо сказала Лагутина.

— Ну, твой — все едино.

— Нет, не едино, — не возвышая голоса, но с ожесточением сказала Лагутина. — Это — мой дом.

— Владей, владей, — усмехнулся Князев. Он продолжал смотреть на Анохина, и так и сяк наклоняя голову, точно вещь какую приглядывал, годится ли, стоит ли покупать. — А у меня к вам еще один вопросик, молодой человек. Единственный. Разрешите задать?

— Валяйте, — сказал Анохин.

Князев поднялся, не спеша обогнул стол и выпрямился, приземистый и широкий, перед Анохиным.

— Вот что... — Он глядел в упор. — Зачем пришел?

Анохин не отвел глаз, хотя совсем не просто было мериться взглядом с этим изморщившимся в улыбке, но с красновато-взбешенными глазами человеком. И не так-то просто было ответить ему на его вопрос, помня о просьбе Лагутиной, той самой Нины Васильевны Лагутиной, 1940 года рождения, к которой он пришел всего лишь затем, чтобы... Анохину показалось, что он слышит ее дыхание. Прерывистое и затаенное, — так дышат, чего-то испугавшись.

— Мы с ней друзья, — сказал он. — Вот и пришел...

— Влюбленный в нее, что ли? — Они продолжали смотреть друг в друга.

— Не ваше дело.

— Не мое! — радостно сморгнул Князев. — Вот это

сказанул! Не мое! Ну, ладно, больше вопросов к тебе не имею, друг. Можешь идти до дому до хаты, мне надо с Ниной поговорить.— И он жесткой рукой подтолкнул Анохина к двери, добродушно прикрикнув: — Иди, иди, невеста она мне или нет?!

Анохин не стронулся с места. Горячая волна гнева хлестко ударила его по глазам. Он зажмурился и быстро сдернул очки, чтобы хоть что-то различить в обступившем его тумане.

Князев истолковал это движение по-своему.

— Дратся надумал, очкарик? — весело спросил он.— Со мной?

Он бесстрашно, будто целоваться, придвинул к Анохину свое смеющееся лицо. Он, кажется, и вправду обрадовался вспышке Анохина.

— Гляди-ка, соперничек! — Князев дружески хлопал Анохина по плечу, дружески и как бы жалеючи покивал ему.— Задача...— Он удивленно покосился на Лагутину.— Да откуда ты его выкопала?

— Сам выкопался. Ты бы лучше не задевал его, Женя.

— Прибьет?

Лагутина не ответила.

Чуть-чуть в тумане увиделось Анохину ее лицо. Ему показалось, что Лагутина смотрит на него с надеждой, с одобрением. И его вдруг очень обрадовало, что все как-то выходит так, как ей нужно. Зачем да почему — это его сейчас не занимало. Он знал лишь, он уверился в том, что Лагутиной было очень нужно, чтобы он остался, чтобы назвал себя ее школьным другом, чтобы не спасовал перед Князевым. Он понял, ей трудно с Князевым, она боится его. И он очень хорошо теперь понимал: да, с таким трудно, да, с таким страшно. Но почему, почему? Ведь он совсем не знал этого человека, он едва только соприкоснулся с ним, едва обменялся несколькими фразами. Нет, не так: он давным-давно знал его и давным-давно ненавидел. Все в нем ненавидел! Каждое его слово, жест, даже шаркающий звук его шагов, даже этот вот веселый уклад морщинок на лице.

— Так как же, паренек, пойдешь ты до дому до хаты? — продолжая чему-то радоваться, спросил Анохина Князев.

— Уйдем отсюда вместе,— сказал Анохин.

Он снова надел очки. Да, верно, Лагутина этого и хочет, чтобы они ушли вместе. Он правильно ответил. Она хочет, чтобы он помешал Князеву остаться с ней вдвоем.

— Задача...— чуть прихмурившись, протянул Князев.— А если я тебя выставлю, паренек?

— Попробуйте.

— Мне это просто.

— Собираешься поднять шум на весь дом? — безразличным голосом проговорила Лагутина.— Ночью-то?

— Нет, не собираюсь. В том-то и дело. Из-за пу-  
стяков не горячусь, Ниночка.

— Я знаю.

— Вот и хорошо, что знаешь. И мамаша твоя меня за это уважала.

— Я знаю.

— Ну, пошли, соперничек! — вдруг резко обернулся к Анохину Князев.— Вместе так вместе.

— Пойдемте,— пропуская Князева вперед, сказал Анохин. Он поглядел на Лагутину. Она едва приметно устало улыбнулась ему.

— Миша, заходи...

## 2

Они вышли на улицу, на припорошенный сухим снежком асфальт, и разом остановились, вопросительно глянув друг на друга, кому куда идти дальше.

Все восемь этажей они спускались, не проронив ни слова. И в передней и когда Лагутина затворяла за ними дверь тоже не было сказано ни слова. Князев только недовольно все похмыкивал, точно скашливал папиросный дым. По лестнице он шел позади Анохина, и если Анохин замедлял шаг, замедлял шаг и Князев. Идти так все восемь этажей, не позволяя себе оглянуться, было тягостно. У Анохина даже плечи затекли от напряжения. Ему казалось, что Князев все при-  
норавливается, как бы лучше ударить его, то поднимая, то опуская свою тяжелую мясистую руку.

Но вот и улица, вернее, дворовая площадь. Ночью она делается очень большой, как настоящая городская

площадь. Темнота скрадывает углы домов и закраины крыш, и дома будто расступаются и становятся бескрайне высокими. Молодые деревца на площади так еще слабы и малы, что не мешают гулять по ней снежным завертям, и, кажется, не один, а много разных ветров сошлись сюда на свою зыбкую ночную стоянку.

— Я — домой, — сказал Анохин и шагнул вперед и вбок, чтобы обойти Князева.

— Постой-погоди. — Князев не спеша достал пачку сигарет, спички, ловко упрятал вспыхнувшую спичку в кулаке, закурил. — Подымим? — Он протянул Анохину сигареты.

— Нет, я спешу.

— Вдруг заспешил? — Князев раз-другой затянулся, резко поворачивая языком в губах сигарету. — Может, походим?

— Зачем?

— Поговорим, познакомимся.

— Зачем?

— Все-таки... — шевеля пальцами, Князев повел рукой, начертав в воздухе некую замысловатую фигуру. Разгоревшаяся сигарета осветила на миг сощуренную в смехе щеку и лукавый глаз.

Усмехнулся и Анохин.

— Ночью все кошки серы, — сказал он.

— Ничего, разберемся! — весело откликнулся Князев.

— Зачем?

— А это я тебе на прощание скажу.

— Тогда говорите прямо сейчас.

— Погоди, паренек. — Князев снова протянул Анохину сигареты и до тех пор держал их перед ним на открытой ладони, пока Анохин не покорился и не взял одну.

Прикуривая, он опять близко увидел лукавый глаз Князева и эти его навсегда утвердившиеся в смехе морщинки. Жесткая, напрягающаяся щека и улыбчивые морщинки, легшие в нужных уголках, точно карандашные черточки негативной ретуши.

— Станный вы человек, — откидываясь, сказал Анохин. А подумалось: «Скверный ты человек».

— Станный? — длинно потянул слово Князев. — Нет, это не про меня. Пошли, паренек. — Он крепко,

рывком взял Анохина под руку, но тронулся вперед не спеша, таким коротким, легким шажком.

— Куда? — не попадая ему в шаг, спросил Анохин и потянул Князева на себя.

— Вокруг да около, — насмешливо ответил тот, железной рукой придерживая Анохина.

Разно шагая, они пошли рядом, до предела напруги сцепленные в локтях руки.

— Нет, я не странный, — с напором заговорил Князев. — А вот ты, паренек, вроде из них будешь. Я, знаешь ли, работяга. Люблю деньги — это верно. Люблю хорошо пожить — тоже верно. Но все своими руками, понял, своими руками! А ты, очкарик, чересчур умствуешь. Зачем? К чему это нам, работягам, мозги раскалывать? Нам бы пожить, пока зубы не стерлись. Ясно? Согласен? — Он зло рванул на себя Анохина. — Знаю, не согласен! Я тебя вмиг разглядел. Ну, был ты хоть раз, как подрост, в приличном ресторане? Отвечай!

— Не был.

— В мягком вагоне куда-нибудь прокатился?

— Нет.

— Помидор паршивый весной слопал?

— Нет.

— Девчонке какой-нибудь на букетик роз зимой наскреб?

— Нет.

— Вот в том-то и дело! Я тебя стану час целый так спрашивать, а ты мне только «нет» свое и будешь бубнить.

— А потом я спрошу, — спокойно сказал Анохин.

— Про что? Это про что же? — вскинулся Князев. — Знаю я ваши вопросики! Ну, хочешь, я их тебе по порядку все выложу? Желаеть?

— Попытайтесь.

— Вопрос первый... — Князев задумался, и вдруг Анохин услышал, что он смеется — тихо так, без единого звонкого звука. Несколько коротеньких выдохов — вот и весь его смех.

— Оказывается, первый вопрос ты мне уже задал, — отсмеявшись, сказал Князев. — Какая, мол, у меня профессия. Второй вопрос... — И снова Князев принялся коротко выдыхать воздух. — Оказывается,

и второй вопрос ты мне уже задал, паренек. Про войну. Принимал ли участие. Ну и прыткий ты! Да, наиглавнейшие все вопросы. Правда, есть и еще один наиглавнейший. Этот ты задать мне не успел. Задал бы, наверняка задал бы, но не успел. Сказать какой?

— Говорите.

Они миновали лагутинский дом и подошли к дому, где жил Анохин. Он поднял голову, привычно отыскивая глазами окно своей комнаты. В нем чуть теплился свет от настольной лампы. Мать зажгла. Она всегда так делала, когда укладывалась спать, не дождавшись сына. Сам бы он света не зажег, боясь ее потревожить. Ей надо было подниматься очень рано, чтобы поспеть на работу чуть ли не в другой конец Москвы. Всю свою жизнь, сколько Миша Анохин помнил, матери надо было вставать очень рано, с рассветом, чтобы ехать куда-то в даль далекую на работу. В войну она ездила на завод даже за город, но прежде отводила сына в детский сад, который был и близко и далеко от их дома. Ни на чем не доедешь, а пешком далеко. И множество серых, хмурых и холодных утр улеглось в памяти мальчика в одно бесконечно долгое и промозглое утро без солнца, имя которому было — война. И только мать была рядом, всегда с добрым голосом, с голубыми, солнечно голубыми в этой серой мгле глазами.

Анохина вдруг неудержимо потянуло домой. К себе! Он даже успел пробежать глазами весь короткий путь от этого угла, где он стоял сейчас с Князевым, до своего столика у окна. Лифт был уже выключен, и он пошел памятью глаз вверх по лестнице, мимо дверей, за которыми — это было ясно по газетным наклейкам — жили военные: «Красная звезда», или учителя: «Учительская газета», или врачи: «Медицинский работник». И дети, дети, дети со своими «Мурзилками» и «Веселыми картинками». И все они еще хотели «Правду» и ждали «Известий».

Какие это все были милые люди по сравнению с Князевым! Какие, оказывается, чудесные люди!

Даже этот вот надутый и молодящийся Аронин, который украсил свою дверь медной табличкой «Профессор М. С. Аронин». Стародавняя такая табличка. Славный человек, пусть чуть почванится. Наверное,

трудно дался ему его профессорский титул. А этот, В. П. Боташов, к которому следует звонить дважды. Вот и сюда — в новый дом — привез он злополучные звонковые трели. Экая беда, ну, привержен человек традициям! Или эта вот дама с собачкой, украсившая дверь краткой надписью: «Злая собака». Нет, она не вздорная старуха, как еще недавно думал Анохин. Просто она печется о своих соседях. Ведь ее старая, ожиревшая и подслеповатая моська может и покусать.

Милые, славные, хорошие люди!

И даже эта дуреха, что начертала мелом на стене круглым почерком восьмиклассницы: «Боже, сколько пережито!» — и даже она, конечно, еще полюбит кого-нибудь по-настоящему, без этих подъездных дневниковых записей.

Отличные люди!

Князев потянул Анохина за руку.

— Ходить, ходить надо — замерзнем.

Смешно было упираться. Надо было либо идти с Князевым по его «вокруг да около» маршруту, либо вырвать свою руку и без лишних слов отшить этого странного (скверного) человека.

Пока Анохин раздумывал, как ему поступить, Князев уже свернул с ним за угол дома и по узенькой, скупо протоптанной в снегу тропе вывел его к пустырю за домами. Идти было трудно, а Князев все не отпускал руки Анохина. Они шли, привалившись друг к другу, оскальзываясь, часто попадая ногами в снег.

— Стало быть, вопрос третий...— Ступив в снег, Князев остановился, великодушно отдавая Анохину место на тропе.— Тоже наиглавнейший. Знаешь, как он вашим братом формулируется?

— Ну?

— А скажи-ка нам, дорогой товарищ,— словно передразнивая кого, срывающимся на петушиный голосом заговорил Князев.— Скажи-ка, ты случайно не тунеядец? Не за счет ли народа живешь? Не за счет ли государства? — Князев, наконец, отпустил руку Анохина.— Что, угадал?

Теперь Анохину можно было отодвинуться от Князева, а можно было и просто повернуться да и зашагать домой. Не станет же тот за ним гнаться. Но уходить теперь было нельзя.

— Да, вопрос серьезный,— сказал Анохин.— Только я вам его задавать не собирался.

— Не спросил бы, так подумал бы. Любимый ваш вопросик.

— Чей это?

— Таких вот, как ты, которые по книжкам да по газетам прожить хотят.

— Да, вопрос серьезный,— повторил Анохин.— А какой ответ?

— А такой, что у меня все руки от работы посечены! Понял? На-ка, глянь!

Судорожно вывернув ладони, Князев поднес их к лицу Анохина. Но не на руки эти, и верно, иссеченные какой-то трудной работой, хотелось смотреть сейчас Анохину. Ему важно было снова и будто заново взглянуться в лицо Князева. Луна как раз в полный свой диск заглянула в это лицо, четко и подробно высветив его. Куда подробнее, чем яркие лампы в комнате Нины Лагутиной. Куда точнее. Нет, это было вовсе не смеющееся лицо, и не наглое, и не самодовольное в своей заученной ухмылочке. Это было какое-то траченное, хмурое и мглистое лицо, вдруг что-то напомнившее Анохину, что-то такое же хмурое и мглистое, что уже довелось ему некогда видеть. Где? Когда?

Лунный диск заволокло тучей, и снова заулыбалось, залукавилось князевское лицо.

— Гляди, гляди, паренек, какие руки от работы бывают.

Князев шагнул на тропу, потопал, сбивая с ботинок снег, помахал крест-накрест, греясь, руками. В своем модно коротком пальто с маленьким, шалью, воротником и в пушистой кепке он очень смахивал на какого-нибудь тяжеловесной специальности спортсмена. На одного из тех, кто кидает вверх сотню-другую кило железа или швыряет на ковер добрую сотню кило мяса с костями во славу отечественного спорта и во всех столицах мира. Но эта его купеческая манера греться, крест-накрест махая руками, как-то портила впечатление. И уже не рекордсмен в заморском пальто, а некий удачливый купчик вставал перед глазами. Но у этого купчика были трудовые, иссеченные работой руки, натруженные руки мастерового. Но этот рабочий человек вел себя совсем не по-рабочему, хитрил

и темнил, говорил невесту что, злобствовал и сам же себя допекал трудными вопросами. Похоже, что-то тревожило его, что-то пугало. Но он и сам тревожил и сам пугал. Он ухитрился даже испугать свою невесту — эту «обещанную ему и завещанную» девушку. Ведь она тяготилась им, она боялась его. Не зря же она попросила чужого ей человека назваться ее школьным товарищем, заставила его играть нелепую роль не то друга, не то влюбленного только затем, чтобы не остаться вдвоем с Князевым. А тот все равно вел себя у нее, как хозяин, наперед уже как хозяин.

Вот и пойми, что он за человек — этот Князев.

А понять интересно и, кажется, нужно. Она сказала: «Миша, заходи...» Не звучит ли это иначе: «Миша, помоги...» Он вспомнил, снова явственно вспомнил, как шла она шаткой походкой за гробом своей матери. Тоненькая, в черном платке. Он не видел тогда ее лица. Он увидел его сегодня. Усталое или даже испуганное. А то вдруг лукавое и молодое, и милое. А то вдруг вовсе и не молодое, а умудренное, с такой князевской издевочкой в глазах: «Эх вы, агитатор!..»

— О чем задумался, паренек? — Князев потянул из пачки новую сигарету, выщелкнул одну и для Анохина.

— Да вот все думаю, что вы за человек, — сказал Анохин. — Какого сорта.

— Ишь ты, запомнил! Первого, первого — не сомневайся.

— Не пойму.

— А я-то старался, втолковывал.

— Зачем?

— Не спеши, узнаешь.

Они закурили от одной спички. Догорая, огонек лизнул темный, в наслоях, ноготь Князева. Анохин болезненно поморщился, а Князев даже не почувствовал ожога. Спичка сама по себе угасла в его пальцах да так и осталась в них скрюченным угольком.

О чем-то раздумывая, решая что-то, Князев надолго задержал на Анохине свой стреляющий взгляд. И вдруг весело так, дружески предложил:

— Пойдем, покажу тебе свое рабочее место. Обогреемся, выпьем по рюмочке. Тут недалеко.

Князев снова поддел Анохина под руку, и снова двинулись они, оскальзываясь, вперед по едва проби-

той в снегу тропе. Теперь Князеву не нужно было тянуть Анохина чуть ли не силком. Тот шел, так сказать, по доброй воле. Со стороны могло показаться, что это бредут неведомо куда два не очень-то трезвых приятеля. И верно, путь их лежал к глухо темневшему за домами пустырю. Что им там понадобилось в ночную пору? Что это их потянуло от тепла, от света в снежную темь?

Впрочем, пустырь этот был не так уж пустынен. Множество железных пеналов-гаражей, и какие-то сараи, и какие-то будки разбрелись во все стороны по бугристому полю. А сразу за ним, за прозрачной кромкой в одиночку стоявших вековых сосен, строго помаргивали красные сигналы на башенных кранах. Там уже строились новые дома, строился новый микрорайон Большой Москвы. Вот почему бугристое поле между двумя этими микрорайонами, сколько ни понастроили на нем гаражей, сараев и будок, все равно казалось пустырем, местом ненадежным, недолгой судьбы.

Тропа вилась и вилась, пока не уткнулась в этакий домик на курьих ножках с зарешеченным окном. Возле него стоял и еще один такой же.

«Так вон оно что!..» — Анохин знал про эти будки-домики, совсем недавно появившиеся тут. В одном клепали и паяли, в другом подбивали подметки, а в третьем... Перед ним они и остановились. Совсем крошечная вывеска была приколочена к его стене: «Кепи».

Князев перехватил удивленный взгляд Анохина.

— А ты что думал? Этим вот и живу.— Повозясь с висячим замком, он отомкнул его, потом откинул засов, потом еще что-то такое повернул и отодвинул.— Заходи.

Он первым вошел в свою будку, пошарив на стене, щелкнул выключателем. Яркий, слепящий свет выплеснулся наружу. В будке все так вспыхнуло и засветилось, словно кто-то поджег там кинопленку.

Пригнувшись и невольно прикрывая глаза рукой, Анохин шагнул через порог. Со всех сторон трещали, мерцали, белея накалом, длинные матовые трубки. Их свет, хоть и надлежало считать его дневным, был неестественно резок и очень уж правдолюбив. Он разом все показывал, высветив в будке всякую малость

и не положив вокруг ни единой тени: нате, мол, глядите — тут все без утайки.

Осторожно поворачиваясь, чтобы не задеть чего, Анохин принялся оглядываться.

На низком прилавке выстроились в ряд чурбаны-головы с натянутыми на них кепками. Эти чурбаны в кепках сослепу показались Анохину круглоголовой братией близнецов Князева. Но это только сослепу. Вглядеться — чурбаны и чурбаны, безликий кепочный ряд.

— Собеседнички мои! — оглаживая их крепкими руками, усмешливо сказал Князев. — У меня для каждого и имя есть. Этот вот — Голован. 54 размер. Головенка маленькая, а всех футболистов помнит, кто в какой команде. А этот, хоть и большеголовый, Балдой прозывается. С его головы кепка к дураку идет. Чтобы помоднее, чтобы подороже. К лицу, не к лицу — неважно. Напялит и пошел. Откуда только у таких деньги берутся? Как думаешь?

Анохин не ответил. Он углубился в чтение. Все стены будки от пола до потолка были оклеены газетами. Но не просто так, не первыми, что попадались под руку, а с большим разбором. Да и не целыми газетами, а лишь вырезками: статьями, фельетонами, заметками.

Что же тут было с таким тщанием собрано? Про что говорилось?

Убили! Украли! Обманули! Надругались! — вот про что, вот что слепилось тут одно к одному.

Стена же за прилавком была целиком отведена возмездью. Совсем недавние правительственные Указы об усилении борьбы с преступностью соседствовали тут с пожелтевшими страничками из Уголовного кодекса, с отчеркнутыми красным карандашом строками: «К трем... К пяти... К восьми... годам лишения свободы».

И, наконец, как бы венчая весь этот настенный свод преступлений и наказаний, в углу под потолком красовалась взятая из «Огонька» репродукция суриковской картины «Утро стрелецкой казни».

Склонившись над круглой, похожей на швейную машинкой, что-то налаживая в ней ловкими пальцами, Князев украдкой наблюдал за Анохиным.

— Читай, читай, паренек, может, и пригодится.

— Да, занятно.

Анохин облокотился на прилавок, ожидая, когда Князев поднимет голову. Уж очень хотелось сейчас Анохину еще разок всмотреться в этого не перестававшего удивлять его человека.

Но Князев, как нарочно, все не поднимал головы.

— Вот так и живу в страхе божьем,— заговорил он ровным голосом.— Сам знаешь, на моей работенке легче легкого закон нарушить. Нельзя. Нынче не такое время, чтобы против закона идти. Ославят, осмеют, засудят. Примеры — вон они.— Князев повел рукой, все так и не поднимая головы.— Нарочно собрал. И не дурачки ведь попались, а попались. Про бандюг всяких я не говорю — этих мамаша без мозгов родили. Я про умных говорю, про ловких да оборотистых. Не уберегались, попались. И иначе быть не могло — забьли, где живут.— По мере того как Князев говорил, голос его звучал все серьезнее, строже, наставительней. Но вот что сейчас творилось с его лицом, было ли оно привычно усмешливо, светилось ли откровенной издевкой или было хмурым и мгlistым, как там, на улице,— вот это Анохину было неведомо.

А Князев, упорно не поднимая головы, продолжал свои наставления:

— Хочешь заработать — руки приложи. Не крути, а вкалывай. Честно. И никто тебя не тронет. Так-то, паренек. Верно я говорю?

— Как по писаному,— сказал Анохин.— Только вот не пойму, зачем вы это все мне говорите.

— Как же, ведь соседями будем,— сказал Князев, и на этот раз не подняв головы. Он старательно вслушивался в ход своей машинки, то запуская, то останавливая ее.

— Это еще будет или нет,— сказал Анохин, решив хоть чуть-чуть наказать Князева за его самонадеянность. Кстати, некое право у него на это было. Крошечное право, данное ему самой Лагутиной.

— Не ты ли помешаешь? — Князев резко оттолкнулся ладонями от прилавка и выпрямился перед Анохиным, открываясь ему, как боксер на ринге открывается слаботу противнику за миг до удара.— Ты вот что, ты к Нине больше не ходи. Условились?

Анохин выдержал упористый, недобрый взгляд сразу словно повыцветших князевских глаз.

— Если надо будет, зайду.

— Незачем! У нас уже все слажено. Это она так просто, капризничает.

— А она разве капризничает?

Князев долго молчал, все вглядываясь в Анохина, будто все прикидывал, куда бы поточнее его ударить.

— Ладно, иди...— тихо, явно перемогаясь, сказал он.— Хотел с тобой по-доброму... Ладно, иди...

Что было делать? Анохин повернулся и пошел.

### 3

Утром по пути в кинотеатр,— у него сегодня были дневные сеансы,— Анохин завернул на агитпункт. Нашел в груде папок на столе тоненькую тетрадь в клеточку, в которой члены его агитбригады отчитывались в своей работе, и, отлистав три всего исписанных странички — вот пока и вся деятельность,— написал: «Был у Лагутиной, побеседовали, проверил ее по списку. Все правильно. Список избирателей по моим квартирам теперь проверен полностью. Вот и все». Он поставил число, подписался. Вот и все.

За неплотно прикрытой дверью в соседнюю комнату, где хранились библиотечные книги, послышались голоса двух библиотекарей, начавших свой трудовой день со спора о какой-то книжке. Молодой голос эту книжку ругательски ругал, старый голос, медленный и рассудительный, отдавал ей за что-то там такое свои осторожные симпатии.

Анохин принял сторону молодого голоса. Сразу можно было понять, хоть и не все слова пробивались через дверь, что речь идет о скучной книжке, где «все герои святые, ну, просто святые!» зато «книга написана хорошим литературным языком», хотя «вот потому-то она и смахивает на сильно раздутое школьное сочинение первого зубрилы».

Анохин хорошо знал спорящих женщин. Молодая, ей было лет двадцать пять, и она не очень-то молодо выглядела — всегда почему-то в широкой кофте и в мешковато сидящей юбке,— была даже большой его приятельницей. У нее было странное имя: Реня. И все

ее звали только по имени. Те, кто знал поближе, звали ласково: Ренечка. Она была самозабвенно доброй и какой-то непутевой. Все для других, все для других. Она готова была часами возиться с случайно забредшим в библиотеку парнем, подбирая ему интересные книги, составляя ему список для чтения, убеждая, что надо читать не «про шпионов», а вот это вот, где правда, где чувства, где мысль. Это она, узнав, когда они познакомились, что Анохин любит Блока, чуть ли не бросилась ему на шею, и слезы, вдруг слезы — Анохина поразило это — встали в ее больших, глубоких, удивительно лучистых глазах. А лицо было у нее серенькое, скуластое и узкое, с нервно подергивающимся неулыбчивым ртом.

Ее начальница, Любовь Григорьевна, была, как она сама о себе говорила, «ветераном книги». Она когда-то даже работала в библиотеке имени Ленина. Когда-то даже подбирала нужные книги для самого Алексея Толстого — «для его Петра». И, кажется, когда-то была хороша собой. Наверное, этаким статной была, розовощекой, с щедрой косой вокруг головы.

За дверью, после недолгого молчания, снова возобновился спор.

— Это же ложь, ложь все! — возмущенно проговорила Реня. — Вот послушайте, как этот ваш стилист припустил скользить по поверхности... — И она с пулеметной быстротой и страстным негодованием что-то прочитала из ненавистой ей книжки. Слышались только шипящие и звенящие. Анохину увиделись ее глаза в эту минуту. Горестно изумленные, гневные и все равно изнутри добрые.

— Бездарно! — оборвав чтение, вскрикнула Реня. — Ложь всегда бездарна.

— А мне вот, Ренечка, эта книга... — Любовь Григорьевна по обыкновению говорила очень медленно, весомо так, непререкаемо. — А мне вот, Ренечка, эта книга кажется обстоятельной...

— Вы не должны, вы не должны! — вспыхнула Реня.

Спор прекратился. Теперь обе женщины разойдутся по противоположным углам своей библиотеки

и долго будут хранить гневное молчание, что-то листая, и читая, и записывая.

В агитпункте не было ни души. Рано. Даже дежурный еще не пришел. Минут через тридцать придет и что-то начнет тут делать. Ведь надо же ему что-то тут делать, раз он дежурный. Наверное, и Анохину придется побывать в дежурных. И он тоже прямо с утра что-то начнет тут делать. Разложит на столе свежие газеты, польет цветы в горшках, откроет форточки, чтобы выдуть отсюда с вечера устоявшийся табачный дым. Потом, расставив на доске фигуры, сам себя обыграет в шахматы. Очень странно играть с самим собой. То играешь за белых, если белые начали атаку, то за черных, если те отбились и сами начали атаковать. Проигрывать самому себе скучно, а выигрывать у самого себя противно. Потом, подсев к столу, можно полистать ученические тетради с записями братьев-агитаторов, кто что сделал. Все пишут примерно одно и то же. «Был... побеседовали... проверил...» Вот и все.

Вот и все... Анохин стал вспоминать. Вспоминалось не по порядку, а какими-то вспыхивающими и гаснущими кадриками все время рвущейся киноленты.

Вот он стучит в дверь, уже отчаявшись, что откроют, и ему открывают на этот едва слышный стук. А когда стучал изо всех сил, никто не отзывался. На стене рядом с дверью кто-то яростно написал «Ненавижу!» Кто? Зачем? Неужели Нина Лагутина такая, что ее можно ненавидеть? А какая? Ну, скажи, паренек, какая она? «Паренек!» Этот Князев все время будто шелкал его по лбу своим «пареньком». «Смотри, смотри, паренек, может, и пригодится...» Мертвый, слепящий свет, и стены, уклеенные фельетонами и статьями о преступниках, и стена с Указами и страничками из кодекса, а в углу, под потолком, «Утро стрелецкой казни». Смешно? Пожалуй... «Ладно, иди...» И выцветшие от злобы глаза. Нет, не смешно. Эти глаза, и это будто смеющееся лицо, и этот напористый говорок... Что за человек? Откуда такой? Идет тоненькая, спотыкающаяся женщина в черном платке, бухают без звона тарелки оркестра, сипят на дожде трубы. Похороны. Кто-то подсаживает женщину в автобус (не Князев ли), и вот и все.

Вот и все... Нина Васильевна Лагутина, 1940 года рождения. «...Проверил ее по списку. Все правильно». Что — правильно? Тропинка через пустырь упирается в будку с зарешеченным окном. «Так вон оно что!..» — «А ты что думал? Этим вот и живу!..» У Нины Лагутиной вещи в квартире блестят еще магазинной новизной. Только в прихожей стоит в углу старый портняжный манекен. «От матери унаследовала...» Унаследовала... Нареченная... Обещана-завещана... Запрокинутая голова Князева. Он пьет, истово приговаривая: «Пусть нам будет хорошо! Пусть нам будет хорошо!» Вот и все.

Вот и все, запись в тетрадке сделана, можно идти на работу.

Ночью, когда Анохин вернулся домой, он никак не мог заснуть. Ему очень важно было решить, что бы он стал делать, если бы Князев его ударил. Понятно, ответил бы. Лежа в постели, представить это было не так уж и трудно: надо быстро пригнуть голову, отшагнуть чуть в сторону и всей тяжестью тела кинуть вперед левую руку. И сразу шаг назад — и всей тяжестью тела удар с правой.

Представить этот мгновенный бой было совсем не трудно, но трудно было его оборвать. Так ведь всегда в этих воображаемых драках: лежишь, жмуришься, почти засыпаешь, а перед глазами все одно и то же, одно и то же. Пригнулся — ударил, отшагнул — ударил. А что потом? Да, что случилось потом с Князевым? Что он стал делать, получив свое? Это вот не додумывалось.

Так всю ночь и прокрутился Анохин со своими двумя ударами с левой и с правой, ничего не придумав за Князева и только ненавидя его, ненавидя всей душой.

А ведь тот что-то же должен был сделать. Не такой это был человек, чтобы его можно было унять двумя ударами...

Здесь, в агитпункте, в тихой этой комнате-читальне с газетами и плакатами, с цветочными горшками и запахом застоялого табачного дыма, Анохин вдруг явственно и вроде как до конца разглядел Князева. Страшный человек! Точно оскалившийся. И тотчас усомнился в так явственно увиденном. Да откуда? Да

с чего бы? Велика ли в нем сила — в этом кепочных дел мастере?..

За дверью снова слышались голоса. Там началось примирение. Слов не было слышно, слышались лишь чувства говоривших. Молодой голос, казня себя за запальчивость, был сейчас виновато мягок, а старый прощал, великодушно прощал от щедрот своей мудрости.

Улыбаясь, Анохин вслушивался в миролюбивое журчание голосов.

— Умри, но не сдавайся! — проговорил он громко.

Голоса смолкли. Послышались быстрые шаги, распахнулась дверь, и на пороге встала высокая, сутуловатая девушка, да, вот и сегодня, в широкой, нескладной кофте и в мешковатой юбке.

— Так это вы тут, Миша? — скупой улыбнувшись и просияв глазами, сказала девушка. — Нет, я не сдаюсь. Я только подумала, что стоит ли из-за такой скверной книжки...

— Ах, стало быть, вы остались при своем мнении? — медленно, с весомой укоризной прозвучал из книжных глубин голос Любви Григорьевны. — Реня, Реня, вы меня огорчаете.

Анохин поднялся и подошел к девушке. Все так же скупой улыбаясь ему, она все шире раскрывала ему навстречу свои просиявшие глаза.

— Я так рада за вас, Миша, — сказала она тихо. — Ну, как вы теперь? Вы — счастливы? О чем вы теперь думаете? Вам, наверное, теперь все стало труднее, правда?

— Здравствуйте, Анохин, — появляясь в дверях, сказала Любовь Григорьевна. — Говорят, вас можно поздравить? А почему так долго к нам не заглядывали? Пора бы и книги возвращать, которыми вас столь щедро наделяет моя помощница.

— Но ему же нужно было готовиться! — быстро сказала Реня. Серое лицо ее вспыхнуло румянцем, глаза стали умоляющими.

Любовь Григорьевна насмешливо покосилась на нее — «ах, молодость, молодость, как ты простосердечна!» — и, величественно протянула Анохину руку.

— Итак — вы кандидат в члены партии? Поздравляю.

— Спасибо,— сказал Анохин. Он хотел было сохранить серьезное выражение лица, но не сумел сдерживать радостной улыбки. Совсем мальчишеской, как ему показалось.

— В ваши годы это немалый шаг,— сказала Любовь Григорьевна, пристально и насмешливо — она явно любила смотреть так — глядя на Анохина.— Мой Семен не решился свершить этот шаг и по сей день.

— Но...— проговорила Реня, вкладывая в это «но» какое-то очень большое значение.

— Да, вы правы, Ренечка, есть и «но»,— печально проговорила Любовь Григорьевна.— И вы отлично знаете, что Семен Иванович...

— Да, да, я знаю, знаю! — поспешно закивала и замахала руками Реня, огорченно и взволнованно глядя на Любовь Григорьевну своими лучистыми глазами.— Ради бога, простите меня! Я вовсе не хотела обидеть Семена Ивановича. Я только...

— Вы только сказали правду,— неторопливо перебила ее Любовь Григорьевна.

— Я просто сказала...— успела вставить Реня.

— Столь любезную вам правду, которую вы так всегда спешите высказать вслух,— осуждая, возвысила голос Любовь Григорьевна.

Грустно покивав Рене, она повернулась и медленно удалилась в книжные ряды, даже наклоном седой головы к плечу выражая Рене свое неудовольствие.

— Трудный будет денек, а? — спросил шепотом Реню Анохин.

Она улыбнулась ему влажными глазами.

— Я сама виновата. Разве про такое можно напоминать? Вы же знаете...

— Знаю. По-моему, Семен Иванович ни от кого и не скрывает, что сидел.

— Да, не скрывает. Человек может говорить о своей жизни все, всю правду. А вот другие должны касаться чужой жизни очень осторожно, очень бережно. Иначе можно причинить человеку боль. Можно просто навредить человеку. Я поступила очень нехорошо. О чем это вы? О чем вы задумались?

— Да так...— Анохин глядел на Реню тем отсутствующим взглядом, когда глазам не видится, а вспоминается,

— Я понимаю! — горячо сказала она. — Я знаю, о чем вы сейчас подумали. У вас теперь всегда так будет. Что-то делаете, о чем-то говорите, и вдруг вспомнится: а ведь я в партии... И сразу все откроется по-другому. Шире! Серьезнее! И какой-то голос будто скажет: «Ты должен, должен, должен...» Правда?

— Правда. — Анохин внимательно посмотрел на девушку. — Хороший вы человек, Реня. — Он взял ее руку, осторожно сжал в ладонях. — Ну, мне пора идти крутить.

— А что нынче крутите? — спросила она, замерев в неловкой позе с поднятой и угловато согнутой в локте рукой.

— Сегодня что-то про целину.

— Интересно?

— Да нет... Уж больно весело. Тракторы, того гляди, запляшут.

— Значит, снова... это самое?

— Это самое...

— Миша, приходите к нам в гости! — прозвучал издалека неспешный голос Любви Григорьевны. — Семен Иванович будет вам рад!

— Спасибо, зайду! — отозвался Анохин. — Да и должен! Я ведь теперь ваш агитатор! — Он улыбнулся Рене. — «Ты должен, должен, должен...»

Он бережно опустил руку девушки и быстро пошел к выходу.

— Реня, вы мне нужны! — позвала Любовь Григорьевна.

— Иду! — Не двигаясь с места, Реня вслушивалась в удаляющиеся шаги Анохина.

#### 4

Машинист глядит в окно своего паровоза... Не праздным взглядом. Ему положено глядеть за окно и вперед, чтобы знать, свободен ли путь, исправен ли. Но глазам открываются не только полосы рельс, не одни лишь семафоры и стрелки, станционные платформы и переезды. Глазам машиниста открывается весь мир окрест. В погожие дни — далеко и по кругу, как оно и должно частице земного шара. Далеко вокруг лежат поля и леса, в причудливых извивах речки, и мчатся,

бегут, бредут куда-то дороги, проселки, тропки. Девушки-деревни то входят, то выходят из круга. Парни-поселки то входят, то выходят из круга. И вот, точно ярмарочный сход людских селений, надвигается большой город, близится остановка.

Машинист идет к своим рычагам, где нужно — сигналит, где нужно — тормозит, а в памяти глаз надолго еще останется частица мира, широкий земной огляд, с промельком лесов, и полей, и человеческой жизни. И не только в памяти глаз, но и в памяти сердца.

Не будь этого огляда, этого оконца в мир, был бы поездной машинист ничем не богаче подвального истопника.

Запустив картину, Анохин стал глядеть в окно проекторской на экран. Не праздным взглядом. Ему тоже положено было следить за тем, чтобы все было в исправности: не сбилась бы рамка, не сник бы звук, не исчез бы «фокус». Но в том-то и фокус, что и он тоже смотрел на мир, то огромный, то малый, то с большой, то с ничтожной людской судьбой. Не будь этого, не будь у Анохина его оконца в этот удивительный мир, был бы и он ничем не богаче подвального истопника и просто парился бы часами, как истопник у топки, перед своими стационарными кинопроекторами КПТ-2.

В проекторской было жарко, саднило в горле от углей и перегретого металла, от запаха пленки. А на экране, как за окном несущегося паровоза, широко и вглубь растекался земной простор. То была хроника или, как это еще называют, журнал «Новости дня». Но новость перестает быть новостью, хоть единожды рассказанная. Анохин же глядел на происходящее, пожалуй, раз в десятый, вот уже второй день, из сеанса в сеанс. И ему не надоедало, и увиденное все так же оставалось для него новостью.

Между тем это был обычный киножурнал, разве что удачно сложенный в своих эпизодах-сюжетах. Так сложный, что на экране исподволь рождалась захватывающая картина большой, умной, доброй жизни страны.

...В Туркмению уже пришла весна, и там началась пахота. Старик-аксакал в громадном тельпеке, прищу-

рившись, растирал в жестких пальцах комочек сыпучей земли и улыбался.

И улыбался где-то в Сибири, стоя у пульта управления, обширного, как поле, человек в белом халате. Он был счастлив своим могуществом. От его руки, от кнопки, нажатой его пальцем, ринулась вперед по провисшим над тайгой проводам миллионовольтная сила. Башни-солдаты высоковольтной цепи шагали по тайге лишь по щиколотку в снегу, по колено в деревьях.

И улыбалась совсем юная девушка, сидя в стеклянном орехе башенного крана, волею художавых, еще девчачьих рук ведя по небу бесконечную стальную стрелу. А внизу — море. А вдали — белый, как в детском сне, корабль. И прибой, и пальмы у берега — все, как в детском на всю жизнь сне.

И вот уже иное. Будто заплутавшись в громадной стране, смешав ее широты и долготы, человек с аппаратом забрел в какую-то тишайшую глухомань и снял горстку людей в лесу и в снегу у палатки. Только и всего. Хмуро вокруг, студено, как-то даже безысходно. А перед палаткой кусок фанеры с кривоватыми буквами, выведенными закоченелой рукой: «ГОРОД СОЛНЕЧНЫЙ».

«Здесь будет город заложен!» — восклицает диктор.

И снова, вот уже в который раз, странное чувство восторга и изумления, но и боли и страха, — да, и боли и страха за этих людей, — сжимает сердце Анохина. Сумеют ли?!

Но ведь сумели же вот эти вот, что идут по улицам города Мирного, что сидят и смеются чему-то в зале его клуба?

Сумели и сумеют!

Журнал заканчивается. Анохин перешел ко второму проектору и стал готовиться к переключению частей.

— Внимание! — тихонько скомандовал он своему помощнику.

— Смотрю! Есть! — Помощник Анохина, Витька Снегирев, длинноногий, щеголеватый парень лет семнадцати, занимавшийся до этого многохитрым делом подкидывания шарика на веревочке, быстро встал к первому проектору.

Анохин включил мотор второго проектора, а иначе — второго поста, и только глянул на Витьку. Тот кивнул и ловко, но движениями нарочито небрежными принялся отключать первый пост.

— Лови!

Почти без перерыва, едва лишь мелькнул «конец» киножурнала, на экране вспыхнули титры художественного фильма.

Этот фильм посвящался молодым. Посвящался торжественно.

«Вам, чьи руки... Тем, кто штурмует... Сильным и смелым...»

Фильм назывался «Всем классом». Кончили ребята десятилетку и вот всем классом покатали на целину. Легко так покатали, с песнями, смехом. Всего только одна мамаша всплакнула, да одна украдкой слезу обронила.

Приехали. И верно, целина. «Степь да степь кругом», — как в песне поется. Эту песню ребята и запели. Спели одну, спели другую — палатки поставили. Покричали о чем-то, повлюблялись друг в друга, глядишь, уже и совхоз стоит. С усадьбой, с домами, с клубом. Справили первую комсомольскую свадьбу. Убрали с песнями первый урожай. Сколько надо погоя, отпраздновали рождение первого в поселке ребенка. Конечно, парень оказался. Спорили, ссорились и нарекли его в честь любимого своего учителя математики добрым именем Василий. Вот и сказке конец.

Смотреть этот фильм было мукой для Анохина. Все не так, не то, все поперек правды, той самой правды, которая так смело, радостно жила в промелькнувших кадрах хроники, полня его душу гордостью за свою родную страну. Но там была правда факта, правда свершенного. Художники же могли показать, как это все свершалось, показать человека, каков он есть, когда надо в жизни выбрать трудный путь и устоять на этом пути.

Пустое! Была рассказана сказочка.

Но зачем?! Зачем было так мельчить и вышучивать этих ребят, всем классом поднявшихся на новое и трудное дело? Где же думы их, вера их, слабость и твердость их? Что повелело им поехать от дома, от привыч-

ного, от любимого в заснеженную бескрайнюю степь? Что — всерьез?

Ничего этого в фильме не было. Это был фильм-сказка про то, что было в нашей жизни былью. Но почему, почему сказка? А потому, что быть требует правды, а правда не легка в искусстве. Куда как легче сказочка.

Правда не легка и в жизни. Правда не легка и с самим собой. Ведь правда с собой — это и спрос с себя, спрос по самому большому счету.

Вот ты, Анохин, ты вступил в партию. Зачем? Не поспешил ли — ты так еще молод? И что ты собираешься делать теперь? Как жить?

Трудные все вопросы. Если по правде — очень трудные.

Ну верно, ну зачем ты, Анохин, в двадцать три свои года вступил в кандидаты партии? Не война же теперь, не фронт, не смертная атака через минуту, когда писались заявления: «Прошу считать меня коммунистом». И все! И в бой! Куда же нынче спешить с этим важным шагом? Для чего? Чтобы трудней стало тебе, ответственней в жизни или же чтобы легче? Ведь иные затем и в партию лезут, чтобы полегче по жизни пройти. Звание им — карьеристы. А ты кто таков, Михаил Анохин? Отвечай!

— Отвечай, отвечай, Анохин...

Явствен голос того, кто говорит эти слова. Он будет долго еще жить в памяти — этот негромкий, но изнутри напористый голос. И долго будут жить в памяти глаза, что смотрят на тебя весело и в упор — прямо на тебя и в тебя.

Трудно смотреть в такие глаза, не отводя своих. Трудно отвечать этому человеку на его негромкие вопросы. А нужно смотреть и нужно отвечать. Это секретарь райкома.

Он сидит в конце длинного стола, но не на председательском месте, где ждал его увидеть Анохин. Он сидит сбоку, у самого окна, его сперва и не видно было. И вдруг он стал спрашивать...

Молодой их секретарь райкома давно нравился Анохину. Всякий раз, когда секретарь заходил к ним в кинотеатр, Анохин старался понаблюдать за ним,

радуясь молодой силе его движений, веселому натиску его голоса.

Анохин знал, что секретарь совсем недавно на партийной работе, что он по профессии инженер-строитель и в том самом районе, где он теперь секретарствует, есть несколько им построенных домов. Анохин знал даже, что секретарь играл когда-то в институтской сборной в баскетбол и, говорят, забрасывал сказочные мячи. Анохин знал еще, что у секретаря есть дочка лет пяти, с которой он по воскресеньям ходит на лыжах в близкий отсюда лес. Лыж у отца с дочерью одна пара. Отец на лыжах, дочь — на отце.

Почему-то все это, — и молодость секретаря, и то, что он совсем недавно еще инженерствовал, и даже то, что таскал на глазах у всего района дочку на закорках, — почему-то все это обнадеживало Анохина, когда он, страшно переволновавшись и всякое передумав, входил в большую комнату с длинным столом и рядами стульев, как в кинотеатре, где заседало бюро райкома и где ждал его тот серьезный, тот на всю жизнь разговор, после которого тебе говорят — принят ты или нет в кандидаты партии коммунистов.

Много незнакомых людей разом обернулись к нему и внимательно, откровенно стали его разглядывать. Анохин торопливо искал глазами в конце стола секретаря и не нашел. И в сердце защемило, и стало попросту страшно.

На председательском месте сидела пожилая женщина с холодным, суровым лицом. Это она, а не веселый секретарь, станет сейчас спрашивать его о чем-то самом главном, на что следует отвечать до конца точно, до конца честно. Где же ты, где же ты, секретарь?!

Начались вопросы.

Анохин чувствовал себя, как на экзамене, напрягался перед каждым вопросом и сразу же, еще до конца вопроса, радостно успокаивался. Этот вопрос он знал. И этот тоже. Он хорошо подготовился и по Уставу и по Программе. Он много читал, многое знал — ему становилось все покойнее, ему даже радостно было, что его так долго спрашивают и что у женщины на председательском месте такое суровое лицо.

Но, он все же чувствовал, что главный вопрос еще впереди.

Вдруг кто-то спросил его об отце.

— Погиб на фронте,— ответил Анохин.— В сорок первом.— И зачем-то добавил: — Под Вязьмой.— И еще зачем-то добавил: — Он писал мне с войны письма, хотя я был совсем маленьким. Он писал, чтобы я их после прочел, потом, когда научусь читать.

— Кем он был? — спросил тот же голос.

— На войне? — не понял Анохин.

— Нет, на земле,— странно пояснил спрашивающий.

— Он был учителем,— сказал Анохин.— Он только кончил институт и стал работать учителем. Он погиб, когда ему было двадцать шесть лет.

— Всего на три года старше, чем ты теперь?

— Да,— ответил Анохин и подумал: «Вот сейчас! Сейчас спросят!..»

Тот же голос, спокойный и тихий, будто усмехнувшись чему, начал слагать слова нового вопроса:

— Скажи, Анохин, скажи-ка, Миша Анохин, зачем ты вступаешь в партию?

Еще на слове «скажи» Анохин понял все, весь вопрос. Да, это был он — самый главный вопрос. Только Анохин не ждал, что, задавая ему этот вопрос, его назовут так добро по имени, и не ждал, что тот же голос, который спрашивал его об отце и был незнаком ему, теперь покажется знакомым.

Анохин шагнул вперед, вытянул шею, стараясь увидеть того, кто спрашивал.

В самом конце стола, сбоку, у окна, сидел секретарь райкома.

— Отвечай, отвечай, Анохин,— построжавшим голосом сказал он.

И Анохин ответил сразу, не раздумывая, и совсем не то торжественное и весомое, что так трудно писалось в заявлении о приеме в кандидаты.

— Я, как отец,— сказал Анохин.— Как тогда... Он не вернулся. Я теперь...

«Только бы не заплакать! — подумал Анохин, вцепляясь пальцами в колокое сукно стола.— Только бы не заплакать!..» Больше ни о чем он сейчас не думал.

— Ну, прочел ты отцовы письма? — спросил секретарь.

— Прочел.

— Что ж, товарищи, предлагаю принять, — сказал секретарь и первый поднял руку.

Витька Снегирев удивленно заглянул Анохину в лицо.

— Что с вами, босс? Ужель эта картинка проняла?

— Она самая. — Анохин поспешно отвернулся от дотошного своего помощника.

— Да нет, дрянь картинка, — усомнился Витька и стал снова подбрасывать и ловить шарик на веревочке, ведя вслух счет: — Раз, два, три... — Мягко переступая и плавно вскидывая руку с бильбоке, он упорно топтался на крошечном свободном пятчке, решив, должно быть, побить некий мировой рекорд в этом шариковом виде спорта. — Ни чувств, ни ничего такого... Девять... Чуть начали целоваться — и затемнение... Десять... Самое интересное, а у них — шторка или наплыв... Одиннадцать... Люблю итальянцев... Двенадцать... Вот рубают картинки... Тринадцать... Без никаких!.. — Витька чуть не сбился и потому ненадолго умолк, выправляя полет шарика.

Худой, даже тощий, в узких, как у ковбоя, брюках, которые нимало не скрывали весьма ковбойскую кривизну длинных Витькиных ног, в какой-то замысловатой куртке с цветными пуговицами, увы, очень ему просторной, Витька Снегирев был бы смешон, а, пожалуй, и жалок, если бы не развеселое его личико с острым носом в небо и лукаво-бедовыми кошачьими глазками. Такой сам кого хочешь засмеет.

— Вот у Феллини... Девятнадцать... «Сладкая жизнь»... Двадцать... Все, как есть... Двадцать один... Как на женском пляже, где без купальников... Двадцать два... Серьезные люди!..

— Заткнись, серьезный человек, — сказал Анохин. — Часть кончается.

— Смотрю! Есть! — Витька встал к проектору, исхитрившись и тут подбросить и поймать шарик. — Нет, правда, босс, пора бы и нам в кино показывать все, как есть. Не маленькие... Двадцать девять.

— Что, как есть? — спросил Анохин, включая мотор.— Как целуются или нагишом ходят?

— Вот именно!.. Лови!.. Тридцать два... Кто как работает... тридцать три... это я и без кино вижу... тридцать четыре... Нет, вы мне любовь покажите... А, черт!..— На слове «любовь» Витька сбился и не поймал шарик.

— Это еще не любовь, сэр, когда нагишом ходят,— сказал Анохин.— Любовь — это, знаешь ли...

— Знаю! Слыхал! Любовь — это когда в загс побегут или там во Дворец бракосочетаний. А если так просто, то это разврат. Верно, босс?

— Как когда, сэр. Но бывает, что и в загс надо сбегать.

— Ну, ясно, ясно — мы теперь партийные, мы теперь сознательные,— раскланялся перед Анохиным Витька.— Мы теперь...— Он вытащил из кармана тоненькую затрепанную книжку и принялся листать ее.— Вот... Ай билонг ту дэ Комьюнист пааты ов дэ Соувьет Юньен,— прочитал он.— Перевести?

— Валяй.

— Я член Коммунистической партии Советского Союза,— торжественно произнес Витька.

— Кандидат,— сказал Анохин.— Учти, не член пока, а кандидат.

— А уж такой стал сознательный, что сил моих нет! — подхватил Витька.— Что же будет, когда в члены переведут? Скажите, босс, ну, по-честному, зачем вы вступили в партию?

— И ты тоже? — усмехнулся Анохин.

— Ага! Интересуюсь.

— А как ты думаешь?

— Я-то?..— Витька вдруг замаялся.— Да как вам сказать, босс...— Он снова начал листать свою книжечку-разговорник, старательно шевеля губами при чтении английских слов.— Эт уич хоутэл а уи стэйинг?.. В какой гостинице мы остановимся?.. Уи лайкт ё таун вэри мач... Нам очень понравился ваш город...

Анохин ждал, требовательно глядя на Витьку. Поняв, что от ответа ему не отвертеться, Витька, не поднимая от книжечки головы, тихонько и не утверждая, а будто спрашивая, проговорил:

— Могут ведь и в директора поставить через год-другой... Нет, правда?

— Дурень ты! — сказал Анохин, потрепав хитрую с рыжевatinкой Витькину голову.

— Нет, не назначат? — прикинулся огорченным Витька. — А куда же?

— Никуда, — сказал Анохин.

— Так и будете, босс, всю жизнь картинку крутить?

— Ну, это не обязательно. Я ведь учусь. Кончу вот заочно пединститут... Дел, брат, много. Премного!

— Это так, работы хватает, — покивал Витька. — А все же, босс, зачем вы в партию подались, если не секрет? Правда, годы у вас подходящие, но все же...

— Меня уже спрашивали об этом, — серьезно глядя на Витьку, сказал Анохин. — В райкоме партии спрашивали.

— Ну, там ответ простой! — Витька знающе подмигнул Анохину. — Хочу быть в первых рядах! Я, когда в школе в комсомол поступал, тоже так писал в заявлении: хочу, мол, быть в первых рядах строителей коммунизма.

— И что же, в первых ты рядах или нет? — спросил Анохин.

— Куда там! — чистосердечно рассмеялся Витька.

— Значит, не так это просто, а, Витя?

— Для меня не просто.

— И для меня не просто... Внимание! Часть!

— Смотрю! Есть!

Смолк, встал на отдых один КПТ-2, заурчал, засе-ребрился лучом другой.

## 5

К вечеру, кончив смену, Анохин и Снегирев вместе пошли домой, решив по пути зайти в столовую, которая помещалась в их же доме — они жили в одном доме, только в противоположных его концах.

Витька называл эту столовую по-разному. Чаще всего — забегаловкой. Это когда у него не было денег и он мог лишь забежать туда и, стоя у буфета, съесть что-либо очень приблизительное. Когда же деньги были, что случалось много реже, столовая получала ска-

зочное звание кафе «Первое-второе». И уж совсем редко, когда перепадала какая-нибудь сторонняя работа — Витька считался в своем доме заправским электромонтером, — столовая нарекалась еще более сказочно: ресторан «Чего душе угодно». В такие редчайшие дни Витька надолго обосновывался в своем ресторане, выбирая самые дорогие блюда и наедаясь явно впрок.

Витька жил вдвоем с дедом, который был, по словам Витьки, как две капли воды похож на него. И тоже не любил заниматься домашним хозяйством, живя, как и внук, то размашисто — в первые дни после получения своей довольно большой пенсии, то всухомятку, когда деньги подходили к концу. У него была целая теория в оправдание такого образа жизни. Он как-то изложил эту теорию Анохину:

— В новом районе живем, в молодом. Вот и жить надо по-молодому. Обеды не готовить — столовая под боком. Белье не стирать — прачечная напротив. Самому не бриться — парикмахерская за углом. Микрорайон — это, стало быть, большая польза в маленьком районе.

— Только жаль, пиво и водку приходится на дому распивать, — влез в разговор внук. — Нет тут под боком распивочной.

— Да, с этим плохо, — вздохнул дед. — Недоучли.

И верно, если не считать распивочной, милейшего этого заведеньица, вокруг которого обычно толпятся самостоятельные мужчины с пивными кружками в руках, то все было здесь, в границах трех больших домов, под рукой. Столовая, ателье, библиотека, прачечная, продовольственный и промтоварный магазины, парикмахерская, сберкасса. Была здесь и школа, сильно уже потеснившая пустырь за домами. Был здесь и кинотеатр, небольшой стеклянный куб, стоявший внутри образованной домами площади. В этом самом кинотеатре и работали Анохин и Снегирев.

Микрорайон... Не очень-то точное по сути название. Жалковатое будто. Маленький, крошечный — так?

Из окна самолета, пожалуй, и крошечный, на плане Москвы, который покупают гости столицы, чтобы знать, куда как проехать — и того меньше, и обозначен

разве что крошечной заковыкой, хорошо видной лишь в лупу.

Да, мелковатая деталь. Но только не для тех, кто живет здесь. А живут здесь тысячи людей. Иные тут и работают, иные только лишь на большие праздники и выезжают отсюда в широкие московские дали, месяцами обходясь своим микрорайоном, где все под рукой, за углом и напротив.

Для них этот микрорайон — и есть их главное место на земле.

Пройдет время, объявятся здесь и свои герои и свои злодеи, сочинятся легенды, учредятся реликвии. И главное, главное, что свойственно всякому людскому поселению, проступит его общее лицо. Какое? Не сказать наперед. Все зависит от людей, тут живущих. Только от них, а вовсе не от богатства или бедности стен. Только от людей, тут живущих! С чем пришли они в эти новые стены? Как живут в них? Вот, что важно!

И уже началось, началось здесь это людское сражение за облик и душу своего микрорайона, своего крошечно-громадного места на земле.

Анохин ходил в столовую, когда знал, что матери нет дома. Сегодня ее снова не было дома. Она еще утром предупредила, что опоздает. Уже стоя в дверях, торопливо обернулась и сказала, поглядев куда-то вверх на обойные узоры:

— Мишуня, я опять...

И ушла.

Она теперь часто опаздывала с работы, никак не объясняя, почему. А сын не спрашивал, чувствуя, что не надо спрашивать, почему-то не надо.

Когда это началось — он бы не смог сказать. Но что-то началось, что-то важное, трудное, грозное в жизни матери и в его жизни.

Мать странно отдалялась от него, с каждым днем все больше. Ни в чем почти не проявлялось это отдаление. Жизнь была почти все той же, разговаривали почти все о том же. Но почти, почти... Чего-то не было и в разговорах и в каждой малости повседневных дел,

что-то ушло из их жизни, и что-то новое, чуждое вошло в нее.

Да, он бы не сумел сказать, когда это началось, но, кажется, хоть и невероятным было такое предположение, все началось с того дня, когда его приняли в кандидаты партии. С того радостного, праздничного дня.

Пришли гости, его и мамины друзья, был празднично накрыт стол, произносились торжественные, проникновенные слова, и вдруг мать заплакала.

Он удивленно поглядел на нее, но едва взглянув, изумился уже не ее слезам, а ей самой. Она будто незнакомкой сидела напротив него в конце стола. С прибранными по-молодому волосами, в смело обнажившем ее плечи платье и со странно молодым, странно тревожным, точно на ветру, лицом.

Она плакала не горя, а дивясь, тревожась и радуясь чему-то. И слезы не старили ее.

Увидев, что сын смотрит на нее, быстро, незнакомым ему гибким движением утерев глаза, она сказала лишь:

— Что же мне теперь с тобой делать, с таким большим?

Все засмеялись за столом, все весело ей посочувствовали, и веселье возобновилось.

Мать больше не плакала в тот вечер и была, как всегда, все такой же, какую он знал изо дня в день, и уже другой, незнакомо другой...

В столовой номер семь или просто в «Семерке», как называли ее все, кроме Витьки, стоял сейчас такой звонкий, такой сокрушительный шум, что Витька еще в дверях радостно объявил:

— Ателье пирует! У девчат получка!

И верно, пестрый ураган из юбок и блузок, и милых и простеньких лиц, радостных и единых в своем требовательном «Да!» всему, всему на свете, — это девчачий вихрь, и визг, и смех безраздельно владел сейчас столовой номер семь.

— Леди и джентльмены! — крикнул Витька. — Дорогие друзья! Товарищи! Кого мы сегодня приветствуем? Элизабет Тейлор или Джину Лоллобриджи-

ду? — Он уже раздобыл где-то поднос и уже протиснулся в узкий коридорчик, подводящий очередь ко всему тому, чего душе угодно.

Секунду-другую столовая вслушивалась в Витькин нагловатый голос, а потом грянула ответным смехом.

Кто-то крикнул:

— Поднимай выше! Молодого князя с княжной чествуем! Помолвка!

Кто-то позвал:

— Кино, подсаживайся к нам!

Кто-то возразил:

— Да ну его — этого Витьку!

В шуме этом и гаме Анохину послышалось, что его окликают:

— Миша, садись к нам...

Голос был и не громок и не весел, пожалуй, один такой во всем этом гомоне. И потому и слышен. И был он знаком Анохину, тревожно знаком.

Он оглянулся. У окна, во главе составленных в ряд трех столиков сидела Нина Лагутина. Их глаза встретились. Как и тогда, у себя дома, она насмешливо и с укором смотрела на Анохина, будто говоря ему: «Эх ты, Миша!..»

Рядом с ней сидел Князев. Он тоже смотрел сейчас на Анохина. Весело смотрел, смеясь всеми своими обученными морщинками.

— Давай, давай к нам, паренек! — дружески позвал он, помахав рукой.

Анохин увидел, как Князев, перегнувшись через стол, принялся что-то шепотом объяснять седоватому, очень прямо сидящему мужчине, с торжественным, строгим лицом. Слушая Князева, мужчина коротко взглядывал на Анохина и вежливо улыбался.

— Миша, чего же ты! — снова позвала Лагутина.

— Пошли, зовут! — возник перед Анохиным Витька с уставленным тарелками подносом в руках. — Харчи наши, а выпивка ихняя, раз зовут. Между прочим, с вас один доллар и десять копеек. Что, дорого? Зато взял все на «Б». Бульон, бифштекс, бисквит. Не унижаться же перед Князевым. Слыхали, девчонку из ателье присватал. Кажется, ничего. А вы с ней как

знакомы, босс,— реально или только визуально? Молчу, молчу!

Ведомый Витькой, Анохин подошел к Лагутиной и остановился у ее стула, не зная, что делать дальше. Она подняла к нему лицо — бледное, осунувшееся, с еще более явственными черточками-приметинами то ли усталости, то ли испуга в уголках подкрашенного рта. Насмешливая улыбка, которой она хотела встретить Анохина, не удалась ей.

— Садитесь, Миша,— сказала она и быстро поправилась: — Садись.

— Рядом, рядом, как ты есть школьный друг! — Не вставая, Князев схватил свободный стул и, перебросив его из руки в руку, с треском поставил перед Анохиным. — Теперь-то станешь пить, кавалер? — Князев пошарил рукой под столом и понизу пододвинул Анохину бутылку. — Бери стакан.

Снова близко увидел Анохин его глаза. Те самые, вчерашние, повыцветшие. Те самые, с которыми воевал потом всю ночь, никак не умея от них отбиться.

Витька, уже усевшийся за стол, протянул Князеву два стакана.

— И мне, Евгений Андреевич, как я есть ближайший помощник школьного друга.

— И тебе, и тебе, и деду твоему, если подвернется! — Прихватив под столом бутылку, Князев все ждал, когда Анохин сядет. И хоть Князев и улыбался, в его напрягшемся, изогнувшемся теле застыла угроза.

Девушки за столом притихли. Седоватый мужчина, такой прямой и торжественный, вдруг склонился к тарелке, увлекшись едой.

— Ой, соперники! — прозвучал чей-то испуганно-радостный голос. — Нина, чего ты смотришь, скажи им!..

— Да что вы, что вы, девушки! — распрямляясь, удивленно оглядел стол Князев. — Какие там еще соперники? Нет, это вы не поняли — разговор у нас о другом.

— Разговор у нас о водочке! — подхватил Витька и потянулся к Князеву со своими стаканами.

— Аккуратней, это тебе не Америка! — Князев дружески подмигнул ему. — Суй под стол.

— Верно, я и забыл, что тут главное веселье под столом! — и Витька, разом всех насмешив, сделал вид, что лезет под стол.

— Кстати будь сказано, сухой закон как раз в США и придумали, — тоже улыбнувшись, солидно заметил седоватый мужчина.

— Это совсем другое дело, Анатолий Павлович! — уважительно оглянулся на него Князев, по-своему, по-князевски просияв лицом. — У них там при этом за-коне разве что сосунки не пили. А вот у нас и закона нет, а пить стало боязно.

— И похвально, что боязно. — Анатолий Павлович, снова прямой и строгий, постучал длинными пальцами по стакану. — Со страхом-то слаще. — Он медленно, всем корпусом, поворотился сперва направо, потом налево. — А, девушки? — и улынулся, едва приметно, одними лишь уголками губ. — Предлагаю посему выпить за нашу Нину, за ее счастье.

Но девушки не уделили должного внимания его словам. Они не сводили разгоравшихся любопытством глаз с Анохина, который все еще продолжал стоять.

— Молодой человек, да вы садитесь, присоединяйтесь, — недовольно глянул на него Анатолий Павлович. — А то, как в песне, получается: «Три года парень к ней ходил...» — и так далее. А, девушки?

За столом засмеялись, но не очень громко, не очень весело. И можно бы посмеяться словам Анатолия Павловича, да как-то неловко было.

Лагутина потянула Анохина за рукав.

— Садитесь, ну, чего же вы... — И когда он сел, близко, совсем рядом с ней, она шепнула: — Больше не нужно, теперь уже больше не обязательно быть моим школьным другом...

Кто-то из девушек тихонько запел:

Я тебе дарил цветы,  
Астры белоснежные.  
Может, улыбнешься ты,  
Не терял надежды я...

— Вы выходите замуж? — спросил Анохин.

— Не теперь еще, но скоро. А сегодня что-то вроде помолвки. Женья настоял.

— Зачем?

За столом негромко подхватили песню:

...И один переживал  
Все свои сомнения...

— Что — зачем? — Лагутина повела вокруг глазами. — Вот это вот? Такой уж у нас обычай вместе отмечать всякое радостное событие.

— Радостное?

Лагутина, не ответив, повернулась к Князеву.

Девушки за столом продолжали петь, делая вид, что только песня их теперь и занимает. Они пели задумчиво и даже печально, вкладывая в слова и в мотив песни свой собственный, глубокий, значительный смысл, которого не было ни в словах, ни в мотиве. Они пели прочувствованно и серьезно:

...А не любишь, — не таи,  
Что напрасно мучаешь?..

— Ну, поговорили? — Князев насмешливо поглядел на Анохина. — Выяснили отношения?

— Оставь, Женя, — сказала Лагутина и рассмеялась так громко, с такой внезапно звонкой нотой в голосе, что Анохину послышались в этом ее смехе вот-вот готовые пробиться слезы.

Песня разладилась, сникла, ее глубокий, значительный смысл исчез, и в разноебое слов, торопливо кончавших песню, прозвучала всего лишь крохотная, заунывная обида.

— Пустяковая песня, — сказал Витька. — Никакой гордости в ней нет. Так, сопли-вопли. Ну что, леди и джентльмены, выпьем? А то я оголодал.

— Выпьем, — сказал Князев, удивленно заглядывая в лицо своей невесты. — Нина, ты что это?

Она все никак не могла побороть в себе странный свой смех.

— Сейчас, сейчас пройдет... Смешно очень...

— Девицьи думы, — осторожно улыбнулся Анатолий Павлович. — Следует уважать...

По очереди заноса стаканы под стол, Князев принялся наливать в них водку, лукаво поглядывая по сторонам. Вдруг он замер.

— Засыпались!

К столу подходила строгой, медленной походкой совсем молоденькая девушка в длинном не по росту халате.

— Нарушаете! — сказала она милицейским голосом, почему-то глядя не на Князева, а на Витьку. — Пьянствуете! Безобразничаете!

У нее было славное, мягкое, будто ключевой водой умытое лицо, с припухлыми, детскими еще губами, которым с большим трудом дались только что сказанные жестяные слова.

— А, буфетчица Анюта! — развязно поприветствовал ее Витька. — Присоединяйтесь к нам.

— Будем удалять! — сказала ему девушка, изо всех сил хмуря смешливые дужки бровей.

— Меня?

— Вас.

— Ты?

— Я.

— Да ты посмотри, Анюта, кто тут сидит! — вскинулся Витька. — Тут же первые красавицы из ателье во главе с самим директором. Тут же Евгений Андреевич Князев.

— Известно.

— И тут не что-нибудь, а помолвку справляют. Это же святое дело!

— Помолвку? — у Анюты дрогнул голос.

— Ее самую. Присаживайся, глотни. — Витька подвинул девушке стул. — А хочешь, давай и мы с тобой помолвимся. За компанию. А?

— Дурак! — вспыхнула Анюта. — Вот уж не думала, что ты такой дурак! — И она поспешно отошла от стола, путаясь ногами в слишком длинном халате.

— Первая атака отбита, — сказал Витька, явно вдруг приуныв. Он потянул к себе чашку и с ожесточением начал хлебать свой бульон, жалостливо изогнув тонкую, заросшую шею. — Нажимайте, босс, остывает.

— Вас Витей зовут? — сочувственно приглядываясь к парню, спросила Лагутина.

— Виктором Викторовичем.

— Конечно, вы дурачок, Витя, — сказала Лагутина. Вы же ее обидели. Такую славную девушку. Знаете, Витя, есть в жизни слова, которыми не шутят.

— Я про это не знаю. Про это мой босс знает. Он — человек серьезный.

— И вы знаете. Нос-то вот повесили.

— Не повесил, а уткнул в тарелку. Рубаю бульон за двенадцать центов. Деньги все-таки.

Витька привычно прислушался, смеются ли вокруг. Да, за столом смеялись, но Витьку что-то не очень это ободрило.

— Самое главное слово в жизни — любовь, — значительно проговорила одна из девушек — ярко-медноволосая и вся в бусах, в сережках, в браслетах и в цветных гребешках, мобилизованных, должно быть, на борьбу с надвигающейся старостью. Девушке было лет двадцать. — Только где она — эта любовь? Разве что в книжечках или кинофильмах? Там, если любят, так женятся. А в жизни как-то все криво в перекос выходит.

— Значит, построй не тот, выгадывали, значит, на покрое, — сказала ее соседка, девушка с такой замысловатой и высокой прической, что даже собственным словам боязно ей было усмехнуться, чтобы не разрушилось все это кинозвездное великолепие. — А по мне, если нет любви, лучше уж так просто время провести, да и разойтись в разные стороны.

— Верно, девушки, верно, — сказала Лагутина. — Все вроде так... да не так. Бывает, и без любви женятся, бывает, что и любя расходятся.

— Да мы про это, про это и толкуем! — спохватилась медноволосая, тряся и звеня всеми своими драгоценностями. — Тебе-то уж, Нина, жаловаться нечего! Ты-то уж...

— Ладно, я знаю. — Лагутина снова повернулась к пребывавшему в унынии Витьке. — Вы с ней дружите, да? — спросила она его.

— Ага! — буркнул Витька. — Через буфетную стойку. Еще вопросы имеются? Нет? Тогда переходите в темпе к художественной части. Сам Степ Степыч идет!

— Ничего, уладим! — восторженно вскрикнул Князев. Он вскочил и быстро пошел навстречу двигавшейся к столу громадной туше в хрустко-белоснежном халате.

— Нельзя, нельзя, нельзя! — еще издали неожиданно тоненьким голоском проговорила туша. — У нас столовая, а не ресторан. Запрещено!

— Степан Степаныч, дорогой! — раскинув для объятия руки, подскочил к нему Князев. И что-то за-

шептал ему, по-свойски утыкая палец в величественный его живот.

— Нельзя, нельзя, нельзя! — звонко-тоненьким голоском продолжал твердить Степан Степанович. — Меня же мои комсомольцы живьем слопают!

— Подавятся! — хохотнул Князев. — Зубки сломят! Кушать-то вас кушали, а проглотить не смогли. Ни в «Праге», ни в «Пекине». Ужель в «Семерке» проглотят?

— Эти — проглотят! — сказал Степан Степанович, всерьез пугливо оглядываясь на буфетную стойку, из-за которой едва виднелось прихмуренное личико Анюты.

Она издали строго кивнула ему.

— А я что говорю?! — взвизгнул зав.

Он решительно шагнул к столу, но Князев натвердо встал ему на пути, снова что-то дружески шепча ему и по-свойски тыча пальцем в живот.

— А я что говорю?.. — сдаваясь, пропищал зав. Взмахнув пухлой рукой, он с той же решительностью поворотил от стола. — Допивайте ваш напиток, раз продукт открыт, но чтобы в последний раз.

— Раз да раз — вот уже и два раза! — крикнул ему в спину Витька. — Итак, вторая атака тоже отбита, леди и джентльмены, чокнемся?

-- Чокнемся! — возвращаясь к столу, весело сказал Князев. — Наш человек. — Уже не таясь, он со звоном выставил свой водочный припас на стол. — Девушки, сегодня разрешается! Анатолий Павлович, прошу вас! Друзья-недрузи, пригубляйте!

— А ты, смотри, человек серьезный, — сказал, поглядывая на бутылки, Анатолий Павлович и улыбнулся своей осторожной, не понять, одобряющей или осуждающей, улыбкой.

— Мы народ мастеровой, Анатолий Павлович. Пьем так уж пьем. Прошу, уважьте!

— Что ж, надо, надо уважить, — благосклонно согласился Анатолий Павлович. — А, девушки?

Подруги Лагутиной, пребывавшие сейчас в едином озорно-задушевно-грустном настроении, в тон, так сказать, событию, с готовностью взяли за свои стаканы.

— Погодите, — сказала Лагутина. — Пойдите.

Главная атака еще впереди.— С откровенной вдруг насмешкой она взглянула на Анохина.— Вы-то что же молчите, товарищ агитатор? Самое вроде время вам речь держать.— Она обернулась к Князеву.— Я тогда пошутила, Женя. Никакой он не друг мой школьный. Я его в первый раз в жизни и видела тогда. Он, Женя, агитатор мой — вот он кто.

— Какой еще агитатор? — не понимая, уставился на Лагутину Князев.

— Самый обыкновенный, который списки проверяет и на выборы кличет, а сейчас будет нам речь держать о вреде пьянства.

— Вот оно что! — то ли насторожился, то ли обрадовался Князев.— А я-то, я-то перед ним... Значит, никакой он тебе и не друг?

— Никакой и не друг. До чего же глупый вы народ — мужики. Вот ты, Женя, и бывалый, и умелый, а глупенький. В простой шутке не разобрался.

— Шутки разные бывают,— нахмурился Князев, но тут же усмешливо напряг свои обученные морщинки.— Ладно, потом доразберемся. Агитатор, пить с нами будешь, или некогда тебе?

— Некогда,— сказал Анохин и медленно поднялся, заставив себя поглядеть на Лагутину, в чужое, недоброе ее лицо.— Речей не будет,— сказал он ей.— Просто желаю вам счастья, Нина Васильевна.

— 1940 года рождения,— сказала она.

— Да, 1940 года рождения,— сказал он.— Такого счастья, за которое даже агитаторы пьют водку.

Он поднял свой стакан и выпил, трудно глотая, все, что там было.

## 6

На улице мело. В темном предвечерье вихрился по-мартовски колкий, злой снежок. Он будто знал, что его время отходит. И потому и злился. И холодно было так, как не бывает в самый разгар зимы.

И все же, все же, неведомо откуда взявшийся и совсем слабый еще, едва уловимый еще, жил в воздухе всегда такой пронзительно диковинный, талый и терпкий запах — привкус весны.

Необъяснимое чувство рождалось этим весенним предвестием, этим толчком в сердце, точно кто оклик-

нул тебя, позвал куда-то. Точно приоткрылась глазам синяя даль и в эту промелькнувшую синеву и позвали тебя, обещая что-то новое, главное, смелое в твоей жизни. Скажи только самому себе, что ты хочешь. Прикинь только сам для себя, что ты можешь. «Отвечай, отвечай, Анохин...»

А в ушах еще звенел обидный смех, которым проводили его от стола, а глазам еще помнилось чужое лагутинское лицо, и отдельно — и от смеха, и от Витькиной какой-то шуточки в спину — слышался голос Князева, голос без слов, только голос, который самым звуком своим был ему ненавистен.

Вернуться бы, подойти бы к столу и что есть силы ударить в этот наглый, хитрый, круглый голос, чтобы смолк — забулькал бы и смолк навсегда.

Вдруг пришла насмешливая мысль: «Что это ты все дерешься, товарищ агитатор?» Пришел и мгновенный ответ-догадка: «С ним иначе не выйдет».

Но почему?! Что это за сила такая, что за грозный враг — этот кепочник?

Вспомнилась жалкая его будка, уклеянная всякими страстями-мордастями. «Не укради! Не убей! Нельзя!» — сам же себя пугал Князев.

Так, ну, а что же ему можно? Что считал он для себя дозволительным, законным, безопасным? Многое можно! Оказывается, очень многое.

Можно вот усадить за стол рядом с собой Нину Лагутину и назвать ее своей невестой. Это — законно. Это даже приветствуется. За это даже пьют сейчас друзья Лагутиной, желая ей счастья. Желая счастья... с Князевым.

Можно вот так ладить свою жизнь, чтобы была она все той же, как и пять, и двадцать, и сорок лет назад. Неприметно вьется тропочка этой жизни, исстари проложенная, совсем такая, как и та, что легла через пустырь к избушке на курьих ножках с вывеской чуть ли не нэповских времен: «КЕПИ».

Пусть иные прочие строят свой коммунизм, пускай бьют дорогу через целину, живя не только для себя, но и для других. А я вот для себя, только для себя умудрюсь прожить. Я — умный, я — бывалый, меня не проведешь.

Многое можно!

Есть деньги, есть приятели, все эти «наши люди», что тоже бегают по своим тропочкам, есть даже свой круг людской, где ты в почете, где ценят твое умение жить.

Очень многое можно!

Анохин шел, сильно взмахивая руками, почти бежал. Ему было жарко. Он распахнул пальто, но ему все равно было жарко и душно. Душно все той же духотой, которая схватила его, когда он выпил свой стакан, пожелав счастья Нине Лагутиной, и пошел прочь.

Да, очень многое можно Князеву!

Можно опасливо, чуть слышно постучать в дверь и, когда откроют, войти в дом хозяином, нет, не вешам, не стенам, а человеку — этой вот девушке с испуганным, добрым, злым, многоопытным и юным лицом. Трудно понять, но это так. Это так — сегодня, сейчас, здесь, совсем рядом с тобой.

А вот тебе нельзя, ты не имеешь права вмешиваться в жизнь Нины Лагутиной, как бы ни верна была твоя догадка, что ей грозит беда. Ты — чужой ей, а чужому дано право приходить на помощь, когда его позовут, когда крикнут ему: «Помогите!» Вот тогда и кидайся со всех ног, если не сробеешь, вот тогда и вступишься, если еще не поздно.

Так-то, чужой человек, и умерь свой пыл; перестань размахивать руками. Все чинно-тихо у Нины Лагутиной и у Князева, все у них по закону, и никто тебя не просил о помощи. Позвали было, но, оказывается, это так — в шутку.

Все, как должно, все по закону. Прислушайся, ведь тихо вокруг. Оглядишься, ведь спокойно. Поостынь, Анохин, поостынь. Хватит у тебя и своих дел, и своих тревог.

Вот идешь домой, спешишь домой, а матери дома нет.

«Мишуня, я опять...» Что опять, мама?..

С того дня, как увиделась она ему как бы внове, тревога не оставляла его. Это была тревога не за себя и не за мать, а за все, что было их общим, что составляло их общую жизнь все эти долгие годы с тех пор, как погиб отец.

Не хотелось путаться в догадках, что происходит

с матерью. Даже думать об этом было тягостно. Все и так ясно, главное ясно: их семья, крошечная семья в два человека, и еще отец, которого не было и который всегда был с ними рядом, и еще вся жизнь их вместе, каждый день этой трудовой, нелегкой, но изнутри доброй жизни — все это распадалось, изживало себя, уходило, чтобы уступить место чему-то новому и в ее и в его жизни. Было горько, было больно понимать это.

Он поднял голову, поискал глазами окно их комнаты. Света в окне не было. Тогда он резко свернул в сторону и через площадь, срезая путь по снежной целине, зашагал к соседнему дому.

Это был дом, где жили Любовь Григорьевна и Семен Иванович Лебедевы. Еще издали он приметил серебристый свет телевизора в их широком, фонарем, окне. Сейчас и он станет смотреть телевизор, и что-нибудь очень интересное смотреть, иначе бы Семен Иванович телевизор не включил.

«Я позволяю себе читать, смотреть и слушать только самое интересное, — любил повторять Семен Иванович. — Некогда! Надо спешить. Ведь еще неизвестно, есть ли там, — он поднимал палец в небо, — книги, радио и телевидение».

Что-то очень уютное, тихое, умиротворенное было в этом серебристом свете за белой в оборках занавеской, которую Любовь Григорьевна с грустно-значительной улыбкой называла своим стариновским подвенечным платьем.

Сейчас, сейчас и он станет смотреть телевизор, усевшись на низенькую скамеечку, — его скамеечку, — а потом будет пить чай с засахаренной смородиной, столь богатой витамином «С», и слушать негромкие речи Семена Ивановича, столь богатые житейской мудростью. Хорошо у них там, покойно, ласково.

И это был дом, где жила Лагутина. Почти на самом верху, на восьмом этаже.

Анохин закинул голову и попытался найти и ее окно. Кажется, вон то — единственное на этаже, в котором тоже не было света.

Но скоро он вспыхнет, ярко отразившись в глянце новой мебели, новых стен и нового паркета — во всем новом и только новом, что окружало Нину Лагунину

дома, если не считать дряхлого манекена в углу прихожей.

Вспыхнет свет, по-хозяйски твердо ступая, пройдет через комнату Князев, хозяйски уверенной рукой распахнет дверцы шкафа, хозяйским голосом прикажет:

— Пей, Нина, пей за наше счастье! До дна пей!

И Нина выпьет, безвольно искривив рот.

Потом он подойдет к ней и положит на ее плечи свои тяжелые руки. И она позволит ему сделать это.

Потом он станет целовать ее своими быстрыми сухо-смешливыми губами. И она позволит ему и это.

Либо сегодня, либо завтра, но так все и будет, так будет.

Ладно, хватит об этом! Довольно!

## 7

У Лебедевых Анохину обрадовались. Маленький Семен Иванович, привстав на цыпочки, торжественно обнял его еще в дверях.

— Поздравляю, Миша. От всей души поздравляю.— Он чуть помешкал, смеясь и пытливо рассматривая Анохина. Седенький, маленький, в очень уж военизированной одежде — френч, гадифе, кавалерийские сапожки,— Семен Иванович мог бы показаться просто забавным старичком, рядящимся под воина, если бы не его молодое карие, молодое живые, умные и зоркие глаза. Под невысоким лбом, лихо перечеркнутым седенькой прядочкой, эти глаза светились такой умной ясностью, что света их хватало, чтобы совсем по-иному осветить и всю курьезную фигурку. «Ему так надо — вот он так и вырядился»,— приходила мгновенная догадка.

И что бы потом ни делал Семен Иванович, как бы ни суетился и ни шутил, явно на потеху окружающим, зорко-умные, а порой горько-умные его глаза неизменно утверждали его право вести себя подобным образом. «Ему так надо...»

— Любочка! Реня! Смотрите, кто к нам пожаловал! — тоненьким голоском провозгласил Семен Иванович. Суется, он принялся стаскивать с Анохина пальто и, как тот ни сопротивлялся, собственноручно водрузил пальто на вешалку.

— Миша, есть-пить хотите? — слышался из комнаты отчетливо радушный, помягчавший для домашних нужд голос Любви Григорьевны. — Повремените минуточку, я сейчас приведу себя в надлежащий вид.

— Срочно надевается халат для почетных гостей, — подмигнул Анохину Семен Иванович. — Знаете, с красными пуговками?

— Знаю, — сказал Анохин. — Неужели это мне такая честь?

— А кому же? Ведь вы теперь, говорят, наш агитатор. Прошу пока на кухню, товарищ агитатор. Там Реня. Телевизор ей сегодня что-то не по душе. Читает стихи и пьет чай без сахара. О, женщины, кто вас понять сумеет?! Откуда это?

— Не знаю.

— И я не знаю. Видимо, фольклор. Всенародный мужской вопль.

Подтолкнув Анохина к кухне, Семен Иванович почему-то приотстал.

— Я знала, что вы придете, — поднимаясь навстречу Анохину, сказала Реня. — Вот, послушайте, это Смеляков... — Она близоруко ссутулилась над книжкой, лежащей на белом кухонном столе. — Вот... — И вдруг обернулась к Анохину, глянув на него тревожно распахнувшимися лучистыми глазами. — Что с вами, Миша?

— Со мной? — Он подошел к ней и тоже наклонился над книжкой, собираясь узнать, что это за стихи хотела прочесть ему Реня. Но буквы внезапно разбежались по страничке, и слов, полных, должно быть, глубокого смысла и ясного звука, не стало. Роились буквы, и не было слов, и это было очень странно: смотреть в книгу и не уметь прочесть того, что там написано. Анохин тряхнул головой, и буквы было остановились, но тут же снова тронулись в путь, сдвигая и руша слова.

— Что с вами, Миша?

Анохин сдернул очки и принялся старательно протирать стекла.

— Я, кажется, пьян немного. Выпил, знаете ли, целый стакан водки. И даже не закусил. Вот как.

Он присел к столу и низко склонился над книжкой. Ему обязательно нужно было узнать, что там написа-

но. Это ему обязательно нужно было узнать. Он готов был ладонями сгрести расплывшиеся буквы, лишь бы узнать, что за слова они от него прятали.

— Вы огорчены чем-то, да? — спросила Реня.

Вот, вот, наконец, встала перед глазами первая строка и узнанным подтолкнуло сердце, как там, на улице, когда почудился в зиме едва слышный запах-привкус весны.

Вдоль маленьких домиков белых  
Акация душно цветет.  
Хорошая девочка Лида  
На улице Южной живет.

Ее золотые косицы  
Затянуты, будто жгуты.  
По платью, по синему ситцу,  
Как в поле, мелькают цветы...

Стихи вспомнились, ожили своим солнечным днем, словно цветной яркий рисунок вспыхнул на страницах книжки, и вдруг, вспомнилась, проглянула в этом рисунке Лагутина. Та, какую он знал, и та, какую не знал, какой она могла быть в пору золотых косиц, ребячьего житья-бытья.

И трудно стало читать дальше эти солнечным светом пронизанные стихи.

Анохин оттолкнулся от стола руками и встал.

— Нет, я не огорчен,— сглотнув вновь подступившую к горлу духоту, сказал он.— Это не то. Я — ненавижу, Реня. Встретил вчера одного человека и возненавидел.

— За что?

— За многое. Когда меня били в детстве — это был он. Когда обманывали — это был он. Когда учили всяким гадостям по дворовым закутам — это тоже был он.

— Все он да он?

— Да. И потом тоже — все он да он.

— Но вы говорите, что только вчера с ним встретились.

— По-настоящему только вчера. А знал и ненавидел всю жизнь. Не его, так похожих на него. У них ведь много общего — у этих, которые бьют втемную.

— Кто это, кто это вас так обидел, Миша? — входя бойкой походочкой в кухню, спросил Семен Иванович.

— Его не обидели, — сказала Реня. — Тут что-то другое. Семен Иванович, скажите, разве можно ненавидеть?

— Можно! — посмеиваясь, решительно наклонил свою седенькую головку Семен Иванович. — Можно, но не рекомендуется. Себе дороже. А в преклонном возрасте и просто опасно для жизни. Ненависть, Ренечка, как канатом дергает нашу сердечную мышцу. Раз дернет, два дернет — и нет тебя.

— Вы все шутите, Семен Иванович, — огорчилась Реня, украдкой глянув на понурившегося Анохина. — А если это серьезно?..

— И я серьезно. Весьма серьезно. Ненавидеть вредно, даже опасно, мои юные друзья. Это чувство, так сказать, не оправдывает себя технически. Слишком быстро изнашиваешься. Ненависть — это факел. А факел быстро сгорает.

— Но тогда и любовь — факел, — сказала Реня.

— И любовь, так называемая страстная любовь, — тоже факел.

— Так, значит?..

— Да, да, Ренечка, именно так оно и значит. Все это от молодости вашей, от щедрости, от незнания изнутри, что такое сердечный спазм, высокое давление, склероз. Все эти звонки и звоночки в самом себе, когда вспыхивает в мозгу преотвратное словечко: «конец». Это словечко очень умиротворяет к старости. И начинаешь жалеть о многом. Иные сочинители пишут, что, де, их герои к старости, пересмотрев свою жизнь, принимают сожалеть, что то-то и то-то не успели сделать. А я вот, оглядываясь, иной раз горько жалею, что то-то и то-то слишком горячо брался делать. Вспоминается, как лез под пули и получал их, хотя уже можно было и осадить коня. Вспоминаешь, как топал ногами и кричал, хватаясь за сердце, на нерадивых работников, хотя и дело-то все того не стоило, чтобы не только сердце, но даже и голос срывать. И жаль, жаль себя бывает, ребята! Ведь хочется еще попрыгать, ах, как хочется еще попрыгать!

Семен Иванович бойко наострил премудрые свои

глазки и молодцевато прошелся четким шажком по кухне. Дошел до плиты, чиркнул, как шашкой взмахнул, спичкой, запалил газ и, точно в танце, ловко оборотясь, поставил на плиту чайник. Потом, привстав на цыпочки, начал доставать с полки чашки, тоже округло-быстрыми, заученными движениями.

Анохин поглядел на Семена Ивановича и ясно вдруг представил всю эту нынешнюю его прыготню по жизни. И ничему не поверил из того, что столь горячо им только что утверждалось. Пожалел его и не поверил ему.

— А если дело того стоит, чтобы под пули лезть? — осторожно спросил он. — Как тогда быть?

— В мирное время дел таких почти нет, Мишенька, почти нет, — кротко улыбнулся Анохину Семен Иванович. — Это все от горячности вашей, от молодости. Ну, расскажите, поведайте нам, что же такое у вас стряслось, чтобы стоило факелом вспыхнуть?

— У меня все в порядке, Семен Иванович.

— Так, а с кем беда?

— Точно еще не знаю, но...

— Так! И все же?

— В вашем доме, двумя этажами выше, живет Нина Васильевна Лагутина.

— Ага, все-таки Лагутина? Милá, мила!

— Может быть, и мила, я как-то не думал об этом.

— Ясно, вы об этом не думали. Зеленые глаза, задорный носик, очаровательная фигурка, но вам это и невдомек.

— Семен Иванович, — взмолилась Реня. — Ну, что у вас за потребность такая все вышучивать?

— Так легче, Ренечка, легче познать серьезное.

— Не пойму я вас что-то...

— И слава богу! Пока я для вас загадка, вам не скучно будет навещать старика. Загадочность да многозначительность — это что-то вроде старческого обаяния. Но вернемся к предмету нашего разговора. Итак, Ниночка Лагутина... Кстати сказать, очень не простое существо. Очень! Вы уже установили это, Мишенька?

— Кажется.

— Всякий раз, как я с ней встречаюсь, — на лестнице там или на улице, — я не знаю, что меня ждет при этой встрече: улыбка ясная или хмурый взгляд.

Очень переменчивое создание. Вы уже установили это, Мишенька?

— Кажется.

— Ну, а что же вам не кажется? В чем вы, так сказать, утвердились?

— В том, Семен Иванович, что человек, за которого она собирается выйти замуж, из тех самых, что бьют втемную.

— Так! Изъясняется сложновато, но понять можно. И что же, любит она этого скверного человека?

— Не думаю.

— Зачем же замуж идет?

— Завещана ему и обещана.

— Что-что? — изумилась Реня.

— Покойной ее матерью завещана ему и обещана.

— Но ведь это мерзость какая-то! — вспыхнула Реня. — Без любви! За скверного человека! Зачем? Или, может быть, все не так, Миша? Может быть, вы ошибаетесь?

— Круглолицый такой, вечно с улыбочкой? — внешне серьезно спросил Семен Иванович, — я его как-то встретил вместе с Лагутиной.

— Да, вечно с улыбочкой. Человек, который смеется...

— Кепочник? Недавно тут у нас кепочную мастерскую открыл?

— Он самый.

— Тогда я его знаю, — потянув слова, сказал Семен Иванович. — Хорошо знаю. Любезный человек. Вот даже фуражечку мне изготовил. Этакую, с высокой тульей и маленьким козырьком. Я и не объяснял, а он все понял. «Старый, — спрашивает, — кавалерист?» Так точно, говорю. «Еще небось у Буденного рубились?» Так точно, говорю. «Ладно, уважу, будет у вас фуражечка первый сорт, дорогой товарищ комдив». Так точно, говорю, комдив. «Ромбик носили?» Два, говорю. «Тем более». Да, тем более... Я ведь с ним в камере сидел, на этапе встречался, лес сплавлял...

Семен Иванович огорченно призадумался, поглядев нервно смаргивающими глазками куда-то далеко-далеко мимо кафельных стен своей чистенькой кухни с пестрыми занавесочками на окне и на полках.

— Все с ним да с ним? — спросила Реня.

— Нет, зачем же? Этого я только здесь встретил. Вот, когда фуражечку заказывал. Он про меня догадался, я — про него. Верно, прав Миша: есть у них много общего — у этих весельчаков-рецидивистов, что норовят накрыть человека втемную. Ухваточка одна. И глаза, еще глаза мутной стали — одни и те же. Этой стали им не упрятать, хоть смейся, хоть плачь. Впрочем, может быть, он давно уже одумался, давно исправился — ваш кепочник? А, Миша? Ну, погрешил, ну, отсидел раз-другой, а теперь за ум взялся. Довольно частое ныне явление.

— Я и не знал, что Князев сидел, — сказал Анохин.

— Вот как? А я думал вас предупредили, что волк в овчарню забрался.

— Никто меня не предупреждал.

— И все же, повстречавшись с ним, вы насторожились?

— Да.

— Вот что, Миша, не трогайте его — и он вас не тронет. Он, надо полагать, потишал и возлюбил законы.

— Да, он даже всякими статьями да Указами всю будку свою заклеил.

— Видел, видел! — рассмеялся Семен Иванович. — Озорник, конечно, шуточки это все, но, возможно, и с серьезными выводами. Не трогайте его, Миша. Мы с вами безоружны перед этими людьми. Безоружны! Причем, не только в переносном, но и в буквальном смысле слова.

— Да, боюсь, что Лагутина безоружна.

— И вы тоже, вы тоже. Верьте мне, этот ваш Князев не так прост.

— Догадываюсь.

— И он ведь не нарушает пока никаких законов, не посягает ни на чье имущество, ни на чью жизнь.

— А вот этого я не знаю. Лагутина...

— Что, Лагутина? Он собирается жениться на ней? А может, таков ее выбор, таково ее решение — вам-то какое дело? Вы, что же, вознамерились помешать этому браку?

— Она не любит его, — убежденно сказал Анохин. — Она боится его.

— Откуда вы это знаете?

— Знаю.

— Факты или догадки?

— Знаю.

— Не иначе, как некое предчувствие?

Анохин не ответил.

— Да вы хоть давно знакомы с моей милой соседкой?

— С вчерашнего вечера.

— Целые сутки? О, это срок! Да поймите вы, смешной вы человек, что нельзя только по догадке, по предчувствию вмешиваться в чужую жизнь! Никак нельзя! Шею сломят, товарищ молодой коммунист. При первой же пробе сил.

Семен Иванович уж очень что-то разгорячился, так, что даже вынужден был присесть на табуретку и привычно похватать ртом воздух, настороженно и робко прислушиваясь к самому себе.

В кухню, плавно ступая, вошла Любовь Григорьевна.

— Спорите? Все спорите? А я концертом увлеклась. Ах, как пляшут у нас на Руси, как пляшут! Пойдите, гляньте, пока я чай буду заваривать.

— Да-да, ребятки, пошли, посмотрим! — Бодро поднявшись и широко расставив руки, Семен Иванович принялся подталкивать Реню и Анохина. — Танцы — это настоящее. Слово может и обмануть, движение — никогда.

В полумраке комнаты, когда усаживались перед мерцающим экраном, Реня взяла руку Анохина и крепко пожала ее.

— Я с вами, Миша, — тихо сказала она. — Я за вас. Вот только ума не приложу, что же можно тут сделать...

## 8

Лагутина вернулась домой. Зажгла свет в передней, зажала свет в комнате, зажала свет на кухне. Светлее, светлее, еще светлее пускай будет в ее доме. Когда очень светло, не так хмуро на душе.

Князева она не пустила к себе.

Едва вошли в подъезд, он стал жадно целовать ее, что-то шепча ей, настойчивые какие-то слова. Она старалась не услышать их.

— Потом, потом! Не смей! — шутя будто оттолкнула, вырвалась из его рук, захлопнула перед ним дверцу лифта.

Он было погнался за ней. Но потом остановился и махнул рукой.

— До скорого!

Лифт быстро шел вверх. Умница лифт!

И вот она дома. Одна. В светлом-светлом своем доме. Когда очень светло, не так хмуро на душе.

Нелепая эта помолвка позади. Она не хотела ее, но Князев настоял. Он вдруг заторопился. Смешно подумать, но кажется, из-за этого паренька-агитатора, которого она представила ему как своего школьного друга. Вот и умный и бывалый — уж куда еще, а ничего не понял и даже испугался такого соперника. И заспешил.

— Пусть знают, пусть все знают, что мы женимся!

Он умел так горячечно выговаривать слова, что просто невозможно становилось возражать ему. Но она все же попробовала возразить:

— Когда поженимся, тогда и узнают.

— Тогда давай прямо сейчас и поженимся.

— А траур?

— Траур, траур — хватит мне твоих отговорок! — вспыхнул Князев.

Она боялась его такого. Что-то страшное проглядывало в его обычно смеющемся лице, когда он вспыхивал яростью, которая, кажется, никогда не унималась в нем, а лишь упрятывалась куда-то в самую его глубь.

Она уступила. Что же, пускай все знают. Но ему зачем-то понадобилось приглашать ее подруг и заведующего ателье и угощать их. Она уступила и в этом. Предложила только позвать всех к себе домой. Нет, ему зачем-то понадобилось устраивать помолвку в той самой столовой, где обычно обедали девушки из ателье.

— Мы народ простой, мы народ рабочий, — подмигнул он ей. — У нас все на людях.

Она уступила.

Все получилось как-то нелепо и уж очень невесело. И этот еще Анохин пришел.

«Желаю вам счастья, Ница Васильевна. Такого

счастья, за которое даже агитаторы пьют водку...»  
Странный парень.

Нелепая помолвка — позади. Ну, а дальше что? Дальше будет свадьба. Такая же, наверное, как помолвка. Разве только больше будет выпито, больше будет сказано всяких там слов. Вот и вся разница.

Нет, тогда уже нельзя будет вырваться из рук Князева и захлопнуть перед ним дверцу лифта. Ведь он станет ее мужем. Князев станет ее мужем... Как же это так? А так вот... И теперь уже совсем скоро. И теперь уже ничего нельзя поделать, чтобы этого не случилось.

Князев вошел в ее жизнь давно. Она еще была девочкой, а уже был Князев. Тогда он не обращал на нее внимания, он дружил с ее матерью. У ее матери было много друзей, и одним из них был Князев. Их свели какие-то общие дела. У матери было множество всяких дел с множеством мелькавших и мелькавших перед Ниниными глазами быстрых и улыбчивых мужчин, говорливых и очень уж ласковых женщин.

Нинина мать была портнихой. Считалось, что очень хорошей. Сшить у нее костюм или пальто добивались многие. Но те, кто приходил к ней, как приходил вот Князев, ничего не шили у нее, ничего не заказывали. Они что-то приносили и что-то уносили. Пересчитывались деньги, шел быстрый, деловитый разговор, часто с усмешечкой, часто раздраженный, но всегда негромкий, будто приглашенными голосами.

Когда Нина подросла, она поняла, что это за люди ходили к ее матери, она поняла, что за дела тут делались у нее на глазах в их маленькой тесной комнате, где они жили тогда с матерью.

Поняла и не возмутилась. Еще многое и многое предстояло ей понять. И принять. Это была жизнь. Это было то, что давало ее матери возможность, как она говорила, «безбедно существовать».

Отец Нины погиб на войне, когда ей было всего три года. Она не помнила отца. Да мать редко о нем и вспоминала. Вскоре появился папа Володя. Нина едва помнила и его. Он недолго прожил с ними. Потом появился папа Сережа. Этого Нина запомнила. Он часто бывал пьяным. Мать часто ссорилась с ним, укоряла его в безделье. Он был добр и жалок, и когда

Нина оставалась вдвоем с ним, он жаловался ей на ее мать, называл ее «жестокой женщиной», «молотком-бабой». Станные какие-то прозвания. Нина не соглашалась с ним. Мать казалась ей доброй, заботливой. Нине нравился и властный характер матери, нравилось, как она управляется со своими капризными заказчицами, двумя-тремя словами сбивая всю их самонадеянность. И Нина тоже научилась не уважать этих возбужденных дамочек, которые на поверку были и безвкусны и простоваты. В чем бы мать ни хотела их убедить, это ей удавалось почти без труда.

— Польстишь дуре, скажешь, что это ее молодит или там худит, — и она уже и поверила, — смеясь, делалась с дочерью своим опытом мать. — С такими главное — лесть, доченька. Учти, лесть вообще многое может. А мне ведь не жалко. И им приятно и мне хорошо.

А потом появился папа Гриша. Этот был строгим папой, властным. Даже мать его побаивалась. И вот тогда-то зачастил к ним в дом Князев. Папа Гриша дружил с такими. Теперь уже не мать, а он занимался делами: покупал отрезы, отсчитывал деньги, торговался. Он делал это, как и раньше все у них делалось, без шума, ни разу не возвысив голос. Он вообще никогда не спорил.

— Так! Все! Порядок! — это были его любимые словечки. Ими часто он и обходился и в делах, и в разговоре с женой, и в разговоре с Ниной.

А потом он исчез. Нине было тогда уже восемнадцать лет, и она уже отлично во многом разбиралась. Она поняла, даже и не спрашивая ни о чем мать, что папу Гришу арестовали. За что-то серьезное, потаенное, скверное. Был обыск, мать куда-то несколько раз вызывали, она часто плакала по ночам.

И страх воцарился в их маленькой комнате. Мать шила, принимала заказчиц, что-то выгадывала, покупала и выменивала, но страх, который и раньше жил вместе с ними, теперь напоминал о себе и днем и ночью, точно и впрямь был живым и омерзительным, непомерно раздавшимся мохнатым зверем из страшного сна.

Боялись телефонного звонка, дверного стука, шагов на лестнице, звука остановившейся машины — всего боялись мать с дочерью. Жить так было невыноси-

мо. В школе, а потом и те два года, которые ушли на подготовку в институт, когда целыми днями Нина проводила в библиотеке, была своя жизнь. Это была веселая, молодая, беззаботная жизнь. Нину не огорчили даже два ее провала на экзаменах. И когда провалилась на экзамене, и когда уходила из аудитории, понимая, что опять получила плохую отметку,— все равно на душе было легче, покойнее, даже радостнее, чем дома.

У Нины было все: какое угодно платье, какая угодно обувь, даже меховые шубы, чуть ли не с пятнадцати лет.

— Я одеваю тебя, как генеральскую жену,— шутила мать.— Только с той разницей, что со вкусом и без обмана.

У Нины были и деньги — мать давала их ей щедрой рукой. Часто Нине казалось, что мать просто хочет, чтобы она взяла у нее побольше денег, чтобы исполнила любую свою прихоть. И Нина понимала, почему мать, совсем не такая уж щедрая, была так щедра с ней. Нина понимала, она хорошо научилась понимать подобные душевные движения людские. Мать этим попросту откупалась от нее, возмещая то, что не дала ей, деньгами.

Да, у Нины было все и ничего, почти ничего не было. Страх, который жил в их доме, отнимал у нее всякую радость и от нарядных вещей, и от денег этих в сумочке, на которые можно было кутить хоть целый вечер с целой дюжиной своих дружков и приятельниц.

Было страшно, было всегда страшно. Было неудобно, пасмурно жить, что-то от всех тая, зная всегда, что над матерью, над тобою нависла угроза. Постучат ночью в дверь — и вот она вошла угроза. Остановится под окном машина — и вот она гремит угроза.

Так жить было невыносимо. Но иначе жить мать не умела. Не знала, как жить иначе, и Нина. Она просила мать, чтобы та бросила свою работу, чтобы они уехали куда-нибудь.

— С голодудохнем,— говорила мать.— Если надо будет, нас где угодно отыщут.

И это все тянулось и тянулось, и только Князев вносил в их жизнь какое-то успокоение. Он был так дерзко смел, так неизменно весел, так очаровательно

нагл, что, когда он приходил к ним, становилось полегче на душе.

Нина уже думала, что скоро и он станет ее очередным папой, папой Женей, хоть он и был много моложе матери, но нет, он был всего лишь другом матери, просто ее деловым другом. А однажды Нина поняла, что вовсе не папой Женей собирается стать Князев в их доме, а ее, Нины, мужем. Он как-то сказал ей об этом, посмеиваясь, будто шутя. Сказал при матери. Нина рассмеялась, так и подумав, что он шутит. Но мать знала Князева лучше, и Нину поразило, как поблденло ее лицо.

— Никогда! — вскрикнула она. — Нину за вас? Никогда!

— А чем я плох? — усмехнулся Князев. — Сидел? Воровал? Что ж, глупый был, молодой, не теми дорожками ходил...

— Никогда! — шепотом повторила мать. — Никогда!

— Для другого свою Ниночку готовите? — все будто веселясь, спросил Князев. — Для какого-нибудь профессорского сынка? Боюсь, не получится, Клавдия Николаевна. Среди своих, среди своих женишка подыскивайте. Так-то умнее будет. Без запроса.

— Я вам не своя, — сказала мать. — Нина вам не своя.

— А это мы еще посмотрим! — совсем уже развесялся Князев. — Спешить нам некуда. Подождем. Посмотрим.

Будто шутливый, но вовсе не шутливый, страшно напугавший мать разговор этот отчетливо врезался в Нинину память.

Верно, верно, Князев не шутил. Шли дни, и все яснее становилось Нине, что Князев не шутил, ставя ее и себя рядом. Да, этот бывший вор, уголовник, не раз, должно быть, отбывавший срок, а ныне темный делец, ни мало не сомневался, что может жениться на ней. Все чаще и чаще говорил он ей об этом. Иногда в шутку, а иногда и всерьез говорил он ей, что любит ее, что не уступит ее никому. Пусть и не надеется — не уступит.

И он добился своего. Он так глубоко пробрался во всю их жизнь, так стал им необходим в эти заполнен-

ные страхом дни, что как-то само собой вышло, что он стал своим у них в доме, своим и необходимым им человеком не только в делах, но и просто так, чтобы легче дышалось. Им нужна была его смелость, дерзость, пусть даже наглость. С ним было легче.

Когда их ветхий дом пошел на снос, Князев помог матери получить взамен их комнатенки отдельную квартиру. Как уж это он сделал — Нина не знала. Сделал!

Он помог им и переехать. Он помог им и устроиться на новом месте. Помог Нине, которой нельзя было уже больше сидеть без работы, устроиться на службу. Как раз на такую, в какой она знала толк. Он помог и матери обзавестись на новом месте новыми заказчицами, непостижимо быстро создав ей репутацию замечательной портнихи и здесь — в новых местах. Он говорил, что ему здесь нравится.

— На новом месте по-новому и заживем! Вольготней! Веселей! — восклицал он с таким напором, с такой веселостью, что у слушавшей его Нины становилось и вправду повеселей на душе.

И как-то само по себе вышло, что мать уже больше не противилась намерениям Князева жениться на Нине. Мать даже исподволь стала уговаривать Нину решиться на этот брак.

Незадолго до своей смерти мать вдруг сразу сдала, состарилась, обезволила. И ей уже стало казаться, что Князев, только он один все может, все смеет. Заболев, когда уже стало ясно, что у нее рак, и когда, кроме дочери, только Князев был рядом и только Князев оставался ее другом, она пообещала ему, что уговорит, что прикажет дочери выйти за него замуж.

Она приказала. Она вспомнила, как долгие-долгие годы повелевала каждым шагом дочери, и повелела ей вот и теперь, зная, что умирает, исполнить ее последнюю волю.

Нина обещала. Она не могла иначе, не умела иначе. Всю жизнь она жила из рук матери. Так надо, значит, так надо...

Она даже объяснила и оправдала это решение самой себе. Словами, которые ей сказала бы мать:

«С Князевым не пропадешь. Чего уж...»

Да, и вот она его невеста.

Она боится его, боится той жизни, которая предстоит ей с ним, ненавидит эту жизнь и все же выходит за него замуж.

Она не умеет иначе. Ей страшно одной, ей страшно в этой залитой светом квартире. Мохнатый зверь-страх поселился, укоренился и здесь. Может быть, вот в этом старом манекене в углу? Может быть, среди этих новых свертков и сверточков, которые все носит и носит к ней Князев? «На-ка, сунь куда-нибудь подальше. Сгодится...»

Она не знает, где он здесь прячется — этот мохнатый зверь, но он здесь.

И она ничего уже не может поделать. Так сложилась жизнь, так видно, сложилась жизнь. Так тому и быть...

9

Анохин допоздна пробыл у Лебедевых. Реня у них и заночевала. Она часто ночевала у них, если засиживалась, а она часто засиживалась.

Смотрели концерт, пили чай, слушали всякие забавные истории, которые мастерски умел рассказывать Семен Иванович. К разговору о Лагутиной больше не возвращались. Так уж повелось тут: если какой-нибудь разговор столь разволнует Семена Ивановича, что он начинает похватывать ртом воздух, то больше к предмету этого разговора не возвращаются. И долго потом и Любовь Григорьевна и все друзья ни в чем Семену Ивановичу не перечат. Это длится до тех пор, покуда он сам не восстанет и не потребует, чтобы с ним не разговаривали, как с больным, никчемным старикашкой.

Анохин познакомился с Семеном Ивановичем в библиотеке. Тот часто навещал там свою жену и даже помогал ей и Рене разбирать и выдавать книги.

Недавно открывшаяся в их микрорайоне библиотека сразу же стала притягательным местом для всех здешних книголюбов, но по преимуществу пенсионного возраста. Поэтому всякому молодому лицу здесь были очень рады и всякого молодого старательно привлекали.

В первый же вечер, как познакомились, Семен Иванович потащил Анохина к себе домой. Старик попра-

вился Анохину, и, кажется, Анохин понравился старику. Но уже в первый же вечер они о чем-то заспорили, в чем-то не согласились. И дальше тоже чуть ли не каждая их встреча кончалась спором и несогласием.

Старик был многоопытен, умен, столько пережил и перевидал всего, что не считаться с его мнением, с его советами было не просто. И он умел убеждать, он был отличным рассказчиком, он не боялся называть вещи своими именами. И все же Анохин, только-только «выпроставшийся из яичной скорлупы» — это так о нем говорил Семен Иванович, — очень часто перечил старику, не соглашался с ним.

— Вы слишком наивны, Миша, — говорил ему Семен Иванович. — Вы слишком просты, слишком доверчивы. Погодите, жизнь вас еще научит уму-разуму, еще обкатает. И насторожит.

— В вас проглядывает, друг мой, материнское, женское воспитание, — говорил ему Семен Иванович. — Вы слишком мягки, слишком добры. На проверку эти все величайшие добродетели ваши могут привести вас к разочарованию.

Анохин не казался себе ни слишком добрым, ни слишком отзывчивым, ни слишком наивным. Наоборот, ему думалось, что он даже черств порой бывает, даже эгоистичен.

«Как взыскивать с себя в жизни? Как жить, чтобы получалось по-настоящему? — часто спрашивал он сам себя. — Как жить, чтобы не просто проходил день за днем, а была бы от твоей жизни польза людям? Не только тебе самому польза, но и другим?..»

Семен Иванович подсмеивался над всеми этими «философическими самоистязаниями» Анохина. Он говорил:

— Честность — да. Порядочность — да. Но никак не самоотверженность, Мишенька, если уж толковать без обиняков. Иначе надолго вас не хватит.

Когда в «Правде» был напечатан проект Программы Коммунистической партии, Анохин, читая его, все время как бы продолжал свой спор с Лебедевым. Схватив газету, он побежал к старику и без лишних слов показал ему старательно подчеркнутые карандашом особенно важные для его спора с ним строки.

Семен Иванович читал все подчеркнутое Анохиным, согласно кивая своей седенькой головкой.

— Ну и что же? — глянул он на Анохина. — Все правильно. Для страны в целом все очень правильно. А вот для каждого отдельно взятого человека понадобится сделать поправку с учетом его сил.

— Физических? — спросил Анохин.

— И нравственных тоже, — улыбнулся Семен Иванович.

— А как же тогда с этим? — и Анохин указал старику на те строчки Программы, в которых говорилось о моральном кодексе строителей коммунизма. Он прочел: — «Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного». Стоит ли вымеривать свои силы, когда ты не один, когда ты за всех, но и все за тебя?

— Тут важно не перестараться, — снова улыбнулся Семен Иванович. — А то может так выйти, что ты-то за всех, но далеко не все — за тебя.

Нет, его невозможно было переубедить. Он уже все в жизни установил для себя, все разобрал и понял. Но нельзя было и слишком строго судить его за эту явно невмешательскую жизненную позицию. То, что он перенес, годы, которые провел в тюрьме, зная, что невиновен, — все это стеной вставало на его защиту. И если не оправдывало, то хотя бы защищало.

И все же хотелось, очень хотелось Анохину хоть раз единственный выйти победителем из своих споров со стариком. Хоть раз единственный заставить его произнести, ну хотя бы всего-навсего: «Вы правы, Миша».

Не получалось. Но, не умея убедить, Анохин не поддавался и убеждениям старика.

Так вот случилось и сегодня, в разговоре о Лагутиной.

— Не вмешивайтесь, — сказал Семен Иванович.

— Шею сломят, — сказал Семен Иванович.

Анохин не принял этого совета, этого предостережения. Он всем сердцем воспротивился словам старика. Воспротивился, хотя и не знал, что же станет он делать в этой действительно неподвластной чужому вмешательству истории.

В окне их комнаты уже теплился свет, когда Анохин подошел к своему дому. Значит, мать уже вернулась и, не дождавшись его, легла спать, оставив по обыкновению зажженной настольную лампу. Мать уже вернулась...

Осторожно отворив дверь, Анохин на цыпочках вошел в комнату. Он думал, что мать спит. Она не спала. Она сидела, обернувшись лицом к двери. Она ждала его.

— Что ты так долго?

— Задержался у Лебедевых.— Он присел на стул напротив матери, забыв снять пальто.— Ну что, мама?

— Ты о чем?

— Обо всем, мама.

Она усмехнулась, незнакомо так, будто помолодевшим ртом.

— Да, ты прав, нам надо поговорить.

Она встала и заходила по комнате, гибко избегая бесчисленные препятствия, преграждавшие ей на каждом шагу дорогу.

— Миша, пойми,— сказала она.— Ты уже взрослый, теперь ты уже взрослый. Пойми...

Он почти не слышал того, что мать говорит ему, слыша лишь звонкое волнение ее голоса и изумляясь всему новому в ней — гибкой новизне ее движений, молодо похудевшему, молодо напрягшемуся лицу.

— Да ты сними пальто! Что же ты, как в гостях?— рассмеялась мать.

Он послушно поднялся и пошел в коридор вешать пальто.

Когда он вернулся, мать вдруг обняла его и странно горячими губами поцеловала в лоб. Потом, сунув ему в руку какой-то пожелтевший конверт, сказала:

— На, прочти. Это — письмо отца. Шестое его письмо. Последнее. Я не показывала его тебе раньше, потому что... Ну, ты читай, а я попробую заснуть. Поздно уже. Ты читай, читай.

Она отстранилась от сына, глядя на него так пристально, так жадно, словно провожала его в дальний путь, словно прощалась с ним.

— Нет,— сказала она,— нет, я спать не буду. Ты читай, а я подожду.

Она подвела сына к столу, положив руки на пле-

чи, усадила его и быстро отошла в самый дальний угол комнаты, в самый неосвещенный, где стояло старое, еще бабушкино кресло. Она села в это кресло, незнакомо закинула ногу на ногу,— она никогда так раньше не сидела,— оперлась подбородком на руку и стала ждать.

Шестое письмо отца... Последнее... Миша Анохин знал только пять отцовских писем с войны. А потом пришла похоронная. Оказывается, было шестое письмо. Последнее. Это письмо мать ему не показала, она спрятала это письмо. А вот теперь велит прочесть. Почему?

Ответ на это «почему?» он найдет в письме, в сером листочке, который он достает сейчас из мятого, пожелтого конверта.

Вот они — знакомые буквы отцова почерка! Смелые, твердые, будто веселые буквы.

Не помня отца, его рук, глаз, голоса, Миша искал его в каждой малости, которая досталась ему от отца. В фотографиях, в оставшемся отцовом выходном костюме — они с матерью его не продали,— в охотничьих высоких сапогах — Миша ни разу не надевал их, даже тогда, когда ездил в колхоз копать картошку.

Во всем, в каждой малости искал сын приметы своего отца, которого не помнил. И находил, и узнавал, слагая из этих малостей отцов образ.

Больше всего помогли Михаилу Анохину письма отца с фронта. Пять его писем. Помогли многое понять об отце и помогли жить, год за годом, взрослая, без отца и с ним.

Какие это были замечательные письма! Какие грозные, мудрые, молодые и смелые. Миша знал их наизусть — каждое письмо. Он знал наизусть и даже зримо представлял все то, о чем писалось в коротких, горько коротких фронтовых письмах отца. Он дополнил то, что было написано в письмах, тем, что прочел потом в книгах о войне, увидел в фильмах о войне. Но только в самых честных, самых правдивых. Никакая сколько-нибудь уходящая от правды история не приникала к отцовым письмам, не укладывалась в их строчки. Не то, не так!

И Михаил Анохин привык мерить многое не толь-

ко в книгах, в фильмах да в пьесах, но и в самой жизни по отцовым письмам.

В самом первом письме отец писал, что рад, что вот он уже получил военную форму, получил винтовку — старенькую какую-то, польскую, и пылит по дороге на фронт, на фронт. Ему страшно за жену, за сына, но он рад, что ушел от них, и все дальше уходит от них, чтобы попытаться защитить их. Каждый шаг его от Москвы, каждый шаг его от них — туда, к фронту, — радует его.

В своем втором письме отец писал уже о том, как столкнулся он лицом к лицу с войной. Наши войска тогда отступали, кадровые войска отступали, а московские ополченцы, в числе которых был отец, шли навстречу немцам. Те, кто умел воевать, шли к Москве, обугленные будто, молчаливые, сотрясенные будто какой-то страшной силой, от которой они никак не могли прийти в себя. Вчерашние студенты, педагоги, врачи, слесари, шоферы, стыдливо скрывая, что не умеют разобрать затворы своих польских винтовок, что не знают, как им быть с полученными ими гранатами, не знают, как им быть с кровоточащими ногами, которые пришлось всунуть в железные башмаки прямо на походе, — все эти мирные еще вчера люди с изумлением заглядывали в лица своих военных братьев, не умея понять причины сотрясенности этих лиц.

Третье письмо было о Вязьме, о небольшом городе Вязьме, сгоревшем на глазах отца. Немцы бомбили этот город с таким сладострастным неистовством, что вдруг отцу перестало быть страшно под этой бомбежкой. Город бомбили звери, взбесившиеся звери — человек не смел их бояться. В этом письме отец впервые произнес, как клятву, трудное, очень трудное для тех дней, и для честных людей в те дни слово: «Победим!»

И он объяснил, почему он верит в победу. «Мы — люди, за нами все высокие установления людские, с нами наш разум и совесть, с нами наша верность и гордость, мы любим, мы ненавидим, мы жалеем. Мы — победим».

Еще одно письмо... Самолеты, самолеты, нескончаемыми волнами идущие в ночном небе на Москву. Немецкие самолеты, груженные бомбами для Москвы. Наших самолетов нет. Разве что днем пролетит какой-

нибудь старенький, будто взятый из музея. Пролетит низко, держась русла речки, так, видно, ему легче лететь. Взглянешь на этот самолетик и задохнешься от горького и яростного чувства: «Победим! Мы — победим».

И последнее, как думал Миша Анохин, отцово письмо. Спокойное, ласковое, даже веселое письмо. Отец рассказывал в нем сыну, как нашел в лесу ежа. Как еж сам побежал к нему в руки, и у него отчего-то были мягкие колючки. Испугался ежик, вот и помягчал. А ты, сын, когда подрастешь, не трусь. Ладно? Отец писал в этом письме о своих товарищах по взводу. Славный, забавный все народ. Какой-то профессор, преподававший в Москве политэкономии, ведал у них во взводе дележкой хлеба, сахара и сушеной рыбы. «Ты знаток этих всех дел насчет экономии,— сказал ему старшина,— вот и действуй». Инженер-строитель, который был у отца вторым номером на пулемете Дегтярева, выполнял во взводе еще и обязанности санинструктора. Это потому, что он как-то обмолвился, что в юности, лет тридцать назад, проучился один год на медицинском факультете. «Братцы,— умоляюще говорил этот многоопытный медик.— Ежели вас ранят, даже ежели поцарапают, не обращайтесь ко мне — загублю».

В этом письме отец писал, что их дивизия вышла на боевой рубеж и что вот-вот, теперь уже скоро, быть ему в бою.

В этом письме отец написал, что вступил в партию.

А потом пришла похоронная. И все эти годы Миша Анохин думал, что то, пятое письмо, было последним письмом отца. Оказывается, нет, последним было вот это, шестое, которое он держит сейчас перед глазами. Очень короткое письмо, писанное, видно, наспех на чем-то мягком сточенным, царапающим карандашом.

«Валя! Через несколько минут, похоже, начнется бой. Не думаю, чтобы легкий бой. Ты вот что, если не вернусь, подними хоть немного на ноги сына, и не нужно, не правильно это — весь век быть вдовой. Я тебя знаю, но это не нужно». Дальше шли слова, обращенные к сыну: «Миша! Станешь большим, живи честно и живи щедро. Не смей мельчить в жизни, сын.

Знаешь, что это такое — не мельчить в жизни? Вот слушай... Эх, брат, не успел! Танки!..»

Вот и все, вот и все, что было написано в этом последнем письме отца.

Анохин поднял голову и встретился с глазами матери.

— И только теперь? — спросил он.

— Да,— сказала она, изо всех сил стараясь продержать глаза перед глазами сына.— Ты — против? Посоветуй, как мне быть. Как ты скажешь, так я и сделаю.

— Я не против, мама. Кто он?

— Хороший человек, Миша. Очень хороший. Мы вместе работаем. Я все не решалась, все откладывала, месяц за месяцем. Хочешь, отложу и сейчас? Хочешь, я порву с ним? Хотя нет, я неправду говорю. Мне будет трудно это сделать. Пойми, Миша, ты теперь взрослый. Пойми...

— Я понимаю, мама.

— Мне только ведь за сорок, ну, пусть, ты внаешь, мне сорок пять, но ведь это еще совсем не так уж много. И кажется иногда, что не жила вовсе. А иногда кажется, что жизнь уже прожита, что свое уже мною отжито. Страшно, сын. Ты прости меня, ты пойми меня.

— Мне не за что тебя прощать, мама. Я только за все, за все могу поклониться тебе.— Он встал и шагнул к ней, а она к нему.

Посреди тесной своей комнаты они сошлись, он взял ее руку и поцеловал. Он все делал сейчас впервые: и целовал ей руку, чего не умел делать и ни разу не делал, и слова сейчас произносил такие, которые бы не умел найти минуту назад:

— Будь счастлива, мама,— сказал он.— Родная моя, будь счастлива с тем человеком. Не тревожься ни о чем. Прости меня, что я жил все эти годы таким несмышленышем. Прости.

Мать слушала его, напряженно ловя каждое слово, шевеля губами вслед каждому его слову, будто повторяя про себя все, что говорил ей сын.

Когда он замолчал, она еще долго стояла, близко заглядывая ему в лицо, все что-то спрашивая, спрашивая глазами.

Можно пойти и тихонько, их стуком, постучать в дверь. И на вопрос: «Кто там?» ответить: «Из агитпункта». А когда отворят, войти и сказать: «Здравствуйте».

А что потом? Нет, ничего путного из этого не получится.

Можно прийти к ней в ателье, сесть напротив нее у ее столика заказов и просто так спросить о чем-нибудь для начала разговора. Например, можно ли заказать костюм из их материала? Что ж, она ответит, она скажет: «Можно» или «Нельзя». А дальше что? Нет, ничего путного и тут не получится.

И довольно, хватит, друг, думать об этом! Мало у тебя, что ли, своих забот, своих огорчений? Своих, своих дел!

Мать сказала, что через три-четыре дня она, пожалуй, начнет перебираться к Андрею. Она не назвала этого человека мужем, она сказала: «К Андрею».

— Ты не возражаешь? — спросила она уже в дверях, уже в пальто, вот-вот готовая переступить порог, чтобы уйти на работу.

— Нет, — сказал он. — Ты познакомишь нас, мама?

— Обязательно. Ты хочешь прямо сейчас?

— Как тебе будет удобнее, мама.

— Не думай, он хороший.

— Я знаю. Ты бы не полюбила скверного человека. Ты — нет.

— Полюбила? — спросила мать и задумалась. — В сорок пять лет, сын, это как-то, наверное, по-другому называется. Важно, что это у нас серьезно, важно, что мы нужны друг другу и уже не очень нужны другим. Знаешь, ведь у него тоже есть взрослый сын. Работает где-то в Средней Азии. Не работает, а служит. Он — военный. Ну, я побежала. Обязательно познакомлю вас. Скоро!

И ушла.

По пути в кинотеатр Анохин хотел было завернуть на агитпункт, но раздумал. Записывать в дневник агитбригады о проделанной накануне работе, честно

говоря, было нечего. Разве что написать, что выпил стакан водки за счастье одной из избирательниц, хотя никакого счастья у нее впереди не предвиделось. Разве что написать, что пошел потом, выпив эту водку, к другому избирателю и ничего не сумел возразить ему на его призыв жить потише, жить, не вмешиваясь в чужие дела.

На душе было скверно, и день выдался серенький, с морозящим по-осеннему снежком. И никакой весной, как ни принюхивайся, не пахло. Казалось, отойдет зима и сразу начнется осень. И тотчас вспомнились все рабочие заботы и неполадки, вспомнился плохо работающий маслораспределитель на первом посту и неясный ему еще дефект в фильмовом канале. То работает хорошо, то начинает капризничать, царапает пленку. Правда, Витька уже нашел объяснение этому дефекту.

— Заметьте, босс,— сказал он, изображая на лице величайшую серьезность.— Он у нас царапается исключительно на скучных фильмах.

Милейший человек — этот Витька. Только что-то очень уж все шутит. Надо бы как-нибудь затащить его к себе и поговорить с ним по-настоящему, поперек всех его шуточек. Наверное, если сумеешь, если получится разговор, совсем другой парень откроется. Со своей судьбой человек. А то все шуточки да шуточки. И не понять, хорошо ли ему на свете живется — Витьке Снегиреву, человеку семнадцати лет.

Уже подойдя к дверям кинотеатра, Анохин увидел новую афишу — знакомое мальчишеское лицо со строгими глазами, — и вспомнил, что сегодня у них повторно демонстрируется «Баллада о солдате». Вспомнил и обрадовался. Это была любимая его картина, хотя смотреть ее было ему всегда трудно. Это была правдивая картина, из тех, что помогали ему зримо читать отцовы письма. «Эх, брат, не успел... Танки...»

Может быть, тот чудовищно-чудовищный танк, который убил его отца, шел по вяземской земле еще страшнее, еще неумолимее, чем это снято в картине. И все же это правдивая картина, честная. В ней люди честные. Не смелые, не геройские, а честные. Честные друг с другом, честные со своей Родиной. Это — главное в них. И таким был его отец. Не героем-исполи-

ном, не смельчаком, которому и море по колено, а просто честным со своей Родиной человеком. Как это много, хоть и кажется таким простым, как это трудно...

«Миша! Станешь большим, живи честно и живи щедро. Не смей мельчить в жизни, сын. Знаешь, что это такое — не мельчить в жизни? Вот слушай...»

Что же это такое, отец? Ты так и не успел сказать мне, что же это такое — не мельчить в жизни. Ладно, стану разбираться сам. Попробую сам.

Витька встретил Анохина радостно-возбужденным воплем. Анохин сперва ничего понять не мог из выкрикиваемых им слов. Наконец все-таки понял: Витька раздобыл где-то «изумительную халтуру», будет скоро «огребать целую кучу деньжищ», оденется, «как птица какаду».

— Ну, рассказывай, — слегка встряхнув парня, чтобы тот немного поутих, строго сказал Анохин. — Что за халтура? Что за деньжища?

Витька вдруг напустил на себя важность.

— Такую работенку, босс, предлагают, что и не знаю, останусь ли я в нашей будке. Там посмотрим, может, буду совмещать, а может, и вовсе уйду.

— Тебе же учиться надо, дурень.

— Успею, я еще молодой. Пожить, Михаил Николаевич, хочется, одеться. Не в эту вот рвань заношенную, — он с ожесточением подергал свою куртку, свои брючки, пощелкал ногтем по стоптанным донельзя длинноносым башмакам. — В настоящее хочется одеться, от хорошего портного или там прямо из магазина заграничного, когда какой-нибудь балерун распродаваться начнет. Ему можно, а мне нельзя? Он ногами подрыгал где-нибудь в Париже и чемодан набил. Приехал — и магазин открыл. Что ж, значит, он умнее меня, Витьки Снегирева, умнее, этот дрыгоножка? Не выйдет! Куплю его всего, не торгуясь!

— Что-то ты не свои слова говоришь, — сказал Анохин. — Нашел на кого обижаться, с кем соперничать. С каким-то там спекулянтиком решил счета сводить, а, Витя?

— Этому спекулянтику живется дай боже как. хочешь, а позавидуешь.

— Чепуха! Я не завидую.

- Вы из святых, босс, из идейных. Мы — разные.
- Неправда, не разные.
- Ну да, да, слышал: мы — его величество рабочий класс! Верно?
- Верно, Витя.
- Хозяева жизни? Точно говорю?
- Точно, Витя.
- Ну, а скажите, босс, вы, как подросли, хоть раз единственный в приличном ресторане были?
- Не был, Витя.
- В мягком вагоне куда-нибудь прокатились?
- Нет, Витя.
- Помидор паршивый весной слопали?
- Нет, Витя. Да ты постой, не кричи. С чужого голоса можно и не кричать. Пусть тот кричит, кто это тебе все в башку вколачивал. А ты, прежде чем повторять, подумал бы. Что, Князева наслушался?
- Ну, Князева, — несколько поувял Витька. — Учитите, не из дураков будет.
- Знаю.
- И хороший мужик. Он меня берется своему делу обучить. Причем, с сохранением содержания. Как твоя высшая партийная школа или там академия! Только за звание платить не будет, поскольку его у меня еще нет. Не выслужил еще.
- Чему учить-то? — спросил Анохин. — Чему это Князев учить тебя собирается, Витя?
- Как чему? Кепки строить. У них так говорят: не шить, а строить. Построю какому-нибудь пижону чепчик — вот у тебя и десятка чистыми. Это в новых деньгах. Что, не жизнь?
- И вся наука? — подходя к парню, спросил Анохин. — И за это только Князев тебе деньги станет платить? Только, чтобы ты ему на радость кепки научил-ся строить — за это?
- Ну, и еще там за что-нибудь, — замаялся Витька. — Буду, понятно, ему помогать, если понадобится.
- В чем помогать?
- В чем потребуется.
- А в чем все-таки?
- Да я откуда знаю?! — обозлился Витька. — В чем, в чем?! Как положено ученику, так и буду работать.

— Как положено ученику Князева?

— А хотя бы? Не хуже других. Можно сказать, даже лучше. И делу очень денежному берется обучить, и платить обещает, как мастеру, и вообще...

— Ладно, Витя, и вообще...— Анохин дружески притянул паренька к себе.— Что, дед все пьет?

— Выпивает. Вчера опять с Князовым... Ночью вдруг появился и три бутылки на стол. Ну, дед и размяк.

— И ты пил?

— Уважил старших. А эта, Лагутина-то, видать, не пускает его к себе. Женись, видно, говорит, а уж потом... Он вчера к нам как черт злой ввалился. И давай глотать. Крепкий мужик. И пьет и не пьяный. Уважаю таких.

— Значит, будешь у него работать?

— Попробую. Надоело мне в нашей будке. Надоело красивую жизнь только в фильмах высматривать. Хочу ее своими зубами пощупать.

— Учись, говорят.

— Длинная история, да и не очень верная. Вот вы учитесь, босс, а потом что? Зашлют куда-нибудь колхозных ребятишек накручивать? Тоже мне мечта!

— Мечта, Витя. И не зашлют — сам поеду.

— Поезжайте, босс, поезжайте. А у меня другая мечта.

— Слыхал. Разодеться, как птица какаду, по ресторанам ходить, что-то там жрать да пить, что подороже.

— Милое дело!

— В нашей будке надоело, в князевскую потянуло?

— Попробую, посмотрю.

— Посмотри-посмотри. Ты ведь парень неглупый, посмотри.

— А не понравится — привет и за порог! — весело сказал Витька.— Князев ведь не отдел кадров, у него трудовой книжки просить не надо. Захотел — и ушел.

— А вдруг непустит? — спросил Анохин.

— Как это так?

— А так вот... Ты вот что, Витя, ты прежде чем к Князеву наниматься, с матерью своей хоть посоветуйся. Видитесь вы с ней? Бывает она у вас?

— Давно не была,— разом помрачнев, сказал Витька.— Давно... У нее ведь, Михаил Николаевич, другая семья, двое ребятишек и муж какой-то психованный. Она меня и позвать к себе не может. Говорит, что муж, мол, ревнует ее к прошлому. Пережиток, а не муж. Да что там говорить! Хватит говорить! Я и без слов все понимаю! Вот приоденусь, куплю какого-нибудь самого дорогого коньяку, ящик конфет куплю и прикачу к ним на такси, а то и на своей машине. Вот мечта, босс!.. Здравствуйте, мама, скажу! Здравствуйте, сестренка и братишка! Нате, вот вам ящик «Мишек на Севере». Здравствуйте, мой неродной папаша, скажу, угощайтесь армянским коньяком, скажу. Мне это ничего не стоит. Вот мечта, Михаил Николаевич!..

— А отца ты так и не отыскал? — спросил Анохин.

— Все где-то путешествует. То — полярник, то — пустынный. Я, босс, вроде подкидыш у отца с матерью или там перекидыш, что ли. Кидали, кидали меня из рук в руки и подкинули к моему старикану Якову Ефремовичу. Нет, буду строить кепки! Деньги нужны!

— Тогда посоветуйся хоть с Анютой,— сказал Анохин, заглядывая в огорченное и обозленное лицо Витьки — такое еще ребяческое и такое уже взрослое, познавшее лицо.— Ведь вы же друзья с ней.

— Что Анюта? Тоже полтора платья имеет и латунное колечко. А я бы ей...

Зазвонил звонок, оповещая о начале сеанса.

Витька, явно обрадовавшись этому звонку, быстро отошел от Анохина и принялся с озабоченным видом что-то налаживать в проекторе.

— После работы поговорим, Витя,— сказал Анохин.— Разговор у нас еще не окончен. Пойдем ко мне и поговорим. Ладно?

— Не отказываюсь,— кивнул Витька.— Только у меня на сегодня еще одна работенка намечалась. Вот ведь как бывает, то не нужен никому, а то на части рвут.

— Что за работа?

— Да в нашем ателье. Я у них там все время проводку чиню. У них там девчата из-за своей нервности всю внутреннюю проводку попортили. Вот я и чиню. Глаз имею, где надо стену ковырять. Другие рядом

бьют, а я прямо в точку. Ихний бухгалтер только мне и доверяет. Орех-старец. Из армян. Суреном зовут, а отчество и не выговоришь. Жмот, что твой скупой рыцарь. Но я к нему подход в одну минуту нашел. Только познакомились, я ему сразу по-английски и говорю...— Витька выхватил из кармана столь любезный его сердцу русско-английский разговорник и мгновенно нашел нужное место: — Уи стэнд фо фрэндли рилэйшнз битвиин оол нейшнз. Мол, мы за дружеские отношения между всеми народами. Старик и подтаял. Даже аванс отвалил.

— И большая там у тебя работа? — спросил Анохин.

— А это уж как девчата начудили. Вечер-два провожусь.

— Слушай-ка, Витя, а в напарники ты меня не возьмешь?

— Вас, босс?

— Меня.

— Это что же, и вас на халтурку потянуло?

— Выходит, потянуло.

— Чудеса!

— И не говори.

— Вот это да, вот это здорово! — возликовал Витька.— Ну, Сурен, растрясем мы твою мошну! Только не дешевить, только не дешевить, босс! И деньги вперед!

Снова зазвонил звонок, сбирая в зал опоздавших зрителей.

— Начали! — сказал Анохин.— Реостат!

— Есть! — отозвался Витька.

Анохин подошел к оконцу в зал и стал смотреть, как медленно меркнут огни люстр.

— Часть! — сказал он негромко.

— Есть! — откликнулся Витька.

Картина началась. Промелькнули титры, и картина началась.

Танки!.. Танки!..

Они ринулись с экрана на замерших в зале людей. Страшные, неумолимые, беспощадные.

И молодой, ясноглазый паренек сперва побежал от них, а потом...

После смены Анохина вызвали к директору. Витька проводил его до дверей директорского кабинета.

— Я тут в читалке подожду,— сказал он.— Газетки почитаю. Газетки — это тебе не семечки. Их надо читать. Журналы тоже надо читать. И руки перед едой надо мыть. Чистые руки — это тебе не семечки.

Директор, сутуловатый и щуплый, с изморщиненным добрым крестьянским лицом, но разодетый с пышностью истого кинематографиста — даже при бабочке и с платочком в кармашке пиджака, — встретил Анохина, как сына родного. Поднялся ему навстречу, протянул вперед обе руки и стал усаживать — величайший почет — на стоящий подле стола ящик-сейф. Этот стальной ящик выполнял в крохотном кабинетике не только функции стража круглой печати, а был еще и креслом для почетных посетителей. Иные-прочие вынуждены были здесь стоять, ибо размеры кабинетика не располагали к сидению.

— Как работаешь, Михаил? Как выполняешь первое партийное поручение? — спросил директор, благожелательно похлопывая Анохина по плечу сухонькой, легкой рукой. — Агитация — это тебе не семечки. Чего смеешься?

— Я не смеюсь, Матвей Игнатьевич, — наклонил голову Анохин. — Так, улыбаюсь. Снегирева вспомнил.

— А-а, этот рассмешит. Веселый! Как ты им, доволен? Я, признаться, брал его с опаской. Легковесный какой-то юноша. Из нынешних, из шумливых, которым только дай да подай.

— Я им доволен, Матвей Игнатьевич, — сказал Анохин. — Но этого мало. Надо, чтобы и он был доволен.

— Чем? Вот я и говорю, дай да подай. Чего еще ему надо? Замечательную профессию получает, картины, какие хочешь, смотрит, в тепле, в красоте целый день. Я в его годы... Знаешь, кем я был в его годы? Мальчиком на посылах, служал при обувном магазине. Вот кем. А он на киномеханика учится, причастен к киноискусству. Кино — это тебе не семечки.

— Так-то оно так, — сказал Анохин. — Только очень

уж маленькая у него зарплата. А парень, можно сказать, один живет.

— Все с маленького начинают. Я когда у Пудовкина начинал, вообще жалованья не видел. Что платили, все учителям своим, осветителям, на пиво трастил. Я ведь с осветителя начинал, с самой первой ступеньки. Да... Ну, как работаешь, Анохин? Как агитируешь? Учти, наша организация головная на избирательном участке. А ты — молодой коммунист, с тебя в таких делах, как выборы, главный спрос.

— Почему же главный? — спросил Анохин.

— А ты посуди, ты самый молодой у нас, самый, так сказать, энергичный — вот тебе и карты в руки. Ведь в чем сейчас твоя работа? Лишний раз сходить, лишний раз напомнить, развесить там какие надо плакаты, объявления — вот в чем сейчас твоя работа. Тут молодые ноги нужны, дружок, и молодое сердце — по лестницам скакать. А у нас в организации чуть ли не все преклонного возраста. Партприкрепленных-то, пенсионеров этих, посчитай, сколько у нас. Больше половины.

— Зато у них опыт, — сказал Анохин. — Они посоветовать могут верно. Это очень важно, Матвей Игнатьевич.

— Опыт, опыт, а ноги не гнутся. Старость — это тебе не семечки, Анохин. Опять смеешься? Что это ты такой смешливый стал? Или опять Снегирева вспомнил?

— Ага, — кивнул Анохин. — Кстати, Матвей Игнатьевич, вы бы поговорили с Виктором.

— О чем это? Размеры зарплаты не я устанавливаю. Сдаст на киномеханика, прибавим.

— Да нет, не о зарплате, о жизни бы поговорили. Хорошо ли ему живется? Он сейчас тут, за дверью.

— Успеется, поговорю. Пусть поскромнее сначала. Я смехачей что-то недолюбливать стал.

— Он такой на всю жизнь, Матвей Игнатьевич.

— Тогда пускай сам в ней и разбирается.

— Верно ли так-то?

— А я не педагог, я — администратор. — Директор быстро вдруг потянул к себе телефонную трубку и азартно закрутил диск, набирая номер. — Лидия Петровна? Да, я... Что, берут билетики? Берут? Ну-ну,

действуйте, администрируйте. Да, как там наш крестник разворачивается? Я про Анохина. Партийное поручение, спрашиваю, выполняет? — директор поманил к себе пальцем Анохина и так повернул трубку, чтобы и он мог услышать ответ:

«Не жалуюсь пока! — басовито прозвучал в трубке голос Лидии Петровны. — У избирателей бывает, не ленился. Нет, не жалуюсь!»

— Ну и слава богу и слава богу! — сказал директор и повесил трубку. — Слыхал? Секретарь наш не жалуется. — Он поднялся. — Ладно, Михаил, иди и не забывай, что я тебя в партию рекомендовал. Не подведешь? Молод ты очень. Мы с Лидией Петровной и так и сяк прикидывали: роста у нас в организации нет — вот тебя и рекомендовали. Но учти, задумывались, очень задумывались над твоей молодостью.

— Зачем же рекомендовали? — тоже поднимаясь, спросил Анохин. — Только чтобы организация выросла или еще почему-нибудь?

— Да ты не обижайся, Анохин, не обижайся. Я же с тобой напрямик, как коммунист с коммунистом. Нет, мы тебя за многое ценим. Парень ты дисциплинированный, исполнительный, бережешь технику — вот твои плюсы. Занимаешься в заочном институте — еще один плюс. И не из этих, не из шумливых, которым дай да подай. Вот за это все мы тебя с Лидией Петровной и рекомендовали.

— А был бы шумливый? — спросил Анохин.

— Если бы да кабы! — рассмеялся директор. — Ладно, иди работай. И не хмурься, я ведь тебе как отец. Иди, Михаил, действуй. В случае чего обращайся прямо ко мне. Помогу, крестник. Рекомендация в партию — это тебе не семечки.

— Ну как там «семечки»? — спросил Витька смеющимся шепотком, когда Анохин притворил за собой дверь директорского кабинета. — Поучал или предавался воспоминаниям?

— Всего понемножку.

Минуя высокое, сверкающее стеклом фойе, где сейчас очень толстая дама на эстраде изо всех сил кричала в микрофон: «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново...» — они вышли из кинотеатра.

Молоденький солдатик с афиши строго взглянул на Анохина.

«Так вот ты какой... Дисциплинированный, исполнительный, не из шумливых... Хорошо, ну, а если вдруг танки?..»

Не сговариваясь, они повернули к своему дому. Он лег перед ними во весь размах многооконного фасада, так широко, что даже издали не вмещался в один взгляд. И надо было переводить глаза с крыла на крыло, чтобы оглядеть весь дом. Город-дом, где можно прожить долгие годы, можно состариться, так и не узнав всех своих соседей.

— Пойдем обедать,— спросил Витька,— в забега-ловку?

— А может, ко мне прямо? — предложил Анохин.— Купим пельмени — вот тебе и обед. Я сегодня один дома. Я теперь часто буду один дома. Пошли?

— А может, сперва в ателье заглянем? Как вы насчет халтурки, босс? Не раздумали?

— Можно попробовать,— сказал Анохин.

— Тогда как же нам быть? — остановился Витька.— Куда путь держать? В столовую, или к вам, или в ателье? Вот домик у нас с вами! Все, что душе угодно. И поесть, и подработать, и обшиться, и влюбиться, и жениться, и напиться, а хочешь, так удавиться — все в нем можно. Бегай только из подъезда в подъезд — и вся забота.

— А в ателье идти уже не поздно? — спросил Анохин.

— Они там до самого вечера колобродят.

— Тогда пошли в ателье.

— Вот это правильно, вот это по-деловому! — обрадовался Витька.— Только уговор, босс: торговаться с Суреном буду я. У вас хватки нет, опыта. И деньги чтобы вперед. Условились?

Едва переступив порог ателье, Анохин увидел Лагутину. Ее отгораживали от него несколько женщин, стоявших в очереди у ее стола, но все же он сразу увидел ее лицо — первое в этом шумном и многоликом помещении, где было жарко, и светло, и суматошно, как

в летний день в каком-нибудь вестибюле станции метро.

Лагутина тоже увидела его, мимолетно улыбнулась ему усталыми глазами и снова занялась делом, склонившись над столом.

Анохин услышал ее голос:

— Нет, не думаю, что это вам пойдет. Вот посмотрите, этот фасон много лучше.

Какой уверенный у нее голос. Его хочется послушаться. Кажется, что человек с таким голосом живет очень спокойно, устойчиво. А на самом деле... Странно, что так бывает, что за уверенным голосом, за смелыми движениями иногда прячутся и робость, и растерянность, и даже страх перед жизнью.

Анохин остановился, чтобы снова услышать, о чем станет говорить сейчас с заказчицами Лагутина, но Витька потянул его за собой.

— Пошли, пошли! Вон — Сурен идет!

Широченный, ярко-седой, косматобровый человек уже сам шел им навстречу. Правый рукав у этого человека пустой полосой втекал в карман пиджака.

— Прибѣжал всѣ-таки? — сверкнув улыбкой, молодого озарившей его твердое, угловатое лицо, гортанно-громким голосом спросил он Витьку. — Дѣньги вперед, а?

Он громко расхохотался и протянул Витьке, а потом Анохину свою левую руку с уродливо кривыми, жестоко побитыми, покровсанными пальцами. Эта рука сухой теплотой обдала ладонь Анохина. Пальцы-калеки сжались не сильно, но твердо, но дружески. И Анохину захотелось надолго удержать в своей руке эту руку, солдатскую руку, так тепло прикоснувшуюся к его ладони.

— Напарника привел, — сказал Витька. — Не возражаете, Сурен?

— Не возражаю, — ответно улыбнувшись Анохину, теперь как-то иначе улыбнувшись, не весело, а мягко, будто угадав что-то про Анохина сокровенное, сказал Сурен. — И тоже — деньги вперед?

Сейчас в его словах зычного «э» не слышалось. Видимо, он умел управлять своим выговором. И если и экал, то делал это скорее нарочно, когда хотел, чтобы повеселей, понасмешливей звучали слова.

— Нет, можно и не вперед,— сказал Анохин.

— Ага! Совсем другой человек, чем ты, Витька! В армии служил?

— Не взяли. Из-за глаз.

— Обидно?

— Было обидно.

— Совсем другой человек. Давай знакомиться.— Он снова протянул Анохину руку.— Сурен Саркисян. Или просто Саркисян. Или просто Сурен. Бухгалтер.

— Михаил Анохин,— старательно выговорил свое имя и фамилию Анохин, как выговаривают, когда знакомятся с понравившимся тебе человеком, когда хотят, чтобы он обязательно запомнил твое имя.— Киномеханик.

— Хорошо! Электрику, конечно, знаешь?

Анохин кивнул.

— Тогда приступайте. Зачем стоим? Приступайте!

— А деньги, товарищ Саркисян? — спросил Витька, обиженно косясь на Анохина.— Ну, авансик там какой-нибудь. Ведь не первый раз. Заведено...

— А, большой ты коммерсант, Снегирев! Ладно, будет вам аванс, молодые люди. Я же понимаю, финансовые затруднения. Пошли, да?

Сурен легко повернул свое грузное борцовское тело и легко, могуче зашагал вперед.

— Эх вы! — шепнул Анохину Витька.— Чуть все дело не испортили!

Они пошли вслед за Суреном, который уже ждал их у дверей в цех.

— Готовьтесь, босс, сейчас будет нам баня.

Из цеха, лишь приоткрылась дверь, вырвалась навстречу им такая бойкая разноголосица, прозвучал такой озорной девичий смешок, что, и верно, надо было ждать за порогом самой горячей встречи.

Замешкавшись, Анохин оглянулся на Лагутину. Он пришел сюда из-за нее. Хоть и зарекался, хоть и говорил сам себе: «Хватит! Довольно!» Напросился к Витьке в напарники и пришел. А зачем? Он не может даже подойти к ней. А если и подойдет, то ему нечего будет сказать. Его тревога за нее — нелепость. Он чужой ей человек. Его желание помочь ей, выручить ее — нелепость. Он — чужой.

Да он и не знает, как можно ей помочь. И не знает, так ли нужна ей теперь помощь. Она явно смирилась со своей участью. Вчера состоялась помолвка, скоро состоится свадьба. И пойдут, потекут дни, месяцы и годы ее совместного с Князевым существования. Он будет строить свои кепки и еще что-то там такое строить и творить, чтобы побольше иметь денег. А она станет верной мужу помощницей. И не захочет, а станет. Надо, так будет и кепки эти самые строить, надо, так и еще что-нибудь приучится делать. Князев человек напористый, властный. Умеет и поманить, сумеет и заставить. Вот уже и Витьку поманил, посулив большие деньги. Зачем-то ему и Витька понадобился.

Деньги будут, барахлишко будет, разные там разносолы будут, а счастья, да что там счастья — даже радости простой от прожитого дня не будет. Жизнь, настоящая жизнь потечет мимо них, стороной. Нельзя, немыслимо жить по-настоящему на князевский манер. Это ясно Анохину. Так ясно, словно в глубине глаз у него вспыхнули князевские бело-яркие трубки дневного света, и до мельчайших подробностей наперед высветили все, что ожидает в жизни Нину Лагутину, если не уберется она от Князева, и все, что ожидает в жизни и Витьку Снегирева, если не уберется он от Князева.

Но с Витькой просто. С ним можно поговорить, его можно даже за руки удерживать. Они с ним товарищи, они вместе работают. Тут все просто. А с Лагутиной не поговоришь. Он чужой ей человек. Вот она сидит в десяти шагах от него, а он ничего не может поделать, ничего не смеет сказать ей. Не смеет, ибо существует неумолимая извечная формула: «Ты чужой, тебя это не касается...»

— Давай, давай, заходи, не тушуйся! — позвал Анохина Саркисян. — Конечно, страшно, но мужчина должен не показывать вида!

Он вернулся к дверям и в третий раз протянул Анохину свою побитую руку, будто знал, что того это обрадует.

Ведомый Саркисяном, Анохин вошел в цех.

Здесь, как и у Князева в будке, куда ни глянь, светились белым огнем трубки-лампы дневного света. Но только здесь был широчайший простор для этого све-

та, и потому он не казался таким омертвелым и действительно чем-то напоминал дневной. И здесь столько было молодых лиц и такая была яркая пестрота тканей — и в одежде, и тех, что были в работе, что даже чуть ли не солнечно было здесь, хотя за большими в снежной изморози магазинными окнами уже встал вечер.

— Гляньте-ка, девчата, еще один жених явился!

— Тоже, видать, низкооплачиваемый!

— Зато постарше!

— Да это же вчерашний Нинкин знакомый!

— Агитатор, что ли?

— Верно, он самый!

Витька уже ковырялся в стене, его уже отпустили, а вот Анохину еще нужно было пройти через весь цех, минуя всех этих насмешниц, которые весьма охотно побросали работу ради его персоны.

— Народ, а? — усмехаясь, повел вокруг глазами Саркисян. — Особые нервы надо иметь с ними работать!

Испытание продолжалось.

— Товарищ агитатор, здравствуйте! — как старому приятелю, помахала рукой, звеня браслетами, медноволосая девица — вся в сережках, бусах и цветных гребешках. — Куда же вы вчера так быстро ушли? Только я хотела с вами посоветоваться, а вы ушли.

— Здравствуйте, — очень мужественно заглянул в янтарный омут ее глаз Анохин. — О чем это посоветоваться?

— О жизни, милый мальчик! О чем же еще?

Медноволосая осталась позади.

— Товарищ агитатор, а меня вы узнаете? — подала голос еще одна участница вчерашней помолвки, девушка с застылым лицом и замысловатой, высоченной прической. Сейчас ее прическа поосела немного, порастрепалась, а лицо заметно ожило.

— Узнаю, узнаю, — сказал Анохин, мужественно выдерживая и ее коварный взгляд. Он даже решился на комплимент: — Хотя со вчерашнего вечера вы сильно похорошели...

— Правда?! Очкастенький, а вы не врете?!

Но вот, наконец, и стена, возле которой, посмеиваясь, сидел на корточках Витька.

— Что, босс, досталось? А вы еще от аванса отказывались. Да тут за вредность надо бы молоко получать. Как, Сурен, молоко нам не полагается?

— Оно у тебя на губах, дорогой. Облизывайся почаще — и дэлу конец. Слушай, Анохин, а почему девчата тебя агитатором называли?

— А потому, что он и есть агитатор, — с гордостью сказал Витька. — И даже член партии.

— Кандидат, — сказал Анохин.

— Ну, кандидат — все равно. Вот, Сурен, какого я напарника привел. Он даже еще в заочном институте учится. Будущий профессор. Так что насчет аванса...

— Чтобы как профессору, а?

— Вот именно!

— Так, так... — Саркисян, будто вновь знакомясь, с интересом рассматривал Анохина. — Так, так... Ладно, друзья, принимайтесь за дело. Сейчас принесу вам провод, то да се, работайте.

— И это самое не забудьте! — многозначительно пощелкал пальцами Витька.

— Понял, купэц, понял, — усмехнулся Саркисян. — И это самое — и дэньги вперед.

— Чудеса! Что это с вами сегодня, Сурен?

— Подобрел, подобрел.

Саркисян повернулся и быстро зашагал через цех, ловко пронося свое грузное тело по узеньким коридорчикам между столами и машинами.

— А говорил, что он скупой рыцарь, — сказал Анохин Витьке, провожая глазами Саркисяна. — Не похож. И на старика тоже не очень-то похож.

— Раз седой — значит, старик, — убежденно сказал Витька. — А насчет скупости, так он еще за этот авансик с нас трижды сдерет. Вот посмотрите, босс. Да и вредно тут, прямо даже опасно. Ежеминутно могут обженить. Верно, девушки?!

— Обязательно! — без всякого уже задора ответил кто-то издали.

Девушки занялись работой. И Витька тоже занялся работой: вперил взор в стену, прицеливаясь, где же идет потайно проводка, где надо бить дыры.

Вразнобой стрекотали машины. У них у всех был короткий ход. То одно, то другое — и машина переста-

вала строчить. Но начинала строчить машина по соседству. И стрекот в цехе не умолкал и был слитен, как августовский хор кузнечиков в поле.

Кто-то запел, следуя ритму своей работы, старательно упирая на слова, когда упирались во что-то руки:

Забота у нас простая,  
Забота наша такая:  
Жила бы страна родная —  
И нету других забот...

Другой голос, песенный, самозабвенно подхватил:

И снег, и ветер,  
И звезд ночной полет.  
Меня мое сердце  
В тревожную даль зовет!

И вот уже пошла песня от работницы к работнице, обрываясь у одной, длясь у другой, сливаясь в единое негромкое и тягучее пение под работу.

Кто они — эти девушки? Как они живут? Счастливы ли?

Вернулся Саркисян. В единственной своей руке он нес моток провода, ящик с инструментами, коробку с штепселями, изоляторами, винтами. Когда он подходил, неся все это одной рукой и помогая ей плечом, грудью, подбородком, Анохин не выдержал и бросился ему навстречу.

— Сам! — отрывисто, чуть ли не зло остановил его Саркисян.

Непонятно каким образом, он быстро сгрузил с себя все, что принес, не обронив ни винтика. Потом оглянулся потеплевшими глазами на Анохина.

— Ты прости. Я, когда могу, сам делаю. А вот когда не могу, тогда помоги. Что, Витя, нашел, где дырки бить?

— Нашел, — помедлив, важно наклонил голову Витька.

— Хирург! — кивнул на него Анохину Саркисян. — Артист! Ладно, бей свои дыры, но только чтобы была проводка. Смотри, пять машин стоят, а под потолком целая паутина из проводов. Безобразие!

— Это верно, — охотно согласился Витька. — Времянка, самодеятельность. А почему? Нет своего элек-

тромастера. Я давно предлагал взять меня в штат. Ну там, на полставки хотя бы. Поскупились, а теперь и позовете — не пойду.

— Почему, дорогой?

— Вот-вот — потому что дорогой стал. Имею выгодное предложение.

— Зовут в министры?

— Нет, не в министры, но по деньгам, полагаю, то же самое выйдет.

— Скажи, пожалуйста! Что же это за работа такая, если нэ сэкрэт?

— А вот и сэкрэт! — передразнивая «э» Саркисяна, сказал Витька. — Начну работать, тогда сами увидите. Работа приметная, на голове сидит.

— Загадка.

— А вы угадайте.

— Зачем? Не люблю спешить. Начнешь работать, тогда и посмотрим, что это там такое у тебя на голове сидит.

— И на шее, — добавил Анохин.

— Ага, вот даже и на шее! — рассмеялся Саркисян. — Большие деньги всегда почему-то на шее висят, Витя. Это я тебе как бухгалтер говорю.

— Из личного опыта?

— Нэт, из чужого. Личный опыт у меня с большими деньгами не связан. Я даже не знаю, что это такое — большие деньги.

— А еще бухгалтер.

— Вот потому-то еще бухгалтер, — внезапно став серьезным, сказал Саркисян. — Слушай, Витя, ты тут пока один начинай, а мы с товарищем Анохиным на минутку в мой кабинет пройдем. Есть разговор. Управись пока один?

— Управлюсь. А что за разговор? Работенка какая-нибудь?

— А вот и сэкрэт. У тебя от меня, а у меня от тебя.

Улыбнувшись Анохину, Саркисян дружески взял его под руку и, шагнув вперед, вступил вместе с ним в лабиринт узеньких проходов между столами и машинами.

Снова, ведомый Саркисяном, пересек Анохин цех. Он думал, что девушки опять начнут задира́ть его, начнут подшучивать. Но нет, они и не заметили его.

Они работали и пели, теперь уже что-то другое пели, подчиняя и эту песню ритму своей работы. Только смеющийся Витькин голос прозвучал вслед:

— А что я вам говорил, босс? Трижды сдерет!..

Кабинет Саркисяна был не более как крохотным фанерным сооружением в глубине примерочного зала. Легкая будочка в громадном, под мрамор, зале стиля «поздней эпохи стыдливого украшения».

Направляясь туда следом за Саркисяном, Анохин снова прошел мимо Лагутиной. Снова мимолетно улыбнулась она ему усталыми глазами, снова услышал он ее голос — уверенный, чуть-чуть насмешливый, явно поучающий. Лагутина говорила:

— Маленький воротник, только самый маленький воротник, и вы себя не узнаете.

Пожилая, молодящаяся женщина с настороженно думающим лицом попыталась было усомниться:

— А если?..

— Нет! — отрезала Лагутина.

— Хорошо, вы правы, — тотчас покорилась женщина. — Да, так будет, конечно, лучше.

«Вот бы и самой себе хоть раз в жизни сказала бы такое же «Нет!» — подумал Анохин. — Нет, сказала бы, не нужен мне Князев, и все тут. Маленький воротник нужен, а Князев не нужен».

Саркисян ввел Анохина к себе. В его кабинетике главное место занимал стол. Это был обычный бухгалтерский стол с конторскими большими счетами, толстенными grossбухами, листками платежных ведомостей. Но над бухгалтерским этим столом висела зачем-то карта Советского Союза с красными флажками, разбежавшимися чуть ли не вдоль всех сухопутных границ страны.

— Что это? — спросил Анохин, подходя к карте. — Что означают эти флажки?

— Когда-то служил в тех местах, — коротко пояснил Саркисян. Он плотно прикрыл за собой дверь и вдруг быстро обернулся к Анохину. — Слушай, Михаил, зачем ты к нам пришел? Неужели подхалтурить? Как Витька этот?

Он совсем близко придвинулся к Анохину, положив свою единственную руку ему на плечо, требовательно заглянув в глаза своими желто-молодыми, желто-утомленными, желто-зоркими глазами.

— Отвечай, отвечай, Анохин... Что уставился? Запомнил? Да, я был тогда на бюро райкома. Был и слышал, как ты рассказывал про отца, про то, зачем в партию идешь. Я тогда подумал: «Верю ему!» И вдруг ты с Витькой. Авансик! Дэнги впзред! Я сначала даже не узнал тебя. Быть не может! Слушай, сынок, зачем пришел?

— Я и сам не знаю, — сказал Анохин.

— А все-таки?

Они стояли все так же близко друг к другу, все так же близко глядя друг другу в глаза.

Так же вот близко глядел на Анохина Князев, когда сошлись они в его будке, такой почти, как и этот кабинетик из фанеры.

Так же, да не так, такой почти, да не такой...

Тогда перед Анохиным стоял враг, сейчас на плечо ему тяжело положил единственную свою и изувеченную войной руку друг, товарищ по партии, отцовского призыва в партию человек.

И Анохину показалось возможным все рассказать ему, о чем бы он ни спросил — все рассказать, хотя они только вот встретились.

— Тут у вас есть девушка одна, — сказал Анохин. — Она выходит замуж за скверного человека. Этого нельзя делать. Да она и не любит его. Она боится его. Она будет несчастлива с ним.

— Лагутина?

— Да.

— С Князевым?

— Да. Вы его знаете?

— Знаю. Чего стоишь? Садись. — Саркисян кивнул Анохину на ящик-сейф, который и здесь совмещал свою сторожевую службу с обязанностями кресла для посетителей.

Подождав, когда Анохин сядет, Саркисян сел за стол и надолго уставился в какую-то бумажку и даже что-то начертал в ней, ловко подцепив сведенными пальцами цветной карандаш. Потом, задумчиво поглядев на Анохина, он задал ему из-за своего

бухгалтерского стола далеко не бухгалтерский вопрос:

— Ты что же, любишь ее?

— Кого? — не понял Анохин.

— Лагутину.

— Люблю? — удивился Анохин. — Нину Лагутину? — от помолчал, улыбаясь своим мыслям. — Ну что вы, Сурен... Простите, я не знаю вашего отчества.

— Не трудись, тебе его не выговорить. Значит, не любишь?

— Нет, — снова улыбнулся Анохин. — Да я и знаю ее всего вторые сутки. Просто я ее агитатор. И вот...

— Тогда хорошо, — сказал Саркисян. — Тогда все правильно. Но учти, эта наша Нина Лагутина — тоже не сахар. Я тут намучился с ней. Чужая, чужая она какая-то... Может быть, пускай их, а? Может быть, они пара друг другу, как думаешь?

— Нет, они не пара! — горячо сказал Анохин. — Нет, Сурен, что вы!

— Разобрался? Уже? За два-то дня?

— Главное в человеке можно понять сразу, — убежденно сказал Анохин.

— Иногда да, иногда нет, — с сомнением качнул головой Саркисян. — Есть очень сложные люди, Миша. Все мы сложные, но есть среди нас и по-темному сложные, с разными там секретами от других прочих. Вот, к примеру, наш заведующий... Полгода с ним работаю, и что ни день, то секрет. Сперва он мне даже понравился. Из мастеров, все сам умеет делать. И скроит и сошьет. Уважаю руководителей, которые руками знают, что к чему. Да... Между прочим, он большой приятель этого самого Князева.

— Я знаю, я видел вашего заведующего у них на помолвке.

— И ты там был?

— Очень недолго. Случайно проходил мимо.

— А вот меня не позвали... И правильно сделали! — Саркисян вдруг вспомнил про свое зычное «э». — Ну и как тебе показался наш Анатолий Павлович? В нем ты тоже успел разобраться?

— Нет. Вежливый, кажется...

— Да, он вежливый. Это так, он очень вежливый. Даже когда мы с ним ссоримся, он и тогда бывает вежливым. А я кричу. Армянин! Горячий! Значит, не любишь, а?

— Не люблю,— рассмеялся Анохин.

— Тогда хорошо. Тогда ты молодец. Правильно понял свою работу агитатора. Разносить приглашенные билетки да вешать плакатики — это в твоём деле самое пустое. Твое дело к человеку путь найти, к его разуму, к его сердцу. Ах, дорогой, как часто мы об этом говорим и как редко нам это по-настоящему удается!

— Но ведь нельзя же вмешиваться в чужую жизнь, в личную жизнь человека,— не то спрашивая, не то утверждая, сказал Анохин.

— Нелзя? — зычное «э» Саркисяна прозвучало сейчас не весело, не насмешливо, а устало как-то, будто вырвалось у него как раз тогда, когда он устал следить за правильностью своей русской речи.— А как быть? Есть какие-нибудь правила, дорогой, которым нужно следовать, когда человек попал в беду и ты хочешь ему помочь? Тебе известны такие правила?

— В том-то и дело, что любые правила тут — лепость! — радостно сказал Анохин.

— И я так думаю. Впрочем, одно условие все же необходимо. Честность — вот это условие, Миша. Честность во всем! В каждом твоём поступке! Ничего нельзя делать, если мысли хитрят, если помогаешь человеку, а думаешь о карьере. Не выйдет, запутаешься!

Саркисян снова принялся читать какую-то бумагу на своём бухгалтерском столе, занеся над ней остро отточенный красный карандаш.

— Нелзя! Не имеем права! — вдруг проговорил он с ожесточением и с ожесточением же, кроша красное острие, написал что-то перечеркивающее на лежащем перед ним листке.— Незаконно! — Теперь его «э» прозвучало не насмешливо и не устало, а яростно. — Какие люди, какие скользкие люди!

Саркисян гневно, всем телом, повернулся к Анохину.

— Трудно тебе будет, Анохин! Знаешь об этом? — гнев ещё жил в его потемневших, сузившихся зрачках.

— Знаю,— сказал Анохин.— В том-то и дело...

— Не сробеешь?

— Попробую не сробеть.

— Я так тебе скажу: нет ничего легче в партийной работе, как быть агитатором, или, наоборот, нет ничего труднее. Хорошо, давай действовать вместе.

Саркисян поднялся из-за стола и распахнул дверцу своего кабинета.

— Лагутина! Нина Васильевна! — позвал он веселым-развеселым голосом.— Зайди, пожалуйста! Дело есть!

Анохин услышал протяжное, чуть будто настороженное лагутинское «Сейчас!» и тоже поднялся.

В открытую дверь он увидел быстро идущую к ним Лагутину. Она была в туго перепоясанном рабочем халате, который так хитро был сшит, что казался нарядным платьем. Не по-рабочему нарядной была и обувь Лагутиной — узконосые на тончайших каблучках туфли. Удивительно, как она могла двигаться в них, да к тому же так быстро, так уверенно ставя ногу.

Войдя в кабинетик Саркисяна, Лагутина с таким радушием протянула Анохину руку, точно встретила своего старого приятеля.

— Здравствуйте, Миша,— приветливо сказала она, вплетя в свой голос разве что тончайшую смешинку.— А как голова? Не кружится со вчерашнего? Надо же, выпил целый стакан водки и даже не закусил.— Это уже говорилось Саркисяну.

— Он может,— кивнул Саркисян.— Боевой парень. Целый стакан, а?

— Граненый,— сказала Лагутина.— Это что-то около двухсот граммов.

— Как раз норма для агитатора,— весело блеснул глазами Саркисян.— Сверх этого общественное уже подменяется личным.

— Только не у товарища Анохина,— сказала Лагутина.— И к тому же он не просто так пил, а пил исключительно для моей пользы.— Она вдруг выпрямилась и, подражая Анохину, строго и грустно, совсем как он вчера, повторила его слова: — «Желаю вам счастья, Нина Васильевна. Только счастья, за которое даже агитаторы пьют водку...»

Лагутина собралась было рассмеяться, но что-то промедлила с этим и лишь улыбнулась, да и то не очень весело.

— Что ж, хорошие слова.— Саркисян тоже раздумал смеяться.— Ты их не забывай, Нина, не забывай.

— Да вот, запомнились... Сурен, не обижайтесь, что я не пригласила вас на свою помолвку. Но я же знаю, вы и Князев...

— Я не обижаюсь, дорогая,— широко и добро улыбнулся девушке Саркисян.— Смотрины, помолвка — это все еще не окончательно. А я бухгалтер, я люблю точность. Свадьба — вот это окончательно.

— Особенно золотая,— усмехнулась Лагутина.

— Правильно. Вот на нее я к тебе приду, хоть зови, хоть нет.

— Тем более, что тогда уже будет коммунизм и я смогу угостить вас каким-нибудь особенным кушаньем, специально доставленным из Армении.

— Специально для меня?

— Специально для вас и на реактивном самолете.

— Довольно точное представление о коммунизме...— Саркисян зашел за свой бухгалтерский стол и, не присаживаясь, вдруг деловито, даже подчеркнуто сухо спросил: — А что, товарищ Лагутина, вы Князева Е. А. давно знаете?

Спрашивая, он взял со стола и поднес к глазам тот самый листок, на котором несколькими минутами раньше изломал свой досматривающий бухгалтерский карандаш.

— Зачем это вам? — Голос Лагутиной сразу же истончился и напрягся, как резко подтянутая струна.

— Не горячись. Нужно.

— Обо мне все заботитесь? Я вас об этом не просила!

— А почему волнуешься?

— Потому что надоело!

— Что надоело?

Саркисян подождал ответа, но Лагутина ничего больше не стала говорить. Она порывисто шагнула к двери и задержалась только потому, что забыла, в какую сторону эта дверь отворяется.

— Постой,— совсем негромко окликнул Лагутину Саркисян.— Постой, Нина...

Продолжая воевать с дверью, Лагутина оглянулась.

— Что еще?! Ну, что еще вам от меня нужно?!

Не глядя на нее, и все так же тихо Саркисян сказал:

— С порога желаешь разговаривать? Ничего у нас так не получится. Ладно, хочешь идти — иди.

Помедлив, Лагутина повернулась и пошла назад к Саркисяну.

Всего три каких-нибудь шага надо было ей сделать. Но, видно, не так уж всегда легко ходить на этих тонких и высоченных каблуках. Лагутина шла, изломав каждый шаг на множество неуверенных, судорожных движений.

Анохин протянул ей руку. Она не взяла ее. Проходя мимо, она поглядела на него враждебно похолодевшими глазами.

— Я выхожу за Князева замуж, — сказала она, опершись, наконец, руками о стол и близко наклоняясь к Саркисяну. — Какой он там ни наест... И вы ничего мне больше о нем не говорите. Ничего! Вы не имеете права вмешиваться! Слышите, у вас нет такого права вмешиваться в мою жизнь! Кому как, а мне и матери Князев всегда был другом!

— Другом? — Саркисян тоже оперся рукой о стол и подался навстречу Лагутиной. — Ты его любишь, Нина?

Почти касаясь друг друга, стояли они над заваленным бухгалтерской отчетностью столом, упрямо не отводя больно сблизившихся глаз.

— Говорят, что ты Князева и не любишь вовсе. Так зачем же тогда?..

— Кто говорит?!

— Говорят, что ты даже его боишься. Подумай, Нина...

— Кто, кто это все говорит?!

Она отпрянула от Саркисяна и яростно обернулась к Анохину.

— Вы?! Ты?!

— Вы сами, — сказал Анохин. — Вспомните...

— Да как ты смеешь, чужак?!

Она было замахнулась на него и бегом, теперь уже бегом, почти падая, но бегом бросилась вон из стран-

ного этого бухгалтерского кабинетика, где только и говорили, что про любовь да всякие там высокие материи, которые и не учесть и не измерить.

— Худо дело,— сказал Саркисян, вслушиваясь в спотыкающийся постук Нининых каблучков.— Совсем запуталась девчонка. Я тебя не подвел, друг? Она и вправду тебе говорила, что боится его?

— Прямо не говорила, но так вела себя, что этого нельзя было не заметить. Я понял: ей плохо, ее надо выручать.

— Так вела... Понял... Эх, не гожусь я в дипломаты — вот что! Не так, не так надо было действовать!

— А как?

— Как, спрашиваешь?.. — хмурясь, Саркисян снова принялся читать все ту же бумажку, до сих пор еще зажатую в его пальцах.— А может быть, с дипломатией мы уже опоздали?.. Может быть, хирурга сюда надо звать или там прокурора?.. — Он спрашивал не Анохина, он задавал сейчас эти вопросы вслух самому себе.

Тихо, неспешно отворилась дверь, и на пороге встал тоже и тихий и неспешный Анатолий Павлович — седоватый, прямой, с лицом и начальственно строгим и вежливо улыбающимся в одно и то же время.

— Что тут у тебя за сотрясение, Сурен Мкртичевич? — спросил он, без всякого труда выговорив это явно не легкое для произношения отчество Саркисяна.— Двери хлопают, стены дрожат, приемщица бьется в истерику. Клиенты удивлены, Сурен Мкртичевич, клиенты переговариваются, перешептываются. Непорядок. Нам, руководителям, надо следить и следить, чтобы в часы работы...

— Слышал! Знаю! — нежданно очень уж горячо отозвался Саркисян.— Чтобы тишь да гладь!.. Чтобы комар носа!.. Чтобы шито-крыто!.. Так, что ли?

— И никак иначе, никак иначе,— миролюбиво улыбнулся ему Анатолий Павлович.— Мы ведь с людьми дело имеем, Сурен Мкртичевич, с народом. Ладно, остывай — я к тебе попозже зайду. Побеседуем с глазу на глаз, без посторонних.— Анатолий Павлович весьма дружески улыбнулся и Анохину.— А-а, так я же вас знаю. Товарищ агитатор, кажется? Или нет,

нашей Лагутиной друг-приятель? Я что-то не разобрал, кем да чем вы ей приходитесь.

— Агитатором,— сказал Анохин.

— Ну, правильно, правильно,— и она так говорила,— поспешил согласиться Анатолий Павлович и недоверчиво шевельнул уголками губ.— А хмурый-то какой был вчера, страсть. Я даже подумал, не соперник ли, не затеет ли драку. Знаете, случается...

— Что?

— Да драки эти на всяких там помолвках и свадьбах. Молодые! Не понимают, что кулаками горю не можешь. А надо свою гордость иметь, если и от ворот поворот. Я вас в душе даже похвалил вчера.

— Меня хвалить было не за что.

— Вот и неправда. Очень мне понравилось, как вы нашей Нине счастья пожелали, а потом стакан до дна — и за дверь. К месту, правильно это у вас получилось.

— Нет, не думаю, чтобы к месту,— качнул головой Анохин.— Нет, не думаю, чтобы правильно...

Но возражая, он не пытался спорить с Анатолием Павловичем и не пытался вникнуть в суть его вкрадчивых речей. Он отвечал ему почти машинально, занятый собственными мыслями и следуя не столько разговору, сколько этим самым мыслям.

Да, все получалось у него не к месту и все не так, как нужно. Совсем не так, как нужно, если на него вот уж и рукой замахиваются, и смотрят с ненавистью, и обзывают «чудаком», вложив в это слово величайшее презрение.

Вдруг между Саркисяном и Анатолием Павловичем вспыхнул спор, начало которого, думая о своем, Анохин упустил. Это был не шуточный спор и не случайный, а такой, что копится исподволь и вот внезапно прорывается в нескольких коротких, яростных фразах. Саркисян их выкрикивал, Анатолий Павлович выговаривал по обыкновению тихо. Но как-то с присвистом, и побледнев и напрягшись, точно его одолело удушье. И выходило, что оба они кричат друг на друга, один — во весь свой зычный голос, другой — почти шепотом, но оба кричат.

Яростный разговор этот не продлился и минуты, но сказано было много.

— Нэт, жуликов я плодить нэ позволю! — наконец-то Саркисян дал полную волю своему «э». .

— Жулики! Много ты понимаешь! План, план надо выполнять, а не философствовать!

— Чей план?! Какой план!?

— Не кричи! Я тридцать лет людей одеваю, а ты сегодня — тут, а завтра — там!

— Нэт, я и завтра и послезавтра буду тут!

— Понравилось?

— Наоборот, совсем нэ понравилось!

— Тогда чего ж, тогда и нечего у нас оставаться.

— Надо! Обязан! Как пес сторожевой в этой будке засяду!

— Что, в пограничниках псовой-то охоте на людей выучился? Так там диверсанты, шпионы, а здесь у нас все советские граждане. Здесь пограничные замашки надо бы забыть.

— Не могу, не получается, дорогой.

Саркисян внезапно смирил себя, будто прихватил, зажал свою ярость зубами. И сразу негромко, даже тише, чем у Анатолия Павловича, зазвучал его голос. Но так выходило еще серьезнее. Пока Саркисян кричал, казалось, вот-вот прозвучит в его словах шутка, вот-вот сверкнут смехом горяче-желтые его глаза. Теперь же все напряглось и накалилось до предела. И слова, которые сказал сейчас Саркисян, совсем тихо сказанные им слова, тоже были накалены до предела:

— Вот что, Анатолий Павлович... Перемени себя, если можешь. Распрямись, освободись, если еще не поздно. Старым не прожить тебе больше. Не рассчитывай. Поймешь, одумаешься — счастье твое. А я с твоей дороги не сойду, Анатолий Павлович. Не могу, не имею права. Это ты про границу хорошо вспомнил, кстати. Так вот, бывший пограничник, а ныне инвалид и бухгалтер в ателье мод Сурен Саркисян опять вышел в дозор на границу...

Анохина поразили эти слова: они звучали как присяга. Что же случилось, чтобы нужно было так и такие говорить сейчас слова? Говорить вот здесь — в этой будке-кабинетике бухгалтера ателье мод?

Анохина поразило и то, как поглядел сейчас на Саркисяна этот тишайший и такой вежливый Ана-

толий Павлович. Он поглядел — Анохина ожег этот взгляд — глазами повыцветшими от злобы, поглядел, как на врага, как на ненавистного, кровного своего врага.

Это был уже знакомый Анохину взгляд. Такие вот повыцветшие глаза совсем недавно близко и страшно глянули и на него. Он вспомнил: так посмотрел на него в своей будке Князев.

«Ладно, иди... Хотел с тобой по-доброму...»

Но что это, вот и Анатолий Павлович произносит такие же, почти такие же слова:

— Ладно, еще поговорим... А ведь я хотел с тобой по-хорошему...

Так же, как и появился, он тихо, неспешно отворил дверь и вышел.

В открытую дверь Анохин снова увидел Лагутину. Она сидела за своим столиком, прижав ладони к лицу. Заслышав шаги Анатолия Павловича, она торопливо поднялась ему навстречу. Он подошел к ней, дружеским, отцовским движением обнял и, наклонясь, что-то стал говорить. Должно быть, что-то ласковое, успокаивающее.

— Защитник, — с горечью сказал за спиной Анохина Саркисян. — Отец родной... Советчик... — Он смотрел туда же, куда и Анохин.

Весь день Князева не отпускало скверное, хмурое настроение. словно недоброе какое предчувствие. Впрочем, с ним это случалось и раньше. «Выпить бы!..» Он мысленно обозрел новые свои владения, прикидывая, куда пойти скоротать время. Он не любил в такие смурные дни быть на людях, на шуме. Он не мог снести и одиночества. Ему нужен был собеседник, лучше совсем безгласный, смирный или пьяно притихший. Сам, сам себя умел растормошить и утешить Князев бойкими, напористыми своими речами. Но только чтобы рядом все же кто-нибудь да был, чтобы кто-нибудь да слушал. Не с болванками же кепочными, не с безликими же этими «голованами» все вести разговор. Свихнешься, пожалуй.

«Куда же пойти?..»

Замкнув свою будку, Князев, выбирая, повел вокруг глазами.

Три громадных дома на возвышении и пустырь за спиной — это и были те новые его места, та целина его, где он уже вроде начал обживать.

Здесь, на пустыре, поставил он свою мастерскую.

Там, вон в том доме с целую улицу, заведовал ателье мод его старинный приятель. Правда, уклончив, увертлив, оробел с годами, но дело с ним делать пока можно. На новом месте — можно.

А вон там, вон в том доме, еще не отгулявшем все свои новоселья, живет его невеста. И скоро, теперь уж скоро, и его, Князева, будет справлено там новоселье.

Но сейчас к ней нельзя... Не стоит... Не впустит, пожалуй... Нет, не стоит — всему свой час да минута!

А вон там, и там все знакомые огоньки в окнах, знакомый живет народ. Со всячинкой народ. А что ж, и на новых местах селятся люди со всячинкой. Пршрое, как старый тюфяк, на старой квартире не кинешь.

Иной и хотел бы и рад бы въехать в новый дом, как в купель нырнуть, и хотел бы и рад бы забыть свои старые дела и старых своих приятелей. Так ведь напомнить можно... Чудной человек, чего это тебя на пресное потянуло? Новые места, новые люди кругом? Вот это и хорошо! Выходит, никто тебя тут не знает, легче тебе будет тут развернуться. Так-то вот...

Князеву здесь нравилось. Вот эта самая новизна всего ему и пришлась здесь по душе. Там, где он еще жил, вернее, где ночевал только, да и то не всякую ночь, ему уже было тесновато, будто воздуха не хватало.

Слишком уж хорошо там его знали. С самого рождения. Он всех знал, но и его все знали. И когда садился — знали, и когда выходил — знали, и чем опять занялся — все знали.

В крутогорбом, погнутом, как самоварная труба, Самотечном переулке, в приземистом купеческой стройки доме, где стены были метровой толщины, окна смотрели зарешеченными бойницами, прошло Женьки Князева бойкое детство, прошла и бойкая его юность, прошли куда как бойкие и последующие годы его жизни. Разве что за вычетом тех лет, когда

Женька Князев, а потом просто Князь, а потом Евгений Андреевич Князев отбывал очередной срок.

Отца он помнил хорошо, хоть тот и давно умер. Отец был тоже куда как боек. Когда-то держал торговлишку — вот в этом же доме с окнами-бойницами, в их собственном когда-то доме. И все куда-то ездил, все что-то раздобывал, перекупал, выменивал. Возвращаясь, неделями громко пил, так громко, что притихала вся улица. Пил да гулял, спился да помер.

Мать умерла недавно, но вот ее Князев помнил много хуже, чем отца. Уж больно всю жизнь тихой была, прибитой, бессловесной. Ни разу ничего не сказала сыну, и когда уводили, и когда возвращался. Провожала и встречала, как мужа, хлопотливо собирая в дорогу бельецо или хлопотливо накрывая на стол с дороги. Только умирая, шепнула:

— Пропадешь ты, сын... Поменяйся... Пропадешь...

Князева поразили эти шепотом сказанные слова не столько страшным смыслом своим, сколько смелостью, которая вдруг объявилась в матери. Вот ведь, разговорилась...

«А что? А почему? Разве один он так живет? А как быть?»

Никто никогда не давал ему советов, да он никогда никому и не поверил бы. Разве что матери... Но она молчала. Еще отец вколотил в нее это молчание. Она молчала, она боялась и сына, как боялась всю жизнь мужа. И вот только перед смертью решилась шепнуть сыну свою о нем горькую думу.

— Ничего не пропаду! — пообождав, не скажет ли она ему еще что-нибудь, растерянно и тоже шепотом ответил тогда матери Князев. Он ждал, он долго, терпеливо ждал, что она опять что-то ему шепнет. Она молчала. Те слова были последними. Первыми такими вот у матери и последними.

— Ничего, не пропаду! — ожесточаясь еще более, виня все и вся еще более, чем обычно, уже самому себе и громко, во весь голос выкрикнул Князев, когда шел с кладбища, схоронив мать.

Ее смерть только тем и поразила его, что она ушла из жизни, так и не досказав ему свои о нем мысли, так и не услышав его ответа.

А он хотел сказать ей многое. Не ей, конечно, а самому себе. Но ему важно было, чтобы и она слушала эти его для себя рассуждения. Он хотел сказать ей, что и нынче можно вот так прожить, как он живет. Только, понятно, по-умному, без отцова шума да риска. Он хотел сказать матери — и себе самому сказать, себя самого уверить, — что с молодым озорством теперь покончено, что он, Князев, набрался ума-разума и угадал, нашел для себя верную лазейку в нынешней жизни. Сейчас так надобно жить, чтобы лучше всякого прокурора знать законы, на которые ты замахиваешься. Не вслепую идти, а сторожась, с оглядкой, зная, почему стоит каждая твоя промашка в ценнике уголовного кодекса. И там, где возможно, возлюбить закон. Ну, а уж там, где никак этого сделать нельзя, действовать с величайшей осмотрительностью и не своими, избави бог, руками. Всегда найдутся дурни, которым твоя наука еще неведома, которые сунутся вперед вместо тебя. Сойдет — вознаградим, не сойдет — вы и отдувайтесь.

Вот и все князевское открытие, вот и вся его философия, которую распонял он для себя и затвердил, как первый и единственный в своем детстве стишок: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла...»

Обидно, что мать не выслушала его перед смертью. Кабы выслушала, не стала бы страшить: «Пропадешь! Пропадешь!»

Ах, как хорошо здесь! Как привольно, спокойно! Спокойно ли?

Опять, вот и опять словно кто наставил на него свои глаза и смотрит, смотрит, куда бы он ни пошел, куда бы ни свернул. Как там — в Самотечном и иных-прочих улочках вверх к Самарскому и вправо к Третьей Мещанской с их сквозными дворами и домишками, попрятавшимися в дворовых глубях, где прошла до сорока лет его жизнь. И где дворники, едва завидев его, пятились в ворота, а участковые передавали друг другу чуть ли не по дежурству.

Наскучило! Но ведь Москва такой городок, что за час езды, как на край земли, можно отъехать. Вот он и отъехал, и никто его здесь не знает. Разве что пяток приятелей, про которых ему ведомо много больше, чем им про него.

Да нет, не их глаза наведены на него и смотрят, смотрят, куда бы он ни пошел, куда бы ни свернул. А чьи же?

Князев оглянулся. Никого!

Позади, сразу за пустырем, за прозрачной кромкой редких сосен уже рассыпались вечерние огоньки в окнах новых, только лишь народившихся домов. Без числа и края в даль ночную уходящая россыпь. И мерцали красные сигналы на башенных кранах, которых тут было, как деревьев в лесу, великанов-деревьев, зацветших красными огоньками.

Так чьи же, чьи же вот и сейчас досматривают за ним глаза?!

Князев глянул вперед, быстро и зло, изготовившись встретить любой взгляд, как удар кулаком. Никого!

Да, никого. Спокойно, величаво стояли на возвышении три громадных дома-близнеца. Один принимал на себя ветровые наскоки из недалекого леса, другой мирно втекал в городскую улицу, третий сам начинал новую улицу, ненадолго приостановившуюся у пустыря.

Три дома-близнеца, сложившие свои стены в единый и значительной жизни мир, напрасно названный столь умалительно микрорайоном.

Посреди просторной площади, легшей между домами, сверкал веселым заревом стеклянный куб кинотеатра. Сверкал и гудел далекими голосами, чему-то все радующимися голосами.

Туда не пойдешь, там слишком светло, молодо, гомонливо и слишком там много этих досматривающих глаз, будто все про тебя знающих глаз. Чьих же? Так чьих же все-таки?!

Оглядываясь, зло и быстро все оглядываясь, Князев топтался на своем пустыре, на крохотном, вытоптанном в снегу пятачке перед тремя тут будками, в одной из которых клепали и паяли, в другой подбивали подметки, а в третьей орудовал он сам, строя свои кепочки.

Ржавые ящики-гаражи вкривь и вкось разбрелись по пустырю, пятная снег шаткими стенами. Ненадежные строеньица. Да их уж и потеснили и все теснят и теснят, даже вот и зимой закладывая все новые и новые дома.

«Эх, выпить бы!..»

Вчера до поздней ночи он пил со стариком, что живет вон в том доме, вон в том подъезде, да вон его окошко — светится.

Занятный старик. Из умных. И хитрющий. Все поддакивает. И правильно, так вот и надо, если не сам на стол ставишь. Поддакнул — и выпил, возразил — и прогнали. Наука! Пожалуй, эта наука не в одном только застолье хороша. Она и в жизни может сгодиться. Поддакнул — и люб, возразил — и в лоб. Бы-валый старик.

И Витька, его внук, тоже со своим умом-разумом. То говорлив, как сорока, а то молчит и слушает, будто ты ему место объясняешь, где клад зарыт. Смека-стый. И жадно жить хочет. Тянется к хорошей жизни.

Нет, не перевелся, не перевелся еще со всячинкой народец, не обезлюдело!

Усмехаясь, Князев уже ходко шагал, держа путь на светящееся вдали окошко, то самое, за которым столь охотно поддакивали всем его речам, лишь бы принес он водочку, то самое, за которым так жадно его слушали.

15

— Ну, поехали! Пусть нам будет хорошо! — закинув голову, Князев стал громко сглатывать содержимое своего стакана. Еще не допив, свободной рукой потянулся к сигаретам, еще не допив, поднес, терзая пальцами, сигарету к губам. И сразу же, отняв только стакан, закурил, яростно чиркнув спичкой.

— Взорвешься, Евгений Андреевич, — заметил Витькин дед, неспешно пригубливая свой стакан. — Спирт, к примеру, так пить — упаси бог.

Случись Витьке дожить до семидесяти лет и к этим годам, набрав множество морщин и морщинок и крепко ссутулившись, уберечь почти все свои волосы и даже рыжеватинку в них и уберечь задиристую свою востроносость, но подевать куда-то лукавую синь своих сощуренных глазок, — вот бы и стал он тогда точно таким же, каким был ныне его дед. Старый, поуставший Витька.

— Пивали мы и спирт, — подышав да так и не закусив, а лишь щелкнув пальцами над покромсанной

в тарелку колбасой, отозвался Князев.— Спирт — это только в праздники. А в будни и денатурату рады. Через уголек процедим — и будь здоров.

— Это что же, в северных местах? — осторожно осведомился старик.

— Там, там, папаша.— Князев песенно протянул: — «Там, где золото копают, изумруды достают, там, где вольного парнишечку в мерзлу землю закуют...» — И вдруг выкрикнул, надрывно, слезливо, так совсем, как кричат эти самые парнишечки, надумав попугать или разжалобить: — Только не вышло, не заковали! Князева не закуешь! Он сам ковать умеет! Его — тронь-ка, руки задымят! Тронь-ка, переломишься!

Князев разжалобил самого себя. Даже будто всхлипнул. Потом вбил друг в друга изозлившиеся кулаки и понуро смолк.

— Да, набедавались, видать, по самые ноздри, — сочувственно наклонил старик свою совсем Витькину бойко верткую любопытствующую голову. — Зато наука, а? Наука жизни — она дорого стоит.

— Верно, — восторженно воскликнул Князев. — Верно, отец. Душевный ты человек, как я погляжу. Ну, повторим!

Князев снова налил себе и жадно, обливая подбородок, выпил.

— Закусывайте, — сказал старик. Он взял из тарелки кусок колбасы, как маленькому, сунул его в приоткрывшийся, задохнувшийся князевский рот. Князев яростно подвигал челюстями, сжевывая колбасу.

— С ложечки надумал кормить? — спросил он, еще жуя. — Не бойся, не упьюсь.

— Мне-то что, я и сам пьяненький. Витька вот скоро придет.

— А что — Витька? И ему нальем.

— Ему бы не надо. Приохотится еще. Хорошо ли? Сирота... При матери с отцом сирота... Хуже-то и не придумаешь.

— Хватился, дед. Он уже у тебя всему-расвсему обучен.

— Да нет, он еще дите. Это он так, больше хвастает.

— А я говорю — обучен. И хорошо, и хвалю. Не телок.

— Да нет, он еще дите.

— Заладил! Дите, дите! Чуток вот его подната-скаю — цены не будет.

— В каком это смысле? — настороженно глянув на Князева, старик забыл поудержать сильно затрясшуюся вдруг голову.

— Да вот попросился ко мне в ученики. Возьму, сделаю мастером.

— По кепкам?

Князев усмешливо раскидал по лицу свои обученные морщинки.

— Мастеров по кепкам не бывает, папаша. Ты вот, говорят, краснодеревщиком был хорошим. Стало быть, мастер, так? Мастер, спрашиваю?

— Считался им, — все так же настороженно глядя на Князева, неохотно ответил дед. — Да это дело прошлое, постарел.

— В том-то и суть! — будто веселясь, поерзал на стуле Князев. — Руки сдали, глаза заслезились — вот ты уже и на свалке. И никакой не мастер, старичок да и только. Пьешь да жуешь, если деньги пенсионные не вышли. А вышли — и нет ничего. Вот и весь мастер. Вот и вся твоя в жизни удача. Живой, а вроде уже и помер.

— Зачем же так-то? — спросил дед грустно-грустно. — Ну, угощаешь... Зачем же так-то?

— Надо! — зло вскрикнул Князев. — Надо вас, дураков, хоть перед смертью в ум вводить. Мастер! Умелец! Работяга ты вечный, вот ты кто! Спасибо, пенсию вот дали. А не дали бы, по сей день слепо по пальцам стамеской бил бы. Мастер! В упряжке мастера не ходят, уважаемый. Мастер — это такой человек, который не стол сбил и не кепку сшил, а вольную жизнь себе смастерил. Исхитрился! Угадал! Риску не побоялся! Вот он и при деньгах, и сам себе хозяин — вот он и мастер. Стар не стар, а мастер. Пока силы есть — гуляет, пока котелок варит — добывает, а когда свалится — заначка есть, да поболее твоей пенсии. Дремли, три деснами, вспоминай, как по жизни гулевал. Радуйся, не зря пожито!

— А ежели на Север угодишь?

— И там в авторитете можно ходить. И там, отец, мастером надо быть. Опять же не по табуреткам да по кепкам, а собственной своей жизни мастером. Вели-

ка наука! Я один раз только тем и спасся, что реку щироченную переплыл. В холод, вот-вот ледостав. Спортсмен да и только! А раз-другой ножичком помахать пришлось. То один на двоих, то один на троих. Воин! Бывало и посмешней. Целую зиму как-то у бабы-лесничихи отсиживался. Песни ей пел, на гитаре играл. Герой, как говорят, любовник. А взять вместе—мастер. Не хвастаясь, скажу: мастер. Кепочный? Ну пускай, пускай кепочный...

Князев снова потянулся к стакану. Прежде чем выпить, облизал запекшиеся губы. Его лихорадило, ему было то зябко, то жарко. Лицо опалено жаром, плечи под пиджаком пожимались, как от холода. Разожгли собственные слова, холодила какая-то неясная тревога, знакомым ознобом упреждая об опасности. Какой? Где? Почему?!

Расплескивая водку, Князев в бешенстве оглянулся на дверь, ожидая, что увидит там, вот сейчас увидит эти ненавистные ему, эти нацеленные глаза, что смотрят и смотрят за ним, куда бы он ни пошел. Никого! Дверь замкнута, в комнате один только этот пьяненький, смиренный старикан. Никого!

Но Князев все не отводил взгляда от дверей, прислушиваясь, ожидая, напрягшийся, как перед прыжком.

И верно, за дверью, где только что была тишина, слышались шаги, голоса, звякнул замок.

Князев поднялся и нетерпеливо шагнул вперед, судорожно расправляя призябшие плечи.

— Витька это,—сказал старик.— Слышь, Евгений Андреевич, оставь ты его бога ради.— Старик тоже поднялся и шатко встал между Князевым и дверью.— Слышь, Евгений Андреевич, не надо бы...— шепнул он.— Не надо бы! — он внезапно возвысил голос, срываясь на слабый старческий вскрик.— А?! Ладно?! А?!

Князев, не отвечая, досадливо отмахнулся и, хоть и не задел старика, того, как ветром отбросило в сторону.

Дверь отворилась. Князев глянул: в дверях стоял Анохин, позади него расплылся в улыбке Витька.

— Лафа! Выпьем!

Но Князев смотрел только на Анохина. А тот протирал запотевшие с улицы очки и потому и остановил-

ся в дверях, слепо глядя на Князева, которого, должно быть, еще не узнал.

Но вот Анохин надел очки, и взгляды их встретились.

— Так это ты, паренек?! — Князев даже как будто повеселел. — Опять ты?..

— Здравствуйте, Яков Ефремович. — Минуя Князева, Анохин подошел к старику.

— Здравствуй, Миша. Что смотришь? Ну, выпиваю. Мне это полезно. Расширение, говорят, сосудов образуется. Медицина! А Витьке не дам. Выплесну, а не дам.

— Так это ты, паренек? — оборотясь, снова подступил к Анохину Князев. — По пятам за мной стал ходить? А зачем? А не боишься, что осерчаю? Вдруг да осерчаю?

Он говорил, и смешливые его морщинки делали свое привычное дело. Но живым в его лице было не веселье, а ярость, едва, казалось, сдерживаемая сетью красных прожилок. Два лица видел сейчас перед собой Анохин. Одно — смеющееся, другое — побагровело-яростное. И это лицо вот-вот готово было взорваться, и заорать, и ожечь огненным выплеском оловянных глаз.

— Вдруг да осерчаю? — натужно-тихо, как бы забрав голос в кулак, повторил Князев и налег грудью на Анохина.

Тот не попятился.

Вот и снова сошлись они грудь в грудь.

— Молчишь? — сиплым шепотом спросил Князев. — Ходишь по пятам да высматриваешь, а встретились, так молчишь? Ты что же, подрядился за мной следить? Задание у тебя такое?

— Да что вы, Евгений Андреевич! — этаким несмышлениш, будто в полном неведении что творит, Витька встал между Князевым и Анохиным, обнял обоих за плечи. — Один, видать, у вас интерес, вот вы часто и встречаетесь. А теперь бы выпить. Наломался, как клоун в цирке. Кому разговоры, а кому стену ковырять. Дед, Яков Ефремович, дозвошь глотнуть тру-женику.

Старик умоляюще-сердито уставился на внука.

— Выплесну!

Но Князев уже наливал Витьке, взмахом руки от-  
качнув деда в сторону.

— Один интерес, говоришь? — Князев чуть пораз-  
жался, ровней потек его голос. — Это ты про что же та-  
кое намекаешь, Витюха?

— Сразу сказать — еще подеретесь, — смешливо  
подмигнул Князеву Витька. — Мне же разнимать, мне  
же и достанется.

— Нет, мы не подеремся, — быстро и этак оцени-  
вающе оглядел Анохина Князев. — Драка, это когда  
один ударит, а другой ответит. А тут какая же драка?  
Случись, так мне один только раз и ударить придется.

— А потом что будет? — спросил Анохин.

— А потом, паренек, будешь землю целовать.

Князев присел к столу, радушным движением  
приглашая садиться и Анохина.

— Витюха, ну как, пойдешь ко мне в ученики?

— По кепкам?

— Именно!

— Попробую. — Витька не без смущения вертел  
головой, деля свои улыбочки поровну между Князевым  
и Анохиным. — Только пока без отрыва от производст-  
ва. Ладно, Евгений Андреевич?

— Ладно, ладно, там разберем. — Князев высоко  
поднял свой стакан, крутанув в нем водку. — Поехали!  
Агитатор, ежели не трусишь, присоединяйся! Наливай,  
пей, мы не выдадим. Дед, чего моргаешь? Пользуйся!

— Витьке не дам, — сказал дед и накрыл Витькин  
стакан ладонью.

— А мы тебя не спросим. Не маленькие. Верно, Ви-  
тюха?

— Выплесну! — слабым голосом пригрозил дед.

— Пожалеешь, — усмехнулся Князев. — Такие си-  
зоносые, как ты, дедушка, водку не выплескивают. —  
Князеву надоело ждать, он поднес стакан к губам. —  
Ну, соколы!

Под требовательным князевским взглядом Витька  
потянулся к своему стакану, и дед, горестно сморщив-  
шись, выпустил стакан из-под ладони.

Но Витька не успел взять стакан. Спокойно, сам  
дивясь своему спокойствию, Анохин неторопливым  
движением смел стакан со стола.

Звонко, весело рассыпались по полу осколки, и стало тихо той сразу зловещей тишиной, когда вдруг услышатся совсем уж далекие, нездешние звуки: паровозный гудок из-за тридевять земель, железная суетолока неведомого завода, размытый далью голос. И слушаешь и цепляешься за эти звуки, застыв в бездумном оцепенении, зная лишь, что они последние мирные звуки в наступившей тишине. А потом, минутой или даже секундой позже, начнется что-то, может быть страшное, может быть, безобразное.

Ничего не случилось.

Тихонько покряхтывая, Князев наклонился и стал собирать осколки. За одним из осколков ему пришлось поползти на коленях под стол. Оттуда он и заговорил, все так же покряхтывая и совсем мирным, ровным голосом:

— Ты что же, поп или сектант какой-нибудь? — он ткнул пальцем в ногу Анохину. — Видал я таких, что не пьют, не курят. Староверы. Есть такие, что прыгают да себя стегают, пока не упадут. Сектанты, прыгунами называются. Так ты из которых будешь?

— Из коммунистов, — сказал Анохин, наклоняясь и заглядывая под стол, чтобы видеть лицо Князева. — Встречали таких?

— Приходилось, — хмыкнул Князев. — Он выбрался из-под стола. — А цель твоя какая, товарищ коммунист?

— Не дать вам спаивать Виктора, — Анохин выпрямился. — Не пускать его к вам на выучку.

— А еще?

— И еще... всегда и везде мешать вам портить людей.

— Так... Понял... Это я-то порчу?

— Вы.

— Чем же? Что уму-разуму учу? Деньгами помогаю? Не даю в обиду?

— Вы растлеваете им души.

— Догадался! Надо бы знать, товарищ коммунист, душ-то у людей нет.

— Есть.

— Это ты все про Нину грустишь? Что, понравилась?

— Да, грущу. Нет, не понравилась.

— Заливай! Ладно, действуй, паренек, махай руками. Очень надоешь, окорочу.

Князев двинулся к двери.

— Виктор, за мной! Прокиснешь тут! Ну! — он резко обернулся в дверях. — Деньги имеются. Кутнем!

— Можно! — бодро отозвался Витька. — Деньги на сегодняшний день пока еще сила.

Но произнеся эти бодрые слова, Витька не стронулся с места.

— Ну! — позвал-приказал Князев.

Витька медлил, коротко, вопрошающе взглядывая на Анохина. А тот молчал. Глядел на Витьку и молчал, поправивший, со стиснутыми до белесых полос губами.

— Витенька, не ходи, — помолил дед. — В домино сыграем, чайку втроем попьем. С вареньем...

— Веселье! — Князев уже переступил порог. — Хочешь, сходим до твоей Анюты. — Он стал медленно притворять за собой дверь. — Закажешь и себе и ей чего душе угодно. Решай, кавалер!

Дверь затворилась.

— Пойду! — рванулся вперед Витька. — Я ненадолго, я скоро! Ведь вы, босс, хотели с дедом поговорить. Вот и поговорите, пока я туда-сюда пробежусь.

Бочком, бочком, избегая глаз Анохина, Витька выскользнул за дверь.

— Миша, что же ты? — плачущим голосом спросил дед. — Крикни, вели не ходить!

— Он меня не послушается.

— Послушается! Это он сгоряча! Глупый! А тебя он уважает, Миша. Очень уважает.

— И Князева тоже.

— Князев — сила. Он деньгами приманивает, хитростью. — Старик, прося, коснулся Анохина своими трясущимися руками. — А ты не уступай ему, Миша. Твоя сила сильнее. Ты — честный. Ты все можешь.

— Нет, не могу, — с болью сказал Анохин. — Видно, не могу. Думал, что хоть с Витькой смогу... Не выходит... Не умею... Ничего я, дедушка, не умею.

— Сумеешь, Миша, верь слову, сумеешь. Только не отступайся. Пожалей его. Ведь он при мне, пьянице, хуже сироты. Я, чего уж, я своей струны в жизни

не нашел. Парня жаль... Без отца, без матери, хоть и живы. Брошенный... На меня... Ох, горе!..

Дед заплакал. Мутные слезы, каждая своей тропой, торопясь, побежали по горестно сжавшемуся лицу. Было невыносимо смотреть, как плачет старик, этот старый-престарый Витька, если и тот тоже сопьется и не найдет своей струны в жизни.

— Я пойду, — сказал Анохин. — Не плачьте, дедушка, я пойду.

— Благослови тебя бог! — старик вдруг ткнулся вниз, и Анохин почувствовал его шершавые, опаленные губы на своей руке.

— Что вы, дедушка, что вы?! — вскрикнул он. — Да я!.. Я!..

Задохнувшись, он выскочил из комнаты.

## 16

Снова заснеженная площадь между домами и мартовский злой ветер, с налету ударивший в лицо колким снежком. И никакой весны в воздухе. Зима, зима. И снова смятенное, горькое чувство, что ты бессилен что-либо сделать, ну, вот даже для Витьки, бессилен, не можешь, не имеешь права вмешиваться в его жизнь, покуда не случится с ним что-то уж такое серьезное, когда и стороннему человеку должно будет кинуться ему на помощь. А раньше? А теперь? Ведь его можно приструнить как комсомольца. Приструнить можно. Но как убедить его, что Князев вовсе не желает ему добра, как отворотить его от этой дружбы, которая сулит ему развлечения и деньги? Витька уже высказался по этому поводу. Ему нужны деньги! Много денег! Он хочет купить целый ящик конфет своим сводным брату и сестре и самый дорогой коньяк для того человека, который отнял у него мать. Он хочет прикатить к ним на собственной машине. Он хочет с кем-то там поквитаться, его гонит к Князеву обида, ему мучительно и сиротливо живется на свете. Вечно пьяненький дед не в счет.

Эти губы... Эти стариковские, припаленные зноем губы, прикосновение которых все еще жжет Анохину руку. Как же так, старик поцеловал ему руку? Попросил о помощи и поцеловал руку...

«Твоя сила сильнее. Ты — честный. Ты все можешь». А так ли это?.. Так ли?..

«Семерка» сверкала всеми своими окнами, как заправское кафе где-нибудь в самом центре Москвы. Недавняя затея. По вечерам там убирали часть столиков, запускали магнитофон и открывали молодежное кафе с танцами, но без спиртных напитков. Дозволялось разве что шампанское, если клиент внушал особое доверие буфетчице Анюте. По вечерам она была тут главной. Она и ребята-комсомольцы, работавшие в столовой. Их зав, многоопытный ресторатор по кличке Туша, вечерами тут не появлялся, так как не ждал добра от этих безалкогольных танцулек.

— Знаем мы, чем все это кончается. Милицией это все кончается...

Ребята были только рады, что Туша им не мешает. Пока что дела в кафе шли хорошо. И ребят хвалили за их затею. В кафе даже побывал секретарь райкома партии. Ел сладкие булочки, выпил бокал шампанского, протанцевал круг вальса с Анютой и пообещал, что снова придет.

— Но уж не как секретарь, а как ухажер-танцор...

Прижавшись лбом к стеклу, Анохин заглянул в ярко освещенный зал «Семерки». Народу там было не так уж много, можно было сразу всех разглядеть. Князева и Витьки там не было.

Анохин вгляделся в очередь у буфета. Князева и Витьки не было и там. Куда же они подевались? Где их теперь искать?

Анюта за столиком двигалась медленно-медленно. Устала? Анохину не разглядеть было ее лица, и все же ему показалось, что девушка невесела. Иначе бы хоть разок да вскинула она свою головку, точно чему-то удивясь или обрадовавшись чему-то своему, Анютиному.

Анохин толкнул дверь и вошел в «Семерку». Ему велено было раздеться, но он сказал: «Я на минуточку» — и в пальто, сняв только шапку, пошел к буфету.

— Витька с Князовым сюда не заходили? — спросил он еще издали у Анюты.

— А, это вы... — она задумчиво поглядела на Ано-

хина. Нет, не задумчиво, а огорченно. У нее были удивленные и огорченные глаза. Казалось, вот только что ее кто-то тяжело обидел. Но она не заплакала и не обиделась, а огорчилась.

— Вы опоздали,— сказала она.— Я прогнала вашего Витьку. И Князева этого тоже. Им здесь не место.

— Прогнали? — Анохин устало облокотился на стойку.— Зачем же Витьку-то?

— Он вел себя даже хуже Князева. Тот только нагло смеялся и предлагал всем выпить за его счет, а Витька...— Анюта горько нахмурилась, близко сведя свои удивленные, тонкими полумесяцами брови.— Он какой-то оглохший был, чужой. Глаза злые, губы кричатся...— Анюта перешла на шепот.— Он мне такое сказал, ваш Витька, что я вовек ему не прощу!

— Ему плохо,— сказал Анохин тоже шепотом.

— Правда? А что, что случилось?

— Ничего пока не случилось, но его нельзя было прогонять. Его надо было хоть за руки схватить, но не пускать вместе с Князевым.

— Попробуй, схвати такого,— сказал какой-то паренек из очереди. На рукаве у него была красная повязка дружинника.— Да мы и не имеем права просто так людей хватать. Попросили удалиться — и все.

— Зря вы так,— сказал Анохин. — Зря.

— Он бы все равно не остался,— задумчиво проговорила Анюта.

— Как знать, может, и остался... Куда они пошли?

— Пьянствовать, куда же еще?! — Анюта гневно возвысила голос.— Пойдут, купят водки и заявятся к князевской невесте. Ну и пусть! Пусть хоть пять невест там будет, мне-то что! Пусть хоть все ателье!

— Так они пошли к Нине Лагутиной? — упавшим голосом спросил Анохин.

Анюта кивнула, вдруг гневно и распрямившись во весь свой небольшой рост.

— Ваш Витенька и меня звал...— она очень точно повторила Витькин с наглостью голосок: «Анюта, гульнем! Деньги имеются!» Дрянь, дрянь он — вот он кто!

— Нет, он не дрянь,— огорченно сказал Анохин.— Нет, это не так. Ну, я пошел, Анюта.

Она нагнала его у выхода, шепнула, пряча влажно потемневшие глаза:

— Скажите ему, что я никогда, никогда его не прощу...

17

Решение принято: он пойдет сейчас к Лагутиной и, кто бы там ни был, уведет Витьку. Но не только это. Он скажет все, до конца все, что думает про Князева. При нем. За глаза сделать это не так уж трудно. Он скажет в глаза. Встанет прямо перед Князовым, перед Лагутиной и скажет. Один? Да, один. Можно было бы прихватить с собой двух-трех парней-дружинников. Объяснить им что к чему — они бы пошли. Но этого нельзя делать. Князев один — и он один. Иначе выйдет, что он боится Князева, что тот и вправду великая сила. Иначе выйдет, как в иных фильмах бывает, когда целый полк положительных гонится за одним-единственным отрицательным. Бьют по нему изо всех пушек, стреляют изо всех автоматов и насилию-насилу одолевают. Толпа здоровенных парней и хлипкий, перепуганный, всеми оставленный и давно уже поднявший лапки кверху доходяга. Жаль его бывает просто до слез.

Нет, только так: один на один. И пусть посмотрит Лагутина, пусть убедится, чья сила сильнее. И пусть тогда выбирает Витька, за кем идти. Решение принято!

Восьмой этаж. Лифт поравнялся с цифрой на двери и замер.

«Ну, иди, Анохин, иди!»

Он медленно вышел из лифта, готовясь услышать пьяные голоса, громкий смех, звучащие из дверей лагутинской квартиры. Он ничего не услышал. По-вечернему тихо было на лестнице. Гулкие шаги где-то далеко внизу — вот и все звуки. Не Лагутина ли? А что, если он опоздал?

Анохин торопливо подошел к двери, той самой двери, возле которой кто-то высек на стене яростное свое «Ненавижу!». Анохин и в первый раз, когда увидел эту надпись-признание, посочувствовал ее автору. Те-

перь он сочувствовал ему еще больше. Теперь он и сам мог бы написать такое возле этой двери. Но только кого же он ненавидел? Не Лагутину же? Нет, не ее, а ее жизнь. Эту испуганную старенькую какую-то жизнь, когда надо говорить «Да!» Князеву и страшиться громкого стука в дверь, открывая лишь на условный, тихий.

Как стучать — условно или просто? Для скорости Анохин постучал тихо, условным стуком, вспомнив, как это у него тогда случайно получилось, вспомнив, как стучал Князев. Вроде даже не стучал, а поцарапался в дверь. И Анохин тоже поцарапался. Но уж когда откроют, он заговорит во весь голос! Он им скажет!

Тихо, за дверью ни звука, ни шороха. Мерзее к себе, Анохин снова поцарапался в дверь. Ни звука.

Тогда он ударил в дверь кулаком, сильно, до боли в руке, как ударяют с досады, поняв, что никто не открывает. А жаль, горько жаль. Потому что разговор, на который он решился, был совсем не легкий, и очень может быть, что во второй раз так и не придет к нему эта решимость.

Но что это, за дверью слышались шаги, Нинин голос робко спросил:

— Кто там?

На условный звук не отозвалась, а вот когда постучали просто так, спрашивает «Кто там?». Это почему-то очень обрадовало Анохина. И как тогда, в первый раз, он радостно гаркнул:

— Из агитпункта! — И, сразу все вспомнив, сразу напрягшись, тихо добавил: — Это я, Анохин.

Быстро шелкнул замок, быстро отворилась дверь. Можно было подумать, что Лагутина ему обрадовалась.

— Опять вы?! — шепотом спросила она, глянув не на него, а на лестницу, нет ли там еще кого-нибудь. — Ну зачем вы пришли?! Ну зачем?! Кажется, уж поговорили! Вам мало, что я вас чудачком назвала, мало?!

Она втащила его за руку в прихожую — там было темно — и поспешно захлопнула дверь.

— И даже замахнулись на меня, — сказал Анохин. — А известно, замах, что удар.

— И ударила бы, если б не Саркисян. Не лезьте не в свое дело!

— У вас еще все впереди — я решил и дальше лезть не в свое дело!

Они стояли в темной прихожей, куда были открыты двери из темной комнаты и темной кухни. Во всей квартире не горело ни одной лампочки, и свет лишь чуть тлел от заглядывавшей в окна молодо-щербатой луны.

— Говорите, зачем пришли?! Агитировать?! Не нужна мне ваша агитация! На выборы я приду! Все! Можете успокоиться!

Лагутина продолжала говорить шепотом, но все равно Анохину казалось, что она кричит. Он едва различал в темноте ее лицо, но все равно знал, что оно сейчас у нее такое, каким было, когда она замахнулась на него в кабинете у Саркисяна.

«Да как ты смеешь, чудак?!»

«Смею!»

«Убирайся!»

«Нёт, я не уйду!»

«Тогда тебя вышвырнут! Князев вышвырнет!»

«Пусть попробует!»

Анохин долго еще мог бы вести этот безмолвный спор с Лагутиной, но вдруг она всем телом подалась к нему, и вместе с ним, едва не упав, уткнулась в угол прихожей, туда, где одного жался старый портняжный манекен.

«От мамы унаследовала... не выбрасывать же...» — вспомнил Анохин.

«Унаследовала... Нареченная... Обещана-завещана...»

— Тише! Бога ради тише! — беззвучно выдохнула Лагутина. Ее губы сухо шевельнулись рядом с его губами.

Анохин, как мог, отжал голову. Лагутина дышала совсем рядом, он слышал даже, как разнимались и смыкались ее губы, но она была так далеко от него, он так полно сейчас не существовал для нее, что ему просто необходимо было как можно дальше от нее отодвинуться. Но мешали манекен и лыжи в углу, и нельзя было и шагу шагнуть.

— Тише! Бога ради тише!

За дверью, приближаясь, слышались чьи-то легко пришаркивающие шаги. Не чьи-то, это шел Князев. Невозможно было не узнать его скользяще-плавной, самонадеянной, как и всегдашняя усмешка, походочки. Даже руки его увиделись Анохину. По-боксерски согнутые в локтях, с тяжело повисшими кистями. Мгновение, и кисти эти сомкнутся в кулаки, ноги спружинят, улыбочка покроется в злобный оскал. А ну, с дороги!..

Следом за Князевым, тоже пришаркивая, еще не очень уверенно, еще учась, вышагивал Витька. Да, это он, хотя обычно он ходил совсем не так. Он не шаркал, а подпрыгивал. Но ведь учение уже началось, и Витька вот уже не подпрыгивал, а пришаркивал.

«Ну погоди, Витенька!»

— Тише! Бога ради тише!

— Дома, где же еще, — негромко прозвучал за дверью голос Князева. — Ждет, а как же. — И он осторожно, условленно постучал-поцарапался в дверь.

Лагутина сжала пальцами локти Анохина.

— Не хочу! Не пущу!

Ее губы снова сухо шевельнулись совсем рядом с его губами, сухо и жарко, но отодвигаться ему было уже некуда.

Князев постучал снова. Немного погромче, явно нетерпеливо. И напрягся, вслушиваясь в шорохи квартиры. Анохин словно увидел его, наклонившегося, напругшегося, с покривленной в нетерпении щекой. Стоит протянуть руки, отомкнуть замок, и вот они и сошлись лицом к лицу, один на один. Нельзя! Оказывается, Лагутина не хочет пускать Князева. Сказала ему «Да!» и не хочет пускать. Погасила всюду лампы и затаилась. Его, стороннего человека,пустила, а от жениха затаилась. Все наоборот и все еще сложнее, чем представлялось.

А она дышит ему в лицо, навалилась на него, забыв о нем, и дышит ему в лицо. Главное, чтобы ни звука ни шороха не донеслось до притихшего за дверью Князева. Вот о нем она не забывает.

Дверь содрогнулась от тяжелого удара ногой. Князев отказывался верить, что Лагутиной нет дома. И еще и еще один удар сотряс дверь.

— Я отворю, — шепнул Анохин.

— Нет! — шевельнулись ее губы.

— Пусти,— сказал он. Он сказал ей «ты», потому что так было короче и тише.

— Нет! — коснулись ее губы его лица.

— Почему?

— Нет! — повторила она.

Ее «нет» были странны и мучительны для него. Не замечая этого, она почти целовала его.

За дверью совещались. О чем, сперва не было слышно. Вдруг голоса стали громче:

— Пойдем,— предложил Витька.— Нет ее. Зака- тилась куда-нибудь.

— Пошли, пожалуй,— безразлично и вяло протя- нул Князев.

Послышались шаги, удаляющиеся от двери шаги. Анохин шевельнулся, пытаясь выбраться из угла.

— Нет! — прижалась к нему Лагутина.— Он тут еще!

— А шаги? Они уходят.

— Это все неправда, неправда! Вы не знаете Кня- зева. Он сейчас стоит и ждет и слушает.

Анохин не смел больше пошевелиться. Ему было не в состоянии в этом странно тесном соседстве, в этом темном и душном углу, и он не смел пошевелиться. Высвободиться бы, уйти бы! Ни о чем другом он больше не думал.

— Пустите, я пойду! — шепнул он и сам ощутил, что коснулся губами ее лица.

— Князев.

— К черту Князева!

— Нет! — она не отпускала его, она обхватила его руками, будто обнимала. Нелепо, дико, невыносимо было Анохину в этих объятиях. Он взмолился, все так же шепотом, все так же страшась своего голоса, пото- му что Лагутина страшилась Князева:

— Нина, но ведь стыдно так, стыдно бояться!

Он думал о другом, он думал о ее близости, душ- ной, странной, невыносимой.

Она шепнула в ответ:

— Ты не знаешь Князева.

«Ты!» Они говорили друг другу «ты», они касались друг друга губами, ее руки лежали у него на плечах.

Он больше не мог так. Он оттолкнул ее и шагнул к двери, вцепившись пальцами в замок.

Она кинулась за ним, она поняла.

— Глупый! — шепнула она, повиснув у него на руке и прижимаясь к нему, теперь как-то иначе, теперь думая о том, что делает, прижимаясь к нему, к Анохину, а не просто к чему-то там такому, как манекен, забившемуся в угол. — Глупый, он убьет тебя. Он боится, что подумает и убьет тебя.

Анохин не услышал ее слов, он угадал их. Он услышал запах ее волос, движение ее губ у своей щеки, он услышал ее тело, трепетно прижавшееся к нему. Он разжал пальцы и выпустил замок, так и не успев повернуть его, лишь чуть-чуть повернуть, чтобы оказать лицом к лицу с Князем. Испугался? Обезволил? Потом, потом когда-нибудь он разберется в этом. Сейчас он только слышал Лагутина, все голоса, которые шли от нее к нему, и ничего больше не умел слышать или понять.

За дверью, почти в лицо Анохину, громко и грязно выругался Князев. Да, он был здесь, он не ушел, он притаился. Да, Лагутина знала своего Князева много лучше, чем знал его Анохин.

И снова удаляющиеся, отходящие от двери шаги. Все дальше, дальше.

— Вот теперь он ушел, — чуть возвысив голос сказала Лагутина и быстро отошла от Анохина, точно испугалась или застыдилась своей к нему близости. Он увидел ее в пролете дверей, за спиной у нее светило блеклым лунным светом окно. Там, за окном, было холодно, там подвывал ветер, кружился снег, от самой земли до самой луны, должно быть, колкий, сухо-холодный, серый снег.

Анохину стало холодно, он почувствовал, что устал, страшно устал.

— Я пойду, — сказал он.

— Нет, погодите. Князев еще будет топтаться у дома. Он все равно не верит, что я ушла. Его не так-то легко обмануть. Вы его не знаете.

— Не знаю, не знаю.

Лагутина вошла в комнату, повеселевшим голосом позвала оттуда Анохина.

— Идите сюда, посидим.

Он послушно двинулся на ее голос.

— Вот сюда. Садитесь.— Она протянула ему в темноте руку и усадила рядом с собой. В темноте он не сумел сесть подальше от нее, как ему хотелось, как ему обязательно нужно было сделать. Он тяжело сел совсем рядом с ней, снова совсем рядом с ней.

— Зажгите свет,— сказал он.

— Нельзя. Князев сейчас смотрит с улицы на мои окна. Он хитрый.

— И долго он будет так хитрить?

— Подождем. А вы разве торопитесь? Кстати, зачем вы ко мне пришли?

— Я хотел...— Анохин почувствовал всю ненужность теперь какого-либо объяснения, зачем да почему он к ней пришел, и осекся, умолк.

— Ну? — повернулась к нему Лагутина.— Говорите!

Он молчал.

— Я бы могла понять ваш ко мне приход,— плавно, рассудительно заговорила Лагутина,— если бы вы, ну, скажем, хоть чуть-чуть увлеклись мной. Ведь этого же нет, правда?

— Чего?

Лагутина тихонько рассмеялась.

— Вот этого самого,— ласково проговорила она.

— Чего? — глухо переспросил он.

— Вот этого самого...— тихо повторила она.

И вот «это вот самое» снова пришло, прикоснулось к Анохину.

Смешно передвинув ноги, он отсел от Лагутиной. Это ничего не изменило. Она была рядом, все равно рядом, может быть, еще ближе, чем там, в углу. Ему нечем стало дышать, у него не было больше мыслей, не было больше воли. Он никогда не знал себя таким, он бы ни за что не поверил, что может стать таким.

Луна смотрела в окно щербато-хитрым своим профилем, жарко плавясь в глазах. От самой земли до самой луны, горячий и колкий, колкий и горячий вихрился мартовский снег.

Щербатый лик луны, подглядывающий и ухмыляющийся, вдруг пособил Анохину.

— Хотите знать, зачем я пришел? — смаргивая с глаз жаркую слепоту, спросил он, смело поглядев

на Лагутину. И стал ждать ее ответа, звука ее голоса.

— Что ж, говори,— безразлично отозвалась она. Безразлично и устало, голосом женщины, догадавшей-ся, понявшей, что «это» прошло.

— Я хотел сказать вам, что я думаю о Князеве, сказать при нем и при Витьке! — Анохин и сам удивился радостному звуку своего голоса. Прошло, прошло, он высвободился, он снова узнал самого себя!

— Какой еще Витька? — раздраженно спросила она.— Ах, этот ваш Витька! А чему, скажите, вы радуетесь? Чему ты радуешься, дурачок?

Анохин не обиделся. Он был счастлив. Он даже весело подмигнул щербатой луне: «Валяй, подглядывай!»

— Радуюсь, что вы не пустили к себе Князева! — сказал он мальчишески сорвавшимся голосом. И сам услышал этот петушиный голос и усмехнулся ему, как старому приятелю из добрых и легких мальчишеских лет.— Не пустили, значит, ничего у вас с ним не решено. Значит, вы еще...

— Ладно, молчи, паренек... — Насмешлив, презрительно-насмешлив, по-взрослому, по-бывалому насмешлив был голос Лагутиной.

Анохин упрямо наклонил голову.

— Значит, вы еще можете и передумать.

— А зачем? — она ладонью подтолкнула его подбородок, чтобы заглянуть ему в глаза. В лунной темноте хорошо видны были только глаза и особенно явственны были голоса, всякая нота в них. Еще был явствен ток, идущий от одного к другому. А видны были хорошо лишь глаза — темные, вздрагивающие на светлом выгнутое зрачки.

— Чтобы жить по-человечески,— сказал он, все еще слыша на подбородке ее жарко сухую ладонь, хотя она и убрала руку.

— Старая песня. По-человечески... А как это?.. Вы станете рассказывать мне сейчас всякие рассказы про красивую вашу жизнь, где любимое дело, где друзья, где мечты. И все, все сбывается. Ведь вы про это станете рассказывать?

— Про это,— сказал Анохин.— Где друзья, где мечты.

— И где лгут, хитрят, выгадывают, крадут — и про это?

— Нет, про это чего уж говорить. С этим не прожить целую жизнь, чтобы не жаль было, что жил. Вот вы боитесь всего, вздрагиваете на всякий стук, свет погасили, а ведь вы такая...

— Какая?

— Вы могли бы жить гордо, могли бы жить смело. У вас иногда вспыхивает такое в глазах. Вы, наверное, были когда-то смелой девчонкой, веселой. Правда?

— Кажется...

— А куда это все подевалось? Ну, куда?

— Я вам нравлюсь? — она придвинулась к нему. — Скажите честно, я вам нравлюсь.

— Нет.

Она застыла в своем движении к нему, неловко подняв ожидающее лицо. Глаза, ее глаза показались ему сейчас правдивыми, добрыми, печальными.

— Тогда зачем же вы опять пришли ко мне? После этого всего... Опять... Не агитировать же меня перед выборами. Ну, отвечайте!

— Агитировать перед выборами.

— Глупо! — она откинулась на спинку тахты, ее лицо укрылось в темноте. Ее голос зазвучал тихо, зло с издевкой: — Да я вам не верю, мальчик мой. Все это только слова, слова. — Она помолчала. — Ну, агитируйте. Ну, рассказывайте что-нибудь, объясняйте. Например, про будущее. Как через двадцать лет будет нам всем хорошо. Подумать только через двадцать лет! Я еще не совсем буду старухой. Милая такая, сидящая бабенка, которая при случае может и замуж выйти за овдовевшего старичка.

— Моя мать вот совсем недавно вышла замуж, — сказал Анохин, мучительно трудно выговорив слово за словом эту фразу: «Моя... мать... замуж...»

— Вот как?! — снова ее глаза придвинулись совсем близко, влажно блеснувшие сочувствием глаза. — Вы горюете? Ревнуете?

— Нет.

— Да что вы за человек такой? Никаких чувств! Ни увлечь вас нельзя, ни рассердить, ни огорчить. Послушайте, Миша, да ведь вы какой-то манекен из на-

шего ателье. Видели, такие розовощекие дурален в скверно сшитых костюмах?

— Видел.

— Ну, обидьтесь хоть на меня! Если не можете влюбиться, то хоть обидьтесь! Ведь я же вас гнала, высмеивала, обзывала. Сейчас же обидьтесь, вспылите, обругайте меня! Ну!

— Я только это и делаю.

— Что, что ты делаешь, паренек?

— Ругаю вас, даже оскорбляю, даже презираю.

И еще хуже — жалею.

— Ах, так ты меня жалеешь?! Бедная я, бедная, вот уж кто меня жалеть начал.

— Бедная вы, бедная... Зажгите свет, Нина.

— Нельзя!

— Тогда пойдемте на улицу, погуляем, зайдем в кино.

— Нельзя!

— Бедная вы, бедная.

— Ах вот ты про что... Да, я боюсь Князева. Угадал, угадал. Верно, с ним не пошутишь.

— А как же дальше?

— Не знаю... Пойду за него замуж...

— И все, и конец?

— И все. Мужняя жена... И все...

— Этого нельзя делать, Нина.

— Отстань, слышала. Хором поете, оглохла уже.

— Этого нельзя делать, Нина.

— А что, что мне тогда делать? — она качнулась к нему и цепко и зло сжала пальцами его плечи. — Он не отступится, ведь он не отступится, Мишенька! Я уж и так и сяк пробовала! Я даже убежать хотела от матери куда глаза глядят! А куда? Куда они глядят? — она уронила руки. — Поглядела-поглядела и осталась. Не к кому бежать-то, не с кем бежать-то...

— А с тем, кто написал возле вашей двери «Ненавижу!»? Не написал даже, а высек в стене. С ним бы вот и ушли. Ведь он любил вас.

— Глупый, ох, какой же ты глупый! — ее глаза по-доброму улыбнулись ему, пожалели и улыбнулись. А потом вдруг опечалились, померкли, зло приузились, что-то вспомнив, что-то недоброе, будущее гнев. — Так я же сама и написала это «Ненавижу!». Никого нет,

никого не было, никто меня не любил. Это я сама на них на всех и нацарапала на стене «Ненавижу!». Хотела тогда все поломать, все бросить, сбежать. Не вышло, Мишенька, не получилось. Отбежала на соседнюю улицу и остановилась. Как жить одной? На что жить? Что ты умеешь, мамина дочка в модном платочке?

— Так это вы сами, сами?.. Но если вы ненавидите, то значит...

— И ничего это не значит, милый мой мальчик.

— Нет, значит!

— Я запуталась, Миша... Поздно, теперь уж поздно...

— Не поздно!

— Ты, что ли, меня грудью от Князева отгородишь?

— Я!

— Как? В драку полезешь с моим женихом? Ведь он жених мне! Я сама, сама согласилась! — Она понурилась, сжав плечи, будто пригнутая книзу чьей-то тяжелой рукой, под которой ей уже не распрямиться.

— Нина, — сказал Анохин, — Нина, выходите за меня замуж. Нет, не по-настоящему, не замуж, когда любят, нет, совсем не так! — торопясь, путаясь в словах, он наклонялся к ней, дотрагивался до нее руками. — Вы выйдете за меня замуж только для того, чтобы я имел право, понимаете, имел право вступить за вас! Сейчас я никто для вас и никто для других, если стану защищать вас от Князева. «Почему?! Какое ты имеешь право?! Ты — посторонний человек!» А так, если бы мы, если бы вы...

Она вскинулась, готовая рассмеяться ему в лицо.

— Так ты что же, понарошке хочешь на мне жениться?

— Нет, всерьез, — сказал он поникшим голосом. — Всерьез для других. Не для нас, а для других... А вы, вы бы так и остались свободной... Просто мне бы легче тогда... Нам бы легче было...

— Уходи, — сказала она, поднимаясь. Сейчас она показалась ему высокой, гордо-прямой, гневно-неприступной. — Уходи! Эх ты, выручатель...

Он поднялся и побрел через темную комнату в темную прихожую. Кое-как в темноте нащупал замок,

чего-то сторожась, тихо отворил дверь и, все еще чего-то сторожась и ослепнув от света на лестнице, шатко зашагал по ступенькам.

Весна таилась, таилась и вышла вдруг из-за недалекого леса ярким, греющим, заслепившим снег солнцем. Может быть, на какой-нибудь час, но весна объявилась. А через час подует ветер с севера, найдут тучи, сникнет солнце, и все повернет опять к зиме. И будут еще морозы и снегопады. Но все же, все же весна объявилась. И в этот час солнца, тепла, талого ветра обязательно смелее думается и легче, охотнее принимаются серьезные решения. Они даже не кажутся такими уж серьезными — эти решения. Просто — надо действовать, пора действовать.

Валентина Ивановна Анохина в такой вот весенний час решила и стала укладывать вещи, чтобы ехать — и немедленно, сейчас же — на новое свое место жительства, к новому своему мужу.

Миша помогал матери укладываться, но получалось, что мешал. Она ничего не хотела брать с собой, она все хотела оставить ему, сыну. Ему все нужно — мебель, посуда, скатерть, шторы. Ей — ничего. Она укладывалась, как, бывало, перед поездкой на курорт. Накидала в чемодан платья, в другой чемодан обувь — и делу конец.

А сын сносил на середину комнаты все, что, полагал, будет нужно матери, что понадобится ей там, в неизвестном ему мире, где она собиралась теперь поселиться. Он приносил посуду из кухни, мать уносила ее обратно. Он начинал было увязывать по двое стулья, мать, выждав, когда он отвернется, распутывала узлы и снова ставила стулья по местам. Эта их суетня вокруг каждой вещи была бы забавной, если бы не тягостное молчание, в котором все это происходило, если бы не вымученные улыбки, которые не сходили с их лиц. И мать и сын считали, что им следует сейчас улыбаться, а улыбаться сейчас им было трудно. Трудно было и говорить, трудно было и молчать. И чтобы не молчать, они обменивались какими-то самыми пустячными фразами, как на вокзале порой, хотя впереди долгая разлука.

И только когда раздался дверной звонок и мать сказала, тревожно выпрямившись: «Это он, Миша! Это за мной!» — только тогда они спохватились и торопливо заговорили о самом главном друг для друга, заговорили на ходу, подвигаясь к двери, за которой стоял и ждал «он!». Так говорят расстающиеся люди, когда трогаются вагоны.

— Я буду часто, часто бывать у тебя, а ты у нас. Обещай!

— У вас?.. Не знаю...

— Он хороший, ты его полюбишь.

— Я постараюсь, мама.

— Но ведь ты меня не осуждаешь, ты же понял меня?

— Ты делаешь все правильно, мама.

— Ведь ты взрослый, ведь ты уже взрослый. Я теперь тебе и не нужна вовсе. Правда?

Как ни медленно они шли, а вот уже и стоят у двери. Михаил протянул руку, отомкнул замок.

Высокий худощавый человек, явно трудно для себя слишком уж выпрямившийся, широко шагнул через порог навстречу Анохину. Это был пожилой человек, седой, с резко пролеглими по худому лицу морщинами.

«Старик! — подумалось Анохину. — Неужели и мой отец был бы сейчас таким же?»

«Старик», улыбаясь, протягивал Анохину руку. Улыбка у него была хорошей, доброй, пожалуй, чуть насмешливой, но насмешка эта была обращена к себе. Глаза у «старика» светились тревогой, они даже робели чего-то. Седой, непривычно для себя повыпрямившийся, с тревожными глазами и доброй улыбкой, человек этот не то чтобы понравился Анохину — такое чувство не могло сейчас прийти к нему, — но как-то помирил его с собой. Смешно, что им понадобилось знакомиться друг с другом, как знакомятся при случайной встрече:

— Андрей Владимирович Лукин.

— Михаил Анохин.

Их рукопожатие все еще длилось, а что говорить дальше друг другу, они не знали. Михаил оглянулся на мать, надеясь, что она его выручит. И Лукин перевел на нее взгляд, надеясь, что она его выручит. Но ей

было самой так худо сейчас, так странно, так больно, что она только вздрогнула под этими ждущими взглядами, даже не успев вернуть на лицо свою натужно оживленную улыбку, с которой, позабывшись, на минуту рассталась.

Анохину почудилось, мать в чем-то укоряет его, чего-то ждет от него. Он понял, надо что-то сказать, кому-нибудь из них заговорить первому и сразу что-то сказать такое, чтобы всем троем стало легче, стало проще.

Мать молчала, седой, еще минуту назад неведомый Анохину человек, который пришел сюда за его матерью, тоже молчал. А надо было, чтобы кто-нибудь заговорил, обязательно заговорил и сказал сразу что-то очень всем троем нужное. Анохину почудилось, мать ждет этих слов от него. Вот и снова что-то следовало ему сделать, что-то понять, в чем-то помочь. Он — взрослый, он — сильный, от него ждут помощи, и теперь не сторонние люди, а самые близкие — мать и человек, которого она полюбила. В их жизни он смеет, он может быть участником, может быть советчиком, их судьей даже, их другом или недругом. Все теперь зависит от его разума. Они ждут его слов, им бесконечно важно, что он скажет. Хорошо, он скажет:

— Желаю вам...— Анохин изумленно прислушался к прозвучавшему внутри него слову. Сказать? Решиться проговорить его вслух? Решиться сказать это слово, веря, что не сострадание побуждает его на это, не жалость к матери? Решиться сказать это слово, веря, что оно не прозвучит как предательство памяти отца? Анохин еще и еще раз вслушивался в найденное им слово.

— Желаю вам...— тихо повторил он и твердо и явно произнес: — Счастья.

Мать уехала. Такси, в котором она уехала вместе со своим мужем (этот человек ее муж!), ненадолго задержалось у дальнего светофора в самом устье новой улицы. Много машин встало возле красного огонька, но Миша Анохин видел только одну. Он запомнил

исмер этой машины, примятое лицо ее радиатора, выдавшего виды и обиды, и тусклые глаза ее пожилого водителя, которому было все равно, кого он увозит, побыстрей бы только закруглялись, ибо «план есть план».

Сгас красный огонек и вспыхнул желтый. И тронулись, не дожидаясь зеленого огонька, машины. Робко, но тронулись. А когда вспыхнул зеленый, то машины просто рванулись вперед и тотчас, всей стаей, сгинули за углом.

Мать уехала... Анохин постоял еще недолго, глядя на устье далекой улицы, ход которой за поворотом можно было проследить по крышам обступивших ее домов,— таких же новых и больших, как и его собственный дом,— и повернулся, чтобы идти... Куда? Нынче был у него выходной день, свободный день. Да, уж такой свободный, что и не понять даже, как ему нынче обойтись с этой вдруг обретенной свободой.

Мать уехала... Это неверно, что человек может стать таким взрослым, что ему не нужна окажется мать. Ее может и не быть рядом, но знать, что она есть, что к ней можно приехать, ей можно написать или просто только подумать о ней,— это очень важно, очень нужно любому человеку, каким бы взрослым он ни сделался. Да и что такое взрослый? Про себя никак не понять, что это такое. Больше стало прав, в большем стал сам себе хозяин — это? Да, конечно. Но вот уверенности в своих силах от этого что-то не прибавляется. Когда был мальчишкой, верилось в себя, пожалуй, куда больше. И жилось куда легче, смелее. Правда, потому и смелее, что жилось тебе легче. С мальчишки не велик и спрос. Вот-вот — спрос. Дело, стало быть, в этом, в спросе с тебя со взрослою: ты — можешь, ты — обязан, ты — поймешь, ибо ты — взрослый. Большая ноша на плечи — вот что такое взрослый. Не сам по себе, а еще и для других — вот что такое взрослый. Но мать все равно нужна, всегда нужна. Пусть не рядом, но нужна. Советом? Нет, не в совете дело. Помощью? Нет, и не в помощи дело. Мать нужна тебе самым сознанием, что она есть, что ты дорог ей, что она думает о тебе. Это очень важно любому человеку, каким бы взрослым и сильным и установившимся в жизни он ни был.

«Желаю тебе счастья, мама... Желаю вам счастья...»

А рядом с этими мыслями жила, ни на минуту не оставляя его, мысль-боль, мысль-досада, от которой все время хотелось поморщиться или даже вобрать голову в плечи, а еще лучше вскрикнуть, замотав головой. И изо всех сил зажмуриться, чтобы не видеть, не видеть где-то в самой глубине собственных глаз все то, что стряслось с ним вчера вечером. «Нина, выходите за меня замуж...» Как же он такое ляпнул?! Как же это он до такого додумался — чертов дуралей, чертов чудак?!

Сам не замечая этого, Анохин уже давно широко шагал по первой попавшейся под ноги дороге, даже не шагал, а рывками толкал себя вперед, сильно наклоняясь, судорожно взмахивая руками. Этак легче было отмахиваться, будто убегая, от изводивших его мыслей, этак можно было и зажмуриться, чтобы выгнать из глаз вчерашнее. Рвавшийся с пустыря ветер, вовсе не шуточный, напополам с сохлым снегом, бил в лицо, помогая отмахнуться, зажмуриться, позабыть. И куда-то вдруг подевалась весна со своим молодым дыханием, и разом сникло солнце и посерело небо. Вот он и подул, ветер с севера, вот и нашли тучи, вот и повернуло все опять к зиме. А мать уехала, а ты наговорил вчера такое, что нечем теперь дышать от стыда и боли, и тебе сейчас трудно и сложно, как никогда в жизни. А мать уехала...

Куда идти? К кому? Остановился, протер, не снимая, очки и обрадовался, как заплутавший путник, случайно выбредший к сторожке лесника. К теплу, ключам Сослепу, а все же прибрел куда надо. Сейчас он распахнет дверь, потом еще одну и увидит Реню и полки, полки с ее книгами, и услышит тишину и тепло этого доброго, умноглазого Рениного убежища.

Но по пути к Рене надо было пройти через агитпункт, где на столе стопкой лежали тетради по учету работы агитаторов, взывая своим аккуратным видом к аккуратности и тех, кому надлежало вписывать в эти

тетрадки краткие баллады о своих агитационных делах.

Несмотря на ранний час, здесь сегодня уже собралось человек десять агитаторов. Пристроившись у длинного стола, они с ученическим рвением что-то вписывали в свои тетради. Советовались, перешептывались, как ученики на контрольной, заглядывали в то, что пишет сосед, и писали, писали.

А в углу, за маленьким столиком, очень похожим на учительский, строго восседала весьма знакомая Анохину Лидия Петровна Забелина, их главный администратор и секретарь партбюро — та самая Лидия Петровна Забелина, член партии с 1941 года, кавалер трех боевых орденов, которая вместе с директором их кинотеатра дала Анохину рекомендацию в кандидаты партии. У Забелиной был громкий, начальственный голос, за который ее прозвали генеральшей. Рассказывали, что она и вправду вдова генерала. Рассказывали, что со своим будущим мужем она познакомилась, когда выносила его, тяжело раненного, с переднего края.

Забелину любили, чуть побаивались за крутой будто нрав, за манеру громко, по-военному пробирать и любили, угадывая в ней доброго, душевного человека. У нее было удивительное одно свойство, очень располагавшее к ней Анохина: не слишком-то грамотная, она с поразительной точностью, изнутри, по самому высокому счету честности умела оценить фильмы, которые доводилось ей смотреть. И Анохин был рад, что их оценки почти всегда совпадали.

«Баллада о солдате», Миша,— как-то сказала она Анохину,— это не картина, это сама жизнь наша — моя, отца твоего,— когда мы были такими, как ты вот сейчас... «Чистое небо»?.. Вот, Миша, тот же режиссер, а что-то не то, не то. Я на этой картине и отдохнуть могу, поплакать там, посмеяться. А вот на «Балладе о солдате» я не плакала. Слезы высохли...».

— Анохин! Наконец-то! Садись к столу и записывай, что делал все эти дни! — Забелина властным движением руки протянула Анохину тетрадь.— Это что еще за порядки, написал три строчки, и все. Так даже и написать изволил: «Вот и все...» Мы — головная организация, нам надо пример показывать, а не от-

писываться. Пиши, что делал, какие провел беседы. Да поподробнее.

Анохин покорно взял тетрадь — попробуй не взять ее, когда тебе так властно ее протягивают, — и побрел к столу. Сел, полистал страницы, нашел единственную свою запись и задумался. О чем писать? С тех пор как побывал он у Лагутиной, и «проверил ее по списку», и установил, что «все правильно», — с тех пор прошло не так уж много дней, совсем даже мало дней, но случилось очень много всего, столько всего, что кажется, прошел месяц, или, может быть, год. О чем писать ему на этой страничке в клеточку? Как отчитаться в своей работе агитатора, коммуниста? Что, собственно, он сделал за эти странно тяжкие для него, бесконечно емкие, удивительно памятные в каждом слове дни? Пожалуй, он ничего не сумел. Столкнулся с трудным в жизни, со сложным и ничего не смог сделать, никому не смог помочь или, наоборот, помешать. О чем же он станет сейчас записывать в тетрадку? Не о том ли, что, не умея помочь и желая помочь, предложил одной из агитируемых им выйти за него замуж? Нелепая, жалкая история, от которой вот и сейчас, едва вспомнилось все, жарким стыдом заволокло глаза. О чем же писать? Может быть, о своей беспомощности? О своем, оказывается, бесправии вмешаться в чужую жизнь? Даже в жизнь товарища по работе. О том, что ты — сторонний человек для каждого, пока не грянула беда и уже и стороннему человеку можно и должно вмешаться. Или написать о том, что поселился по соседству с их домами, с их новыми домами, некто из старого мира и что человек этот страшен и опасен, хотя и не нарушил ни единого закона, хотя и ласков и предупредителен, весел и услужлив? Друг для каждого, кто бы не пожелал с ним дружить, и враг для каждого, кто пойдет на эту дружбу. Нет, и про это не написать. Все это еще требует доказательства, еще лишь дань собственному чувству неприязни, и под всякой такой записью любой может написать свое «Почему?» и «Откуда вы взяли?».

Совсем как на экзамене, когда зашиваешься, Анохин пододвинулся к своему соседу и прочел то, о чем тот пишет. Быстро, небрежно летели буквы по клеткам ученической тетради, с ученическим бездумием слагая

быстрые, привычные слова о доблестных агитационных делах, которые будто бы свершил на этих днях пишущий. В квартире такой-то он побеседовал о моральном кодексе коммунизма. В квартире такой-то рассказал о решениях XXII съезда партии. Еще в одной квартире поделился с избирателями своими думами о всеобщем разоружении. Правда? Могли ли быть эти беседы? Да, конечно. Но вот что говорилось в них? Как увязывал агитатор то, о чем говорил, с судьбой тех людей, с которыми вел свой разговор? И почему с одними заговорил он о моральном кодексе, а с другими о решениях съезда? И что сказал, как сказал? Вот о чем должен был писать в своей тетрадке агитатор, писать; не быстро и бездумно слагая слова, а всерьез задумавшись, взвешивая каждую мысль. Речь шла о людях, речь шла о таких встречах с людьми, когда весомо любое твое слово.

Анохин хорошо знал дом и квартиры, упоминавшиеся агитатором. Это был дом, где Анохин жил, это были квартиры его соседей и его собственная. Вот в этой, где, если верить записям, была проведена беседа о моральном кодексе коммунизма, жила всего одна старушка. Ее дочь и зять вот уже год как находились в Индии, строили там металлургический комбинат. Что же за беседу провел с подглуховатой старушкой агитатор? И почему именно о моральном кодексе коммунизма? Да и достучался ли он до нее — этот говорун?

Анохин заглянул в лицо продолжавшего бойко писать соседа. Человек лет под сорок, бровастый, с живыми глазами, весело отозвался на его взгляд. Человек этот даже подмигнул Анохину, явно довольный собой, тем, как складно и быстро ложатся сейчас под его рукой слова.

— А вы не врете? — спросил Анохин, и в тишине комнаты так вышло, что голос его прозвучал разоблачительно громко. Так громко, что все пишущие оторвались от своего дела и повернулись к Анохину.

— То есть, в каком смысле? — спросил бровастый, радостно готовясь услышать от Анохина какую-нибудь шутку.

— Вот вы тут пишете о своих беседах, — сказал Анохин. — И то сделал и это. А мне кажется, вы все врете. Я знаю этот дом, это мой дом. Я знаю всех,

о ком вы тут пишете. И все ваши беседы как-то не выпадают. Глухой старухе вы рассказываете о моральном кодексе коммунизма. Профессору Аронину, который, кстати сказать, сам руководит агитколлективом, разъясняете решения XXII съезда партии. Или вот в квартире восемнадцать вы беседовали о разоружении. С кем? Там живу я с матерью и еще один железнодорожник, которого почти никогда не бывает дома. Послушайте, ведь вы у нас вообще ни разу не были. У тех-то, у других, вы хоть были?

— Ах, вот оно что?! — Несколько смутившись, бровастый принялся что-то деловито вымарывать в своих записях. — Да, признаюсь, про вашу квартиру я малость перестарался.

— А про другие? — со смешком спросил кто-то из агитаторов.

— Товарищи, товарищи! — слышался властный голос Забелиной. — Это что еще за споры такие?

— Надо писать правду, Лидия Петровна, — сказал Анохин. — Если уж записывать про то, что сказал да куда пошел агитатор, то писать об этом надо только правду. Иначе теряется всякий смысл таких записей. Иначе это обман. Обман партии, обман народа.

— Ну-ну-ну! К чему столь громкие слова? — с искренним удивлением разглядывая Анохина, миролюбиво, но и не без превосходства сказал бровастый. — Молодой человек явно усложняет.

— Нет, я не усложняю. — Анохин поднялся и отошел от своего разбитного соседа. Тот, того и гляди, похлопал бы Анохина по плечу. — Я говорю о том, что нельзя лгать перед партией. Себе дороже.

— Как, как?

— Коммунист, который лжет партии, не может не знать, что он подлец. Себе дороже.

— Так я, стало быть по-вашему?.. — бровастый вскочил, гневно бережливым движением засовывая в карман пиджака свою бойкую авторучку. Он оказался и статным и видным, какой-нибудь многокультурный деятель. И даже гневался он как-то представительно, все время памятуя о благородстве позы и жеста. Ну просто жаль было до слез, что такой вот видный дядя зачем-то врет, хитрит, попусту взмахивает руками. — Нет, давайте-ка, давайте-ка, разберемся. —

Бровастый явно не собирался сдаваться.— Хорошо согласен, я несколько переусердствовал в своих записях. Ну, а вы, молодой человек? Вы-то что же написали, что же свершили? Прошу, поделитесь опытом, поучите.

— Ничего я не написал,— сказал Анохин, все более дивясь бойкости и этакой благородной разгневанности только лишь уличенного во лжи человека. Ему бы помолчать да подумать над подлостью и жалкостью своего поступка. Куда там, он вот уже и сам обвиняет:

— Ага, не написали! Почему? Стало быть, не работали? Других поучаете, а сами не работаете?

— Не написал, потому что не знаю, что писать,— сказал Анохин, внезапно теряя всякий интерес к бровастому.— Да и не уверен, нужны ли нам все эти записи, товарищи.— Анохин оглянулся на Забелину, на слушавших его агитаторов.

— Ах вот что, и записи даже не нужны?! — возликовал за его спиной бровастый.— А что же вы тогда предлагаете, уважаемый?!

— Предлагаю работать,— не оглядываясь, сказал Анохин.— Кто как умеет. Но только честно, всегда честно, никогда не забывая, что это партия послала тебя к людям.

— Прекрасно! Партия!.. Люди!.. Звучит прекрасно! А как все же узнать, что за работу вы там ведете с людьми от имени партии?

— Да, Анохин, как? — спросила Забелина.

«Как?! Неужели надо рассказывать? Обо всем сейчас им рассказывать? И этому вот любителю приврать тоже? А может быть, слукавить? Может быть, назвать свои встречи с Лагутиной беседами? Ну, скажем, о моральном кодексе коммунизма. А? Или вот свои споры с Лебедевым объявить беседами о Программе партии? Или Витькина тяга к деньгам... Или вот Князев... Борьба с пережитками, с частнособственническими инстинктами, беседа о... Нет, нельзя так! Не могу так!»

— Отвечай же, Анохин, отвечай!

— Узнается,— сказал Анохин.— По людям узнается, с которыми мы работали. Не я, не он, а мы все. По их лицам. По их голосам, когда они придут на выборы. По их улыбкам. По тому, как поздороваются они с каж-

дым из нас у входа на избирательный участок. Тут все очень просто.

— Нет, а мне кажется, что вы напускаете туману! — сказал за спиной бровастый. В голосе его прозвучала откровенная жалость к Анохину: мол, что с ним толковать, запутался парень.

— А ты не усложняешь, Анохин? — несколько опешив, спросила Забелина.

— Тут все очень просто.

— Так что же тогда, по-вашему, агитатор? — громко спросил бровастый, явно запамятавав о том, что только лишь был уличен во лжи. — Некий, так сказать, приятель агитируемого?

— Хорошо бы.

— Может быть, ходатай по ремонтным делам? Составитель заявлений и прошений?

— Если надо, то и ходатай и составитель.

— Стало быть, служащий?

— Да если надо, да! Пусть служащий, но только не болтающий. И не лгущий! Чего уж хуже.

— А вы, вы сами? Все ли у вас так замечательно?

— Нет, куда там! — вырвалось у Анохина.

«А ты?.. А сам?..» Ему вдруг так стало не по себе, словно его самого уличили во лжи. «А ты?.. А сам?..»

Прав ли был Анохин, нет ли, убедил ли он в чем своих товарищей или нет, но как бы там ни было, а все они отложили свои ученические тетрадки и, прихватив разные там пригласительные билеты и плакаты, быстро разошлись, кто куда. Может быть, проводить беседы, может быть, всего лишь наклеить в подъездах фотографии кандидата в депутаты, а может быть, просто походить от дома к дому, приглядываясь к встречным людям, имя которым ныне — избиратели, приглядываясь и спрашивая себя: «А кто же ты для них, товарищ агитатор?..»

Бровастый покидал место своего позорища не спеша, все еще продолжая делать вид, что ничего, собственно, не случилось. Но у порога его остановил и даже заставил вздрогнуть генеральский голос Забелиной:

— А вас, Дмитрий Сергеевич, прошу учесть на будущее! Нехорошо! Стыдно!

Бровастый жалко как-то мотнул-кивнул головой и,

забыв на сей миг о своей осанке, сутуло шмыгнул за дверь.

— А с тобой, Михаил, мы еще потолкуем! — одарила Анохина тем же генеральским голосом Забелина. — Чтобы сегодня же во всех квартирах были биографии кандидата! — Она тоже направилась к выходу. — Потолкуем, крестник, потолкуем...

С силой, как от мужской руки, прихлопнулась за ней дверь.

Вот он и остался один, и ничто более не преграждало ему путь к Рене, в ее добрый, тихий, книжный мир.

21

— А мы все слышали! — радостно встретила Анохина Реня, едва он переступил порог библиотеки. — Вы вели себя молодцом, Миша!

«Мы» — это были она, Любовь Григорьевна и Семен Иванович, который, видно, был вызван сюда в качестве «грубой мужской силы».

На столе, на стульях и просто на полу внавал лежали книги, сотни книг, покинувшие на время свои привычные места. Смешавшись, сгрудившись, соседствуя друг с другом, кому как повезло, книги эти были похожи сейчас на новобранцев во дворе военкомата, когда еще не ясно, кому где выпадет служить — на флоте ли, или в авиации, или вообще нигде по слабости здоровья, и когда тревожно и зябко даже от неведения своей судьбы.

— Перерегистрация! — пояснила Реня, встретив недоумевающий взгляд Анохина. — А точнее, очередной экзамен на жизнестойкость или, еще точнее, на жизненнадобность. Трудное это дело, но необходимое. Ведь иная книга на полке лежит, а иная прячется. А ну-ка, милая, скажи, много ли людей прочло тебя за целых двенадцать месяцев? — Реня наугад взяла с пола какую-то совсем новенькую по виду книжку. — Ни одного? И годом раньше ни одного? Со дня твоего рождения ни единого читателя, ни единого у тебя собеседника? Так зачем же ты место в строю занимаешь? Зачем же теснишь других?

Высоко закинув голову движением чуть ли не гневным и неся злополучную книгу в далеко отстраненной

от себя руке, Реня прошла с ней в самый дальний угол библиотеки. Анохин знал: там, на двух полках у самого потолка, до которых и с лестницей не всякий дотянется, грудились Ренины недруги — «книжки-недоумки», «книжки-пролазы», «книжки-демагоги», «книжки-подхалимы», словом, «книжки-однодневки». Добрая, отзывчивая, кроткая Реня была с такими книжками попросту беспощадна. И тут уж даже Любовь Григорьевна ничего не могла с нею поделать.

— А что, Миша, не худо бы и с людьми время от времени подобные экзамены проводить, не правда ли? — Семен Иванович, маленький, седенький, в длинном до пят синем халате, этаким мудрым гномом копошился в груде книг. — А ну-ка, скажи, мол, дядя, много ли пользы от тебя вышло людям за последние год-два твоей высокооплачиваемой жизни? А, Мишенька?

— Не худо бы, — сказал Анохин. Он устало сел на высокий табурет-лестницу и сгорбился, нахохлился, тяжело над чем-то задумавшись.

Экзамены! Экзамены! — недовольно возвысила голос Любовь Григорьевна. — Все бы вам взыскивать с человека!

— Нельзя иначе, Люба. — Семен Иванович вдруг что-то очень уж опечалился. — Человек — это движение, это непрестанное совершенствование. Иначе застой или, говоря проще, старость.

— И старься и, милости прошу, старься.

— Уже, уже, Любочка! — Семен Иванович разительно стал сейчас похож на Чаплина из старых картин: деланная улыбочка, препечальные глаза. — Разве я не знаю, что старюсь? Знаю! И не в зеркало это вижу и не сердцем ощущаю, а норовом. Потихал, Любочка, вот беда.

— Ты что это, Семен? Ты о чем это? — Любовь Григорьевна стремительно подошла к мужу, так запамятовав, что наступила даже на какую-то книгу. — Вот что, долой халат — и на воздух! Ох уж эта книжная пыль!

— Воздух, конечно, целебная штука, Любовь Григорьевна, что и говорить. Но...

— Вон, вон на воздух!

— Но... старость копится в нас не в легких и не в сосудах, а где-то там еще, где-то там еще...

— Семен, опомнись, что за жалкие слова!

— Сейчас, сейчас, Любочка, сейчас это пройдет.

Семен Иванович выбрался из груды книг, которые, как песок зыбучий, почти завлекли его в свои недра, и твердым шагом, четко переставляя ножки в сапожках, подошел к Анохину.

— Ведь вот в чем дело, Миша... Старость и жизненная робость — это, боюсь, одно и то же. Ведь вот в чем дело, Миша... Этак вот, как вы только что разговаривали на агитпункте, я бы заговорить не решился. Вот в чем дело...

Анохин встрепенулся:

— Вы считаете, что я?..

— Нет, не считаю! — старик сердито взмахнул кулачками. — Нет, не считаю! Вы вели себя запальчиво, неосмотрительно, обнаруживая свою незащищенность даже там, где вы правы. Вы нажили врага и, боюсь, не приобрели друзей. Но вы вели себя молодо, смело, честно. Я позавидовал вам! Браня за прямолинейность, потешаясь над беспомощностью вашей, я позавидовал вам, Миша.

— Значит?..

— Нет, не значит! — Семен Иванович, чего уж никак не ожидал Анохин, принялся на него кричать: — Уразумейте же, наконец, что в жизни есть не только прямые дороги, а есть и обходы, а необходима и гибкость! Вам бы посмеяться над этим лгуном, будто походя, будто невзначай, — вы бы большего достигли. И главное, не вызвали бы огня на себя. А теперь с вами начнут беседовать, а теперь под вас начнут подкапываться, и вот уже вы и не славный и не примерный. Эх, Миша!

— Так чему же тогда вы позавидовали, Семен Иванович?! — громко и негодуя спросила Реня из своего дальнего угла. Она стояла на лестнице, на самой верхней ступеньке, под самым потолком. Не очень-то ловкая и на полу, она сейчас забыла об осторожности, в полступни стоя на узенькой дощечке. И это шло ей, это возвращало ее к молодости, которую она так убийственно кутала в свои мешковатые одежды, это помогло разглядеть в ней молодо иную, неожиданную даже для близких ее друзей женщину.

— Реня! Реня! — испугавшись ли за нее или изу-

мившись ей, вскрикнула Любовь Григорьевна.— Какая же вы...

Старик затих. Высоко закинув голову, он долгим взглядом уставился на Реню.

— Чему же?! — повторила она.

— А тому, должно быть, Реня, что я уж так вот не сумел бы...— Старик опустил голову.— Ни как он, ни как вы...

— Пойми тебя! — печально сказала Любовь Григорьевна. Случайно глянув под ноги, она с ужасом заметила, что стоит на книге. И так этому огорчилась, что даже слезы выкатились на ее румяные, жестковатые щеки.

Семен Иванович кинулся поднимать книжку, смешно взмахнув руками. А Реня, вдруг испугавшись, стала неуклюже спускаться с лестницы. Какая-то большая минута для них всех прошла. За эту минуту многое увиделось, многое лучше было понято. Эта минута их сблизила, помирила.

Вдруг распахнулась дверь. Запыхавшаяся, с бледным личиком под смешливыми, все равно смешливыми дужками бровей, встала на пороге ладно-маленькая, тревожно наклоненная Аня.

— Миша, вот вы где! Витька пропал! Запил и пропал! Пойдемте!

Она повернулась на одной ножке, смешно, как в танце, и побежала через читальню, не оглядываясь, уверенная, что Анохин пойдет за ней.

И он пошел.

— Я с вами! — кинулась следом Реня.— Я помогу вам!

## 22

Пропал Витька! Накануне, как ушел с Князевым, так домой и не возвращался. Этого с ним раньше не случалось. Он, бывало, и поздно приходил, но чтобы вовсе не ночевать — этого не случалось. Витькин дед обегал сейчас все поблизости места, где бы мог оказаться Витька. Побывал и у него на работе, заглянул в кафе к Аняте, вдвоем уже пошли к Анохину. И вот, наконец, отыскался хоть Анохин. Где Витька? Куда он мог запропасть? Миша, вы должны помочь нам его найти!..

Слушая сбивчивый этот рассказ Анюты, пока шли они к выходу, Анохин несколько раз оглядывался на поспешавшую за ними Реню. Когда уже в подъезде она нагнала их, он не удержался и, напоминая, шепнул ей, не очень-то весело улыбнувшись:

— Ты должен, должен, должен...

Она глянула на него залучившимися глазами.

— Я с вами!

— Зачем?

— Я с вами!

Дед ждал их в палисадничке у выхода. Сидел на запорошенной снегом скамье и покуривал, словно отдохнуть сюда зашел. Увидев Анохина, он не спеша поднялся.

— Вот, стало быть, дела-то какие, Миша. Ума не приложу.

— А у Князева вы были? — спросил Анохин. — В будку его заглядывали?

— В будку-то?.. Нет, не заглядывал.

— Напрасно. Туда раньше всего надо было идти.

— Думаешь? — дед нерешительно оглянулся на пустырь.

Только малая его частица видна была отсюда. Но и этой частицы в несколько ржаво намокших снегом бугров было довольно, чтобы вымарать, запятнать всю широкую и ясную картину нового людского поселения.

— Ну, конечно же, Витька там! — рванулась вперед Анюта. — Побежали!

— Думаешь? — дед вяловато затоптался на месте, только делая вид, что собирается пускаться в путь. — И верно, должно там и сидят. Пьют небось.

— Яков Ефремыч, пойдемте же! — схватила его за рукав Анюта. — Чего же вы?!

— А я и иду, иду. — Яков Ефремович, как ни тащила его Анюта, продолжал топтаться на месте. — Там, там они, где же еще. Только вот бежать мне трудно. Вы бегите, а я за вами, за вами.

Похоже было, что старик и сам знал, где следует искать его внука, знал, но вот отчего-то туда не шел. Боялся? Князева боялся? Анохин так прямо его об этом и спросил:

— Вы что же, Яков Ефремович, Князева боитесь?

А старик так прямо ему и ответил:

— Боюсь, Миша. Всяко боюсь. И вытолкает вза-  
шей старика и обругает хуже не придумаешь.— Он го-  
рестно поник головой.— Я ведь ему не судья. Я сам  
пьяница...— Сгорбившись, наперед уже сжавшись, на-  
перед уже готовый на всяческие поношения, старик  
робко побрел по направлению к пустырю.

Анюта сразу же обогнала его. Она побежала, сре-  
зая площадь, по снежной целине. Мартовский наст  
сдержал ее. А Анохин, когда сунулся в снег, прова-  
лился по колено.

— Анюта, стой!

Но где там! Она, точно на лыжах с горы, засколь-  
зила по насту. Головка запрокинута, руки выброшены  
вперед, пальцы побелело стиснуты в кулачки. Угроза!

Анохин что есть сил побежал в обход площади по  
утопанной тропе, по той самой, по которой он уже  
однажды шел к пустырю, ведомый туда Князевым.

— Не ходите! — крикнул Анохин Рене.— Вам туда  
незачем!

Но и Реня побежала следом за всеми. Самоотвер-  
женно и неумело. Пальто на ней сразу распахнулось,  
волосы растрепались, дыхание прервалось. И все же  
она бежала, бежала, испуганно и лучисто глядя на  
мелькавшую под ногами дорогу, словно только вот  
сейчас довелось ей в первый раз в жизни так вот куда-  
то бежать.

Князевская будка с тупорылой братией чурбанов  
в кепках, разительно напоминающих щеголеватых  
бандюг, попрятавших куда-то свои глазки-сверла, и со  
стенами, уклеенными, словно в назидание этим чурба-  
нам, всякими страстями-мордастями, встала перед  
Анюткой и Анохиным, как каменная высоченная стена.  
Пройти, пробить эту стену было делом не легким  
и не безопасным. За дверью сидел Князев. Наверняка  
пьяный, люто-злой, кажется, сполна уже исчерпавший  
свой запас шуточек да улыбочек. Теперь все пойдет,  
как и должно у них с Князевым, пойдет в открытую.  
Что ж, тем лучше!

Не раздумывая, Анохин рванул на себя дверь.  
Она не отворилась, она была замкнута. Анохин сильно  
постучал. Никакого ответа. Тогда забарабанила свои-

ми кулачками Анюта. Изю всех сил принялась коло-  
тить она тяжеленную, забранную в железо дверь. Ко-  
лотила руками, пинала ногами — никакого ответа.

Подбежала Реня, чуть не падая от усталости, при-  
валилась к двери и тоже стукнула в нее кулаком. При-  
слушалась, опалив щеку железной изморозью.

— Там кто-то есть!

И снова, уже все разом, принялись молотить  
в дверь. Никакого ответа.

— Я слышала, там кто-то есть! — возбужденно ска-  
зала Реня. — Просто они прячутся! Они испугались!

— Князев-то? — усомнился, подходя к будке, Яков  
Ефремович. — Нет, он бы отозвался. Он не такой.

Анохин тоже подумал: «Он бы отозвался!..»

Подпрыгнув, Анохин повис на перекладине заре-  
шеченного оконца и заглянул в будку. Электрического  
света там не было, но и дневного хватило, чтобы раз-  
глядеть лежавшего в углу человека, с подсунутыми по-  
ребячьи к лицу коленками.

— Витька! Там Витька! — Анохин забарабанил по  
стеклу, ушибая пальцы о решетку.

Витька пошевелился, раскинув руки, вывернулся  
на спину, и снова замер-заснул, больно изогнув тон-  
кую шею.

— Витя! — сорвавшимся голосом позвал Анохин,  
страшно пугаясь этой Витькиной подвернутой, залом-  
ленной будто шеи.

Маленькая Анюта, неведомо как, тоже ухватила-  
сь за перекладину окна.

— Витенька! — вскрикнула она. Сил ей больше  
не хватило, и она упала на землю, жалким клубочком  
покатившись с обледенелого бугра. Но тотчас вскочила  
и снова кинулась к будке, и если бы не Яков Ефремо-  
вич, преградивший ей дорогу, она бы всю себя удари-  
ла об этот железный ящик, намертво вмерзший в зем-  
лю. Ударила бы, чтобы своротить его, разбить его,  
потому что там был Витька, которому было там худо.  
Смешной рыжий Витька, нахальный, хвастливый дура-  
лей Витька, которому там было совсем худо.

Все дальнейшее происходило, как в старом фильме,  
где все свершается много быстрее, чем обычно, когда  
кажется, что людей в этом фильме застигло землетря-  
сение. А может, так оно и случилось на самом деле,

может, и верно, что на пустыре возле будки с вывеской «КЕПИ» грянуло сейчас землетрясение?

Как бы там ни было, но вот уже Анохин и дед выворотили какой-то железной дверь, вот уже ворвались все четверо в будку, вот уже подхватили, вынесли, вырвали Витьку из ее темного смрадного нутра на свет, на воздух, на люди.

От домов, что поблизости, потянулся к пустырю народ. День ясный, выглянуло, как нарочно, засветило опять на весенний лад солнце, а тут такое творится! И вот жители этих мест, этих новых мест, и потянулись к пустырю, чтобы дознаться, что же такое стряслось в их микрорайоне, в этом для многих главном их месте на земле.

Витьку уже несли не вчетвером, а целой толпой. Он никак не мог прийти в себя, очнуться. Он был пьян, тяжело, безнадежно пьян. Он только мычал что-то, слепо тараща глаза. И был он до горя-горького жалок.

Анюта крепилась, крепилась и вдруг громко всхлипнула, выкрикнув с плачем душившие ее слова:

— Ненавижу! Ненавижу тебя такого! Забудь теперь и дорогу ко мне! Выгоню! Все равно выгоню!

Она кричала на него и плакала, заглядывая в его посерелое лицо, совсем позабыв, что вокруг народ, целая толпа. Она плакала и выговаривала ему, словно они были с глазу на глаз и он мог слышать ее, мог устыдиться ее слов.

— Никогда теперь, никогда и пальцем не пошевелию ради тебя! Рыжий дурак! Дурак! Дурак! Дурак!

Звонкий, горестный ее голосок, кажется, проник до слуха Витьки и, кажется, сотворил больше того, на что были способны все крики и шумы вокруг, включая и скрежет выворачиваемой двери.

Мучительно напрягшись, Витька приподнял голову, и осмысленная синева мелькнула в его глазах.

— Анюта... — на большее его не хватило. Но в этом единственном слове, в этом трудно сложенном имени было столько всего, что какая-то сердобольная женщина в толпе вдруг принялась причитать странно-высоким голосом, как на похоронах:

— Да кто же это его?! Мальчик ведь еще! Да как же это так? Ироды, ведь ироды, ведь ребенка не пожалели! Ироды!

И еще и еще зазвучали кругом эти странно-высокие, натужно-певучие, горестно-проводительные женские голоса:

— Спoили!.. Сгубили!.. Мать-то где?!.. Отец-то где?!

Витька снова попытался приоткрыть глаза. Ему это удалось. Но он глядел сейчас мимо Анюты, он искал кого-то другого. Увидев Анохина, Витька будто обрадовался и чего-то будто испугался. Он силился вспомнить что-то, пугающе тараша на Анохина глаза.

— А-а, босс...— он силился вспомнить что-то, но не мог, и только сумел, заваливая опять голову, по-старушечьи согнутым пальцем погрозить Анохину.

— Что, Витя? Ты о чем? — нагнулся к нему Анохин.

Витька не ответил, только вздрогнул своими рыжими ресницами.

Подошли всей толпой к Витькиному подъезду.

— Теперь я сам,— сказал дед. Он повыпрямился, легко взял на руки Витьку и, не чувствуя тяжести, легко взшел с ним на ступеньки подъезда. Обернулся к толпе, медленно обвел глазами устремленные к нему лица, хмуро и гордо отвечая на каждый взгляд.

— Теперь я сам!..— И вошел в дом, легко неся на руках внука, вдруг высокий, с еще костисто-сильными рабочими плечами старик.

## 23

Едва Витьку унесли и его жалостливая в веснушках рожа перестала раскачиваться перед глазами, настроение в толпе резко переменилось. И уже никто не жалел более бедного мальчика, которого, вишь, кто-то там спoил. Теперь Витьку дружно принялись осуждать:

— Разбаловался!.. Удержу нет!.. Высечь бы по первое число!.. С жиру это все!..

Анюта шла между Анохиным и Реней, стараясь быть как можно незаметней, что, кстати говоря, ей вполне удавалось. Но на всякую такую реплику о Витьке она непременно откликалась негодующим шепотом:

— Высечь?! Да он и пальцем тронуть себя не позволит! Сказали тоже, с жиру! Одна кожа да кости!

— И веснушки еще,— добавил Анохин.

Кто-то дружески положил ему на плечо руку, но голос прозвучал весьма сурово, с упором на привычное «э»:

— Гэройствуешь, дорогой?!

Саркисян был не один: рядом с ним, храня на лице строго-задумчивое выражение, плавно выступал заведующий ателье Анатолий Павлович. Он едва ответил на кивок Анохина.

— А между прочим, в мастерской хранится на несколько тысяч рублей материальных ценностей,— произнес он своим размеренно-тихим голосом.— Я к мастерской и подходить не стал и охрану ставить не стал. Не моя забота! Случись пропажа, кто будет отвечать, уважаемый? — он глядел на Анохина с откровенной холодностью, осуждая.

— Да, Анохин, кто понэсэт ответственность? — Саркисян, видно, совсем разучился обходиться без своего «э». Сердился? И тоже осуждал? Анохин не мог понять, действительно ли Саркисян сейчас заодно со своим завом, или же не столь важно, что он говорит, а важно то, как дружески положил Саркисян на его плечо руку.

— В мастерской был человек,— сказал Анохин, отвечая Анатолию Павловичу, но заглядывая в усмешливо-карие глаза Саркисяна.— Совсем еще мальчик. Его споили и заперли. Споили и бросили.

— Не напивайся! — жестко проговорил Анатолий Павлович.— Он еще ответит за это. И вы тоже, дорогой товарищ. За самоуправство.

— Слыхал?! — Саркисян снова положил руку на плечо Анохину и с силой обернул его к себе.— Будешь отвечать, Анохин, за то, что выломал дверь, вытаскивая из этой конуры человека. Пропадет какая-нибудь кепка, и быть тебе под судом.

— А вы бы не шутили, Сурен Мкртичевич! Князев работает у нас по договору, мы снабжаем его материалами, и вам бы, как бухгалтеру...

— Напрасно вы думаете, что я шучу, Анатолий Павлович,— внезапно резко встав и сбросив руку с плеча Анохина, сказал Саркисян.— Я не шучу! И Князев ваш у нас больше не работает! Хватит! Поглядите на всех этих людей, которые сошлись сейчас сюда, послушайте, что они говорят, и скажите мне

прямо — работает у нас еще Князев или нет? Молчите? Так я вам скажу: нэ работает! Будете его защищать, боюсь, и вам нэ поздоровится!

— Ах вот как?! Так вы заодно?! — Анатолий Павлович, семена, приблизился к Саркисяну. И снова, как и тогда, в кабинетике бухгалтера, проскочила между ними гневная искра, произошел короткий, яростный разговор чуть ли не на одних взглядах. И только последнее, громко сказанное Саркисяном слово из этого разговора явственно услышалось Анохину:

— Заодно!

Анатолий Павлович отскочил от Саркисяна и куда-то быстро-быстро зашагал, оборачиваясь и грозя:

— Мы еще поговорим, еще поговорим!..

Саркисян зычно рассмеялся ему вслед.

— Обязательно! Но это уже будет наш последний разговор! — прощаясь, он протянул Анохину, Рене и Анюте свою жестоко побитую войной руку. — Правильно действуете, друзья! А вот к будке Князева все же сторожа поставить не мешает. Он ведь только рад будет, если у него там что-нибудь пропадет. И не пропадет, так скажет, что пропало. И начнет мутить да путать. Опытный!.. Ладно, идите, я сам этим займусь. — Весело и добро подмигнув Анюте, руку которой он надолго задержал в своей руке, Саркисян по-военному широким и сильным шагом зашагал назад к пустырю, к будке Князева.

Отсюда, где стояли Анохин, Реня и Анюта, эта будка была хорошо видна. Вывернутая дверь криво болталась на ветру, и какие-то бумажки, подхваченные ветром, вылетали из будочного нутра и устилали вокруг бурый снег. Анохин подумал, что эти бумажки, наверное, сорваны ветром со стен будки, что это все князевская коллекция на тему «уважай закон!».

— А мы его нарушили! — непонятно для Рени и Анюты сказал Анохин. — И правильно, правильно сделали!

— Вы о чем, Миша? — спросила Реня.

— Но это еще не все, — сказал Анохин. — Еще не все!

— Миша, о чем вы?

— Обо всем сразу, — улыбнулся Рене Анохин.

В стайке девушек из ателье прошла мимо него,

строго и отчужденно глядя перед собой, Нина Лагутина. Его она, кажется, не заметила. И слава богу! Анохин даже голову вобрал, так устрасила его возможность встретиться сейчас глазами с Лагутиной.

— Ну я пошел, мне надо развесить да разнести по квартирам биографию нашего кандидата. И побеседовать... — Анохин потерянно, испуганно глянул через плечо. Вон он тот дом, куда ему надо идти, обходя квартиру за квартирой, чтобы, наконец, добраться до восьмого этажа, до двери, в которую не поймешь как стучать — тихо ли, условно ли, по-воровски, или же громко и открыто. Иногда открывают на один стук, иногда на другой. Иногда просят, даже молят остаться, иногда велят уходить. «Уходи! Эх ты, выручитель!..»

— Реня, — просительно проговорил Анохин, стараясь не смотреть в ее лучисто обращенные к нему глаза. — Вы бы не могли отнести одну биографию...

— К Лагутиной? — Реня понимающе и с величайшей готовностью закивала ему. — Хорошо, Миша, я это сделаю. Но верно ли, что вы?..

— А ты, Анюта, — Анохин поспешил заговорить о другом. — Ты, Анюта, обязательно найди Витину маму и скажи ей, что так нельзя, что она должна видаться с ним. Скажи, что она очень нужна ему. Найдешь? Скажешь?

— Найду! И скажу! Уж я ей скажу!

— Нет, только ты не кричи на нее и не топай ногами. Ведь она же его мать.

— Хорошо, я не буду кричать, — сказала Анюта. — И топать ногами. Я что-нибудь еще придумаю...

Биография их кандидата в Верховный Совет страны была невелика. Он был молод, их кандидат. Его жизненный путь был не длинен и был очень ясен. Работа, работа, работа... Учение и работа. Наверное, это правильно, что их совсем еще молодой район Москвы, еще строящийся район, выдвигал в Верховный Совет совсем еще молодого человека. И строителя по профессии. Секретарь райкома у них был строитель, и вот кандидат в Верховный Совет — тоже строитель. «Знат-

ный прораб» — пишется в биографии. «Один из зачинателей поточного метода строительства» — пишется в биографии. Ах, как все же бедно об этом пишется в биографии! И слова, жаль, все какие-то знакомые, поиздержавшиеся. А ведь это, должно быть, не просто — стать «одним из зачинателей». Должно быть, солоно пришлось сперва, и далеко не сразу все удалось. Как бы узнать про это? Как бы узнать о его работе изнутри, не о победе только узнать, а о том, как он шел к победе? И какой он, что за человеком стал он теперь, когда многое в его жизни удалось? По фотографии судить трудно. Жаль, но фотография тоже какая-то будто знакомая, словно некий расторопный ретушер одними и теми же привычными движениями ухитрился отретушировать множество таких вот фотографий, подгоняя их под один, себе любезный облик. Молодое, округлое, милое лицо, строго-добрые глаза, пиджачок с иголочки, галстучек — все, как у всех, все симпатично и, как у всех на таких вот фотографиях. Нельзя улыбнуться даже на свой лад или как-то там повернуться, поднять руку, или нет, просто сфотографироваться в рабочей куртке, на ветру, там — на верхотуре крана или лесов. Все — одинаковые, принаряженные, мило-строго застылые. Неправильно это. Мало, очень мало что скажет сердцу такая вот фотография. А ведь это наш кандидат, мой кандидат в Верховный Совет. Непременно надо узнать побольше о нем. И обязательно повидать его. Тогда можно будет и рассказывать о нем, рассказывать от себя...

Вот и еще одна биография их кандидата ровно улеглась на стене лестничного марша того самого дома, на восьмом этаже которого жила Нина Лагутина, Нина Васильевна Лагутина, 1940 года рождения...

На каждом этаже побывал Анохин, в каждой из своих квартир. Не зашел он только к Лагутиной. Это делает за него Реня. Она обещала, она сделает. Да, но он не сказал ей, как стучать к Лагутиной, чтобы та отворила. А как? Он и сам не знает. Сегодня Нина была там — на пустыре, видела, как несли Витьку, догадалась, конечно, что это все Князев, ее Князев. Она шла потом, задумавшись, подавленная. Это ничего не значит, что она так прямо и гордо держала голову. Он-то знает, ей было тяжело, и солнечный по-весеннему день

хмуро и зябко входил в ее глаза. Скоро она вернется домой. Снова одна и снова в страхе, что вот сейчас постучит к ней Князев. Или, может быть, она смирилась?..

Анохин вышел на улицу. Уже сгустились сумерки, уже зажглись в окнах огни. Он глянул через площадь и отыскал свое окно. Теперь там будет гореть свет только тогда, когда он сам его зажжет. Теперь он будет жить один. С сегодняшнего дня — один. Какой длинный, какой необычайно длинный день. Вдруг пришла усталость, тяжелым показалось пальто, и очень сразу стало холодно. И почему-то подумалось: «А ведь день еще не кончился...» Да, еще надо было что-то сделать, еще обязательно надо было что-то сделать, куда-то пойти, с кем-то говорить. Но что, куда, зачем — об этом не хотелось сейчас думать, просто страшновато было думать.

Анохин свернул к своему дому. Он решил хоть часок побыть дома, поесть что-нибудь, а потом... Он знал, что потом он снова пустится в путь, снова окажется у дверей Нининой квартиры, снова, мерзая к себе, постучит-поцарапается в ее дверь. Или нет, постучит громко, не таясь, не хитря. Она спросит: «Кто там?» Он ответит: «Из агитпункта!» Да, из агитпункта! И он обязан снова прийти к ней. Не Реня, а он сам. Он слишком много сказал ей, чтобы сейчас возможно было отступаться от своих слов. Он вел себя глупо, смешно? Да, пусть и глупо и смешно! Но он хотел ей добра, и он был честен с ней. Честен? Как понять, честен ли? Как понять, кто он в этой истории с Ниной Лагутиной и Князевым? Как понять самого себя сейчас, как дознаться до самого себя? «Отвечай, отвечай, Анохин...»

Вдруг кто-то издали окликнул его:

— Миша! Миша! Погодите!

Он оглянулся: Реня. Суматошно взмахивая руками, она бежала к нему через площадь, бежала по дороге, которая шла от дверей ателье. Радостно и тревожно заколотилось сердце. Чему он обрадовался? Чему ты обрадовался, Анохин?!

— Миша! — подбегая, сказала Реня и надолго умолкла, трудно переводя дыхание. — Миша, как хорошо, что я вас сразу нашла! Пойдемте...

--- Куда?

— Пойдемте за Лагутиной. Она одна боится выходить из ателье. Ее подкарауливает у дверей Князев. Он явился к ней на рабсту и сказал, что больше не позволит ей над собой смеяться. Он сказал: «Хватит, Ниночка, хватит крутить!» Я смотрела ему в лицо, когда он говорил эти слова. Он очень страшный — этот Князев. А потом тот чудесный армянин его выгнал, просто отворил дверь и велел уходить. И вот он ушел и ждет Нину где-то тут, за углом. А она никого не хочет просить о помощи. Ей стыдно, ведь они помолвлены. И боится выходить. Все девушки уже ушли, а она занялась какой-то работой и не идет. Вот я и подумала... Я знаю, Князев не посмеет обидеть ее, если вы будете рядом. Он не такой уж смелый — этот Князев, если перед ним настоящий человек.

Шаг за шагом Анохин и Реня все ближе подходили к дверям ателье.

— Я не пойду туда, — сказал Анохин. — Зовите Лагутину, я подожду вас у дверей.

— Хорошо! — Реня распахнула дверь и скрылась в ослепительно-светлом, дохнувшем на Анохина теплом зале под мрамор и с колоннами, возле одной из которых за своим столиком сидела сейчас, сгорбившись, Нина Лагутина и ждала, ждала, чтобы кто-нибудь пришел к ней на выручку. Вот он и пришел. Не бойся, Нина, все будет хорошо, никто тебя не обидит!..

Они вскоре вышли — Лагутина и Реня.

— Здравствуйте, Миша! — сказала Лагутина, протянув ему сухо-горячую руку. — Здравствуйте, мой старый школьный друг! — Она показалась ему оживленной, даже радостной и очень смелой. Вот только все поводила по сторонам глазами.

— Здравствуйте, — сказал Анохин. Он глянул туда же, куда и Лагутина.

Далеко от них, в самом конце дома, но на их пути, как ни поворачивай, а прямо на их пути, широко расставив ноги, приземисто и натвердо стоял Князев.

— Нет, домой я не пойду, — дрогнувшим голосом проговорила Лагутина, и сразу сникло ее лицо.

— Пойдемте, пойдемте, — сказал Анохин, смело шагнув вперед. Он вовсе не делал вид, что ему

не страшно встретиться сейчас с Князевым. Ему действительно было не страшно. Но тут внезапно испугалась Реня. Схватив Анохина за руку, она потянула его назад.

— Нет, нет, не пойдем! Смотрите, как он стоит! Он очень страшно как-то стоит! — таща за собой Анохина, она подхватила под руку Лагутину и, сама еще не ведая, куда, повела их в противоположную от Князева сторону.

Анохин не стал упираться, поняв по тому, как радостно зашагала Лагутина, что и она тоже не решает-ся сейчас пройти мимо Князева. А сам бы Анохин пошел, честное слово, пошел! Он отлично знал, что Князева не так-то легко будет миновать, и все же он бы с радостью сейчас пошел туда, где стоял Князев.

Они вышли к противоположному углу дома и остановились, не зная, куда же идти дальше.

— Может быть, поедem ко мне? — предложила Реня. — Но только у меня там мама, братишка...

— Нет, зачем же, я пойду домой, — сказала Лагутина. — Только одна, будет лучше, если одна... Чего уж, разве Князева минуешь... Он всю ночь простоит там, мой Женечка. Он — решил-ся, допекли его. Он теперь не отступится...

Анохина поразила горестная покорность, прозвучавшая в словах Лагутиной. Вот и вся ее смелость, вот и вся ее веселость. Увидела Князева — и по-никла.

— Знаете что, — сказал он. — Пойдемте ко мне! Я с сегодняшнего дня совсем один живу. Мама уехала — я теперь один. У меня сможете и переночевать. Правда, пойдемте.

— Конечно, конечно, идите! — обрадовалась Реня. — Только давайте побежим. Прошу вас! А то он еще как выскочит из-за угла... Побежали!

Схватив Анохина и Лагутину за руки, она бросилась бежать к недалекому и так заманчиво светло освещенному подъезду, в котором жил Анохин. И снова почувствовал Анохин, как Лагутина радостно последовала за Реней, и снова ему ничего не оставалось делать, как тоже припустить бегом, припустить бегом от Князева, который, кажется, вовсе и не гнался за ними.

Только когда захлопнулись дверцы лифта и когда лифт (умница лифт!) пополз вверх, увозя ее все дальше от Князева, к Лагутиной снова вернулась ее лихорадочная, нервная какая-то веселость.

— Зачем же это я к вам еду, милый друг? — живо оборотилась она к Анохину. В лифте было тесно, и Лагутина стояла совсем рядом с ним, так же почти совсем рядом, как тогда, в прихожей ее квартиры. Но тут было светло, и ее губы не дотрагивались до его лица, и тут была Реня, во все свои громадные глаза смотревшая сейчас на них. И все же, едва Лагутина обернулась вот так к нему и придвинулась, вот так, смеясь, спрашивая о чем-то (он не расслышал, о чем), как снова вернулось к нему тогдашнее странное и горькое смятение, странное и невыносимое чувство плена, безволия, безмыслия.

Но лифт, к счастью, недолго полз до его этажа.

И вот они уже вдвоем в его комнате. Для сторонних глаз здесь все было прибрано, все казалось установленным, присмотренным заботливой рукой. Но Миша Анохин, который не был дома с утра, с тяжелым сердцем приметил сразу столько утрат, столько доказательств главной своей утраты, что даже потерялся и не сразу решился переступить порог своего опустелого жилья.

— Ну, я побежала, побежала! — весело сказала Реня. — Дома меня, наверное, заждались! — она первому протянула руку Анохину. — Не грустите, Миша. Ведь мама ваша где-то совсем рядом, правда?

— Правда.

— И у вас теперь новый друг, — шепнула Реня. — Правда?

Так неясен был ее шепот, что Анохин мог и не услышать того, о чем она спрашивала.

— Пойдемте вместе, Реня, — сказал он. — Заночую сегодня у Лебедевых. Как думаете, пустят?

— Ну, конечно, я у них сто раз уже ночевала! — радостно воскликнула Реня, но тотчас спохватилась, устыдясь своей радости. — А зачем это вам? Вы ведь можете и у себя на кухне заночевать.

— Кто? Куда? Зачем? — громко спросила Лагутина. — Вы тут обсуждаете какие-то планы, а меня и не спрашиваете. — Нет, Миша, я часок тут у вас еще посижу и — домой.

— Нет, Нина, — твердо взглянул на нее Анохин. — Вы заночуете у меня. Это решено. На кухне найдете всякие там припасы, вот вам ключ от двери, вот тут одеяло, подушка, словом, будьте как дома. Пошли, Реня.

Он оглянулся: Рени в комнате не было.

— Реня! — кинулся он за ней в прихожую. Но и там ее уже не было. И только бегущие шаги на лестнице сказали ему, что она сейчас бежит, бежит (в который уже раз за этот день?), снова куда-то бежит.

Он вернулся в комнату.

— Ускакала, — сказал он, робко останавливаясь в дверях. — Пойду и я.

— Погодите. — Лагутина быстро подошла к нему, быстро подняла руки и смело и сильно пригнула к себе его голову. Она не поцеловала его, она только прижалась головой к его щеке. И сразу же оттолкнула его от себя.

— Иди... Какие вы все... Я не знала, не верила, что есть такие хорошие люди... Обидно...

Он решил и поднял на нее глаза. Она отозвалась на его взгляд проясненной, грустной и радостной улыбкой.

— Иди...

— До завтра, Нина...

— До завтра, Миша... А завтра...

Еще раз оглянувшись, еще раз обрадованно и удивленно всмотревшись в ее преобразившееся, помягчавшее, грустное и радостное лицо, Анохин осторожно притворил за собой дверь.

Вот и снова он на улице. Снова пересекает площадь меж трех домов и идет, ловя жарко-сохлыми губами колкие крупинки мартовского снега. Вот и все...

Анохин посмотрел туда, где у лагутинского и лебедевского дома еще недавно стоял Князев. Теперь его

там не было. Ушел. Понял, что Лагутина сумела избежать встречи с ним, и ушел. Куда? Это уж его забота. Куда-нибудь подальше от этих мест. Здесь, теперь ему не очень-то вольготно.

На душе у Анохина полегчало. Что там ни говори, как ни крепись, парень, а встретить сейчас Князева тебе ох как не хочется. Эта встреча еще предстоит, она неизбежна, но пусть не сейчас, не прямо вот сейчас — на этой безлюдной, сумеречно-вечерней площади.

Длинный-предлинный день этот, кажется, подходит к концу. Сейчас он постучится к Лебедевым и попросится к ним в жильцы на кухню. Семен Иванович не из тех, кто много спрашивает. Он — настоящий. Он вытащит из-за двери раскладушку, «Ренину тахту», как они ее там называют, принесет из комнаты шотландский плед («действительно, Миша, из Шотландии») и скажет только: «Укладывайтесь!»

Вот и все...

Нина Лагутина, а как ты там? Будешь ли спать ты эту ночь? О чем станешь думать, засыпая? О чем подумаешь, проснувшись? И придет ли, придет ли к тебе решимость порвать с Князовым и начать завтра, уже прямо завтра новую жизнь? Хочется верить, что да. Будь счастлива, Нина...

Кто-то тихонько, похоже, что всего только одним пальцем, дотронулся до плеча Анохина. Еще не оглянувшись, Анохин понял — это Князев. Да, это был он.

Испугался ли Анохин? Нет, не испугался. Он глянул в лицо Князева и не испугался, потому что ждал, давно ждал встречи с этим вот, с таким вот Князовым. Куда подевались все смешливые его морщинки, все обученные его морщинки, с помощью которых он пытался жить среди людей, творя на своем лице подобие людского благодушия? Сейчас князевское лицо стало таким, каким оно и угадывалось за изгородью развеселых, усмешливых морщинок. Сейчас князевское лицо было его собственным — мгlistым и страшным, точно в зверином оскале, но только страшнее, чем у зверя, страшнее из-за своей схожести с лицом человеческим. Человек-зверь — вот кто стоял сейчас перед Анохиным.

— Ох, не хотел, не хотел я с тобой связываться, паренек,— неожиданно миролюбивым голосом заговорил Князев.— Эх, не хотел...

Он вдруг мгновенно оглянулся, мгновенно поднял руку, и что-то громадное, что-то вспыхнувшее расплавленным огнем упало на Анохина.

«Танки!..» — взорвалось в его сознании.

Падая, он успел еще шепнуть: «Мама!»

Падая, он успел еще услышать талый, мартовский, весенний запах земли.

Вот и все... Все?!

Чей-то голос внутри него, как ток крови, горячий голос, медленно и властно приказывал ему: «Встань!»

Как мучительно трудно было выполнить этот приказ, как немислимо трудно было сделать это. Но надо было сделать!

Анохин встал.

Князев глянул на него удивленно. Князев как раз натягивал на руки перчатки, собираясь уходить.

Но Анохин встал.

Тогда Князев снова отвел руку для удара, лишь чуть промедлив. Анохин сам ударил его. Сильно или нет — этого Анохин не понял. Он ударил так, как сумелось, счастливый, что удар пришелся в застылосмеющееся ненавистное лицо.

Этот удар не ушиб Князева, а несказанно удивил. Он даже сунулся поближе к Анохину, чтобы лучше разглядеть его. И, взглядевшись, как бы походя, снова железно ткнул в него кулаком.

Михаил упал. Снег и земля приняли в себя его лицо. «Встань!»

Анохин встал.

Как в полусне, как тогда, в полусне, когда причудилось ему, что Князев его ударил, Анохин быстро пригнул голову, отшагнул чуть в сторону и всей тяжестью тела кинул вперед левую руку. И сразу шаг назад — и всей тяжестью тела удар с правой.

Он и сейчас был, как в полусне, и как тогда, в полусне, его удары не обрели ощутимой силы, его выброшенные вперед руки ватно повисли в воздухе.

— Да ты что, смерти захотел?! — изумился и испу-

гался Князев. И, как-то особо изловчившись, снова сбил Анохина с ног.

«Встань!»

Не было сил, не было больше никаких сил, чтобы сделать это, чтобы даже приоткрыть ослепшие глаза, разжать сведенные губы.

Анохин встал.

И тогда Князев попятился от него, повернулся и быстро зашагал от него, все быстрее, все быстрее, в спешке приседая на пятки. А потом, все так же приседая, побежал. Князев — побежал!

Чей-то голос внутри Анохина, как ток крови, горячий голос, который он не знал и узнал, проговорил тихо, невнятно, из дальнего далека: «Так... сынок... так...»

Анохин сел на снег и больно и радостно втянул в себя весенний запах земли.

•



# КНИГА ВТОРАЯ



**П**оловину тетрадочной страницы занимали стихи Блока:

Ночь. Город уgomонился.  
За большим окном  
Тихо и торжественно,  
Как будто человек умирает.

Но там стоит просто грустный,  
Расстроенный неудачей,  
С открытым воротом,  
И смотрит на звёзды.

«Звезды, звезды,  
Расскажите причину грусти!»

И на звёзды смотрит.

«Звезды, звезды,  
Откуда такая тоска?»

И звёзды рассказывают.  
Все рассказывают звёзды.

Реня перечитала стихи и быстрым, нервным почерком написала под ними: «Сегодня Миша выходит из больницы».

Она сидела за высоким на резных тонких ножках столом, очень, видно, древним. И стул, на котором она сидела, тоже был стародавний, с высокой, обтянутой кожей спинкой. Да и вокруг все было старым, прошлым, как бы чудом уцелевшим из минувшего столетия. Портреты милых женщин, с грустными, Рениными глазами. Портреты корректных мужчин в чиновничьих вицмундирах, впрочем, не слишком по виду высоких чинов. И книги, всюду книги, две стены до потолка укрытые книгами. И всё это в крошечной комнате с будто слепым окном во двор. Лишь узкая снежная полоса легла между окном и глухим красного кирпича брандмауэром. Надо было запрокидывать голову, чтобы увидеть поверх этой кирпичной преграды крае-

шек неба. Там, в небе, еще жил день, еще угадывалось по-весеннему яркое солнце. А в Рениной комнате было сумрачно, отсюда еще не выбралась зима, снег за окном, казалось, улегся на веки вечные.

— Сегодня Миша выходит из больницы, — отчетливо, медленно произнесла Реня. — Сегодня... — Она быстро оглянулась на часы, висевшие в углу. Конечно же, это были старинные часы, под стать всему здесь, часы, которые надо заводить ключом, которые скрипело оповещая о времени, иногда вдруг молодо вздрагивая какой-нибудь древней пружиной. Важные и тяжелые стрелки показались Рене неподвижными. Она прислушалась: часы шли. А стрелки, казалось, не двигались.

— Ну, скорее же, скорее! — поторопила их Реня.

Она снова вернулась глазами к своей тетрадке и принялась листать ее, страница за страницей, назад.

Это был дневник, Ренин дневник. Оказывается, она вела дневник. Так вот совсем, должно быть, как вела дневник одна из ее бабушек или прабабушек, что запечатлены на портретах. Вон, может быть, та — с косою и в гимназическом платье, так родственно схожая лицом с Реней. Такое же угловатое и некрасивое лицо, озаренное светом лучистых глаз, изумленно распахнутых и доверчивых. Вглядишься в них, и не скажешь уже, некрасиво ли это угловатое лицо. Что-то вдруг смягчается в нем, хорошеет, медленно высказывая робкую, притаенную женственность.

Отлиставая страницу за страницей своего дневника, Реня перечитывала иные строки, вспоминая события последних дней. И всякий день, который сейчас мысленно восстанавливала она в памяти, был связан с Анохиным. Каждая запись была о нем. «Сегодня, наконец, меня пустили к Мише... Я говорила, говорила, а он почти ни слова в ответ... Каждый день пишу ему, а потом жду, что и он что-то мне напишет. Возвращается нянечка и говорит мне от него: «Спасибо». И все! И я ухожу домой. Иду и вижу его — там, в палате, на койке у окна. Он лежит на спине, лицо в потолок и все думает, думает, о чем-то трудно думает. О чем, Миша? Семен Иванович объяснил мне: «Все понятно: человек стукнулся лбом о житейскую стену. Надо осмыслить». Милый Семен Иванович, он все познал

и все готов объяснить. Но мне этих слов мало. Мне почему-то до слез жаль Мишу. Что-то громадное, грозное пришло в его жизнь, затемнив, омрачив ее. Но что, что произошло? Это Князев, конечно, так жестоко избил его, Князев или его мерзкие какие-нибудь приятели. Миша молчит. Что ни спроси его про тот вечер — он молчит».

Реня перевернула еще одну страницу дневника. На этой странице громадными, смятенными буквами было написано: «В тот вечер, когда я оставила вдвоем Мишу Анохина и Лагутину, и глупо так, как девчонка какая, бросилась бежать, в тот самый вечер он был страшно, по-звериному избит. Он едва нашел в себе силы доползти до Лебедевых. Он пополз не домой, а к Лебедевым. Почему? И вот он в больнице. Кто его так? Это Князев, Князев?!»

И еще одна страница... «Я оставила их вдвоем и убежала. Мне было стыдно бежать, стыдно самой себя. Что со мной? Чего я так смутилась? Почему так скверно вдруг стало на душе? Что же со мной?..»

Реня не дала себе дочитать до конца эту страницу и порывисто закрыла ее другой страницей и еще одной, и еще — только чтобы не читать каких-то самых о себе откровенных слов. Они однажды написались — эти слова, но вот перечитать их уже не было мужества.

А на той странице, на которой замерли теперь беспокойные пальцы Рени, на странице, открывшей эту тетрадь, Реня удивленно прочитала не ею словно написанное короткое и радостное признание: «Кажется, мы с Мишей друзья!»

«Как давно это было,— подумала Реня. Она посмотрела на число в конце страницы. Число было совсем недавним.— Все равно, это было очень когда-то давно...»

Реня поднялась и снова глянула на часы. Нет, они все же двигались — эти важные, тяжелые стрелки.

— Пора, надо идти,— сдавленным голосом проговорила Реня и робко шагнула к двери.

Больше всего на свете не любил Семен Иванович Лебедев бывать в больницах. Они пугали его — эти

громадные дома, наполненные до краев человеческим страданием. Здесь, в больнице, страдание человеческое имело запах и цвет и голос. Это было невыносимо. Семен Иванович знал, предвидел, что и сам он скоро, теперь уж скоро, окажется в какой-нибудь из больниц не визитером только, а как раз одним из тех, кому выпало на долю там страдать. Семен Иванович не верил, что больница, буде он попадет в нее, поможет ему излечиться. Он был слишком стар и слишком хорошо знал себя, всего себя, чтобы верить в это. Он знал, что в больнице встретит он свои последние дни. Их, может быть, продлят, боль, может быть, приглушат, но все равно больница — это конец. И он ненавидел больницы, пожалуй, еще больше, чем кладбища, чем морг. Но старость еще и тем нехороша, что все больше людей, близких тебе, знакомых тебе, заболывают или уходят из жизни. И вот уже кладбище, морг, больница твердо входят в твой повседневный быт. Ты еще не главный герой трагедии, но ты уже и не зритель просто. Ты уже на сцене и хотя бы статист. Ты навещаешь больного, ты поддерживаешь плечом гроб, ты кладешь на могилу цветы и ты, как бы широко ни научился ты думать о неизбежном конце всякой человеческой жизни, ты все же не можешь избавиться от тоскливого выпрашивания самого себя: «А скоро ли и тебе сюда?..»

Ну, да ладно, больницы эти, кладбища, морги, было это все как бы неизбежным уделом старости, ее, старости, личным владением, куда вход молодым строго-настрого запрещен. Тогда хоть с этим можно как-то мириться.

А вот когда молодого вдруг заносит в больницу, когда и к нему надобно ходить с кульками яблок, писать ему развеселые записки и бодро заглядывать в его расширенные страданием глаза,— вот тогда уж больница становилась для Семена Ивановича форменным адом. Он не выносил нелепостей. То, что случилось с Мишей Анохиным, было нелепостью. Даже не несчастным случаем, а вот именно — нелепостью, или, выражаясь точнее, глупостью. Ведь его предупреждали, ведь он не мог не понимать, что творит, с кем связывается. Понимал и все же упорствовал и лез, лез, покуда не напоролся на удар кастетом.

И вот ходи теперь к нему изо дня в день, хватаясь за сердце в этих гулких вестибюлях, столь по-кухмистерски пахнущих щами и по-прачечному стиранным бельем и по-казарменному карболкой, что вместе и составляет зловещий, ненавистный запах страдания. Слава богу, ныне это последний день! Выписывается!

Три недели миновали с того вечера, когда Анохин поскребся к нему в дверь. Семен Иванович уже по царапанью этому понял — с кем-то беда. Еще была надежда, что это пьяный ошибся дверью. Нет, слабая надежда! Семен Иванович знал в себе это упреждающее беду кувырканье сердца. Слишком уж оно у него было многоопытным. Не спрашивая, кто да зачем, распахнул дверь. И помнится, первое, что сказал, увидев омертвелое лицо Миши, было:

— А я разве не говорил, не остерегал?

Семен Иванович и теперь еще со стыдом вспоминает эти свои слова. Нашел время доказывать собственную прозорливость! Но, что оказалось, то уж назад не воротишь. Да и слышал ли его тогда Миша? Кровь заливала ему лицо, глаза смотрели не видя.

Семен Иванович подхватил его на руки, дивясь себе, откуда-то выискавшимся в нем силам, и понес-поволок Анохина в комнату. Там на помощь пришла жена. Вдвоем они уложили Анохина на тахту. Тот терял сознание, и надо было, покуда он еще что-то слышит, что-то понимает, спросить его о самом главном теперь:

— Кто?

— Князев,— шевельнул Анохин губами.— Но ему тоже... я тоже... Он побежал...

— Ладно, герой!

И надо было еще про самое главное с ним посоветоваться. Вернее, посоветовать:

— Это из-за Лагутиной? — спросил Семен Иванович. Спросил, не сомневаясь, что так оно и есть.— Вот что, станут спрашивать, не называй Князева. Скажи, что ничего не помнишь. Успеется. Надо подумать. Ты слышишь меня, Михаил?

Анохин чуть приметно ужал губы.

Вот и весь был разговор. А потом приехала вызванная Любовь Григорьевной скорая помощь, и Анохина увезли в больницу. И только уж там, спустя

несколько дней, когда Анохину немного полегчало, Семен Иванович дознался от него, как все было.

— Этого я и боялся, — выслушав Анохина, сказал Семен Иванович, не скрывая своего огорчения. — Князев, конечно, бандит, и его повесить мало, но Лагутина-то, невеста его, в тот вечер осталась ночевать у тебя...

— А я пошел к вам, — тихо возразил Анохин.

— Верю, пошел. Но это я верю. А может, ты в магазин за сосисками на ужин побежал или там за бутылочкой портвейна?

Анохин с трудом улыбнулся.

— Что вы, Семен Иванович!

— Я — ничего, я-то ничего. Ну, вот что, прежняя тактика обостается в силе: про Князева ни гу-гу. Успеется. Решено?

И снова Анохин чуть приметно ужал губы.

Три недели позади, сегодня он выписывается.

Семен Иванович явился в больницу первым. Являться всюду первым, порой задолго до условленного часа — это была одна из крайне тяготивших Семена Ивановича привычек. Он и старался не спешить, нарочно даже тянул время, но вдруг ему начинало казаться, что его ждут, только его одного и ждут. И он поспешно пускался в путь. А придя, снова с огорчением устанавливал, что явился первым. Сама по себе такая вот аккуратность не должна была бы его огорчать, но старик всегда огорчался. Он знал, он-то хорошо знал, что это вовсе не вежливость и не аккуратность подталкивают его в спину. Это была лагерная его привычка, одна из многих, выработанных в лагере, одна из тех, что помогла ему выжить. Да, да, выжить! Не заставляя себя ждать, не вступать ни с кем в спор и ровно, только ровно всегда держаться, следя за тем, чтобы даже и в глазах твоих не промелькнуло негодование.

А раньше, на воле, он был совсем не таким. Напротив, он был задирой. Он готов был хоть в драку, если знал, что прав, хоть врукопашную, нисколько не смущаясь, что и ростом не вышел, и силы не богатырской, и сердце еще с гражданской ни к черту. И вот таким вот его и забрали. И в первую же ночь предъявили страшное обвинение: шпион. Он ничего

не подписал. Его допрашивали на следующую ночь, и в третью, и в пятую. Он ничего не подписывал. Кто-то, умный, из сидевших с ним в одной камере, посоветовал: «Подпиши, признай что-нибудь, малость какую-нибудь. Признай, чтобы выжить». Чтобы выжить... Чтобы дожить до дня Правды... Он признал какую-то чепуху, какую-то нелепость. Вдуматься, так он посмеялся над своими мучителями. Но те не вдумывались. Подписал, и ладно.

А потом — лагерь. И снова каждодневная, ежечасная, ежеминутная борьба за то, чтобы выжить, за то, чтобы дожить, обязательно дожить до дня Правды. И он дожил. Но вот привычки тех, лагерных, лет остались. На то они и привычки. Семен Иванович и досадовал и старался изо всех сил выкорчевать из себя иные из них, а с иными уже и смирился. Годы, многие годы вкоренялись они в него. И какие годы! Не так-то это все просто...

Наперед уже злясь на себя, наперед уже иронически над самим же собой улыбаясь, Семен Иванович не без труда отворил массивную дверь в больничный вестибюль и спешно, еще с порога, огляделся. Никого! Ну, конечно же, никого!

Он замешкался на пороге, но дверь слегка подтолкнула его в спину и пришлось войти. Ироническая улыбка так и осталась на лице. Теперь она была обращена не на себя, не внутрь себя, а на то, что стали примечать здесь зоркие Семена Ивановича глаза и обонять чуткий Семена Ивановича нос.

— Ну, конечно же, — чуть ли не радостно пробормотал он. — Кислая капуста! Впрочем, она ведь полезнейшая штука для гипертоников. Но мрамор, колонны, лестница, как во дворце, и вдруг кислая капуста — это, согласитесь, нечто несоединимое.

— Согласен, совершенно с вами согласен!

Оказывается, здесь все же кто-то был. И этот кто-то разом потеснил своим веселым, молодо заносящимся голосом гулкую тишину вестибюля. Семен Иванович узнал этот голос. Молодой человек баскетбольного роста, с серыми большими глазами и пушистыми ресницами, как у девушки, был напарником Анохина по больничной палате. Их койки стояли рядом. Их разделяло только неширокое окно. Так случилось, что

в одну и ту же ночь привезли обоих в больницу. Анохина — с проломленной головой, этого парня — с перебитой рукой. Тоже какое-то бандитское нападение. Этот парень был дружинником. Семен Иванович слышал, что творил он чудеса храбрости. Да и не мудрено, этакий рост, этакие плечи. Впрочем, что там рост, что там плечи — трусость может гнездиться и в великане. Правда, высоким, сильным все же легче оказать себя в трудную минуту. Ах, как завидовал смолodu Семен Иванович таким вот сероглазым и широкоплечим! Теперь это прошло, а когда-то, когда был молод, когда еще ухаживал за Любочкой, как мучительно тяготился Семен Иванович своей малостью и как мечтал, мечтал каким-то чудом вдруг подрасти и стать рослым, сильным, никого и ничего не боящимся.

Спиридон Охотников — того молодого человека так хорошо нарекли простым и старым русским именем — был как раз юношей из юношеских мечтаний Семена Ивановича. Вот таким вот, совсем таким вот и хотел и мечтал быть когда-то маленький студентик Киевского технического училища Сеня Лебедев. Он даже что-то такое глотал тогда, надеясь подрасти, какие-то патентованные пилюли в коробочке с изображением Геркулеса на этикетке. Но где там, не подрос. Теперь уж без улыбки и не вспомнишь те давние, глупые времена, и все же, что поделаешь, юношеское завистливое восхищение рослыми и сильными так и осталось жить в Семене Ивановиче. Восхищаясь ими, этими самонадеянными великанами, Семен Иванович всегда немного и побаивался их, тушевался перед ними. Они так и остались для него неразгаданной загадкой из юношеского сна. Он бы, конечно, и сам себе не признался, что тушется и ныне перед каким-то рослым балбесом, но это было, было. И этот вот Спиридон Охотников, которого про себя Семен Иванович перекрестил за лукавый блеск его серых глаз в Алешу Поповича, тоже внушал старику некий душевный трепет.

Зайдя за толстенную колонну, Семен Иванович обнаружил своего Алешу Поповича в уединенном уголке под лестницей и, конечно же, не в одиночестве, а рядом с милой сестричкой с таким безразличным,

застылым выражением лица, что Семен Иванович испугался: «Никак втюрилась в парня!»

— К выносу тела прибыли? — поднимаясь навстречу старику, спросил Спиридон Охотников.

Экий же он все-таки молодец! Семену Ивановичу, чтобы заглянуть парню в глаза, понадобилось и голову запрокинуть и вытянуться в струнку.

— Да вот, кажется, поспешил. Что Миша?

— Прощается, надо думать, с вновь обретенными товарищами. — Спиридон вышагнул из-под лестницы, потянув за собой сестричку. Рядом с ним она была совсем крошечной. И ей тоже, чтобы глядеть в его лукавые глаза, а она только этим и занималась, надо было и голову запрокинуть и повытянуться, как солдатику на смотрю.

— Все отделение травматиков сошлось да сползлось сейчас провожать вашего Анохина. А мы вот сбежали с Люсей. — Спиридон обнял сестричку и притянул к себе. Он озорничал, а она прильнула к нему с такой самоотверженной готовностью, что Семен Иванович опять испуганно подумал: «Ох, втюрилась девка!»

Да как и не полюбить такого? Спиридон даже и руку на перевязи умел держать победно. Закованная в гипсовый чурбан, рука эта как бы свидетельствовала о ратных доблестях Спиридона. Невозможно было и усомниться, что он получил увечье в бою, а не из-за какой-нибудь там неловкости. В своем спортивном тренировочном костюме, с забинтованной рукой, и с девчуркой, прильнувшей к его плечу, вновь воскресил сейчас этот парень юношескую Семена Ивановича мечту.

— А вам когда выписываться? — спросил старик, сам удивившись робкой уважительности своего голоса. С чего бы это? Парень как парень. Просто щедра оказалась к нему природа — только и всего. Но это ведь лишь внешность одна. А голова? А душа? Семену Ивановичу не удалось за те несколько встреч, которые были у него с Охотниковым, хоть как-то в нем разобратся. И это, честно говоря, даже озадачило Лебедева. Он привык чуть ли не с первого взгляда верно разбираться в людях. А тут и познакомились и поговорили уже раз-другой, а что за человек, какой

пробы,— не понять. Мешало, наверное, то, что уж больно приглянулся ему парень. Сумей, разберись в нем, когда он так вот скалит великолепно зубы, и так вот дьявольски успешно влюбил в себя эту милую девочку, и так вот сразу на короткую ногу стал с ним — стариком.

— Кто его знает, когда мне выписываться,— сказал Спиридон, с досадливой небрежностью стукнув здоровой рукой по гипсовой повязке.— Говорят, что-то там у меня не так срослось. Может, еще ломать будут. Сперва бандиты ломали, а теперь вот врачи.

— Нет, нет, что вы! — горячо запротестовала сестричка.— Илья Львович говорит, что все обойдется. Нужно только терпение, терпение.

— С вами, Люсенька, я готов и потерпеть,— усмехнулся парень. А когда она ответно улыбнулась ему, доверчиво и радостно, вдруг жестко добавил: — Еще два дня — не больше. Меня эта больница за ноги и за руки держит, черт бы ее побрал! — В глазах парня зажглись недобрые огоньки, глаза приузились, потемнели.— Надо же, какая-то падаля поломает тебе руку, и ты уже не человек!

«Вот он какой — сердитый-то!» — подумал Семен Иванович. Он повнимательнее всмотрелся в потемневшие глаза парня, все стараясь углядеть в нем что-то главное, что-то сокровенное. Но и сейчас не углядел. Спиридон уже вновь улыбался, во всю ширь распахнув свои серые, теперь уже просто веселые, беспечно-озорные глаза.

— А вот и невеста! — шепотом, но без особой заботы, чтобы его не услышала та, о ком это говорилось, оповестил он.— Форма одежды — парадная!

Семен Иванович оглянулся и увидел Реню. Бедная Реня, да, она сегодня вырядилась по-праздничному, но опять все было на ней каким-то не прильнувшим, будто с другого человека: слишком мешковатым было новое пальто, слишком уж длинно-узкими были для ее больших ног новые туфли. Только вот прическа сегодня удалась ей. Светлые ее волосы, густые и легкие, привольно легли под легкой косынкой, гордо и высоко подняв Ренину голову с гордым и высоким лбом и лучистыми глазами, озарявшими, красившими ее скуластое, угловатое какое-то лицо. И вот так, с гор-

до приподнятой головой, светясь прекрасными своими глазами, робко вступила она сейчас в больничный вестибюль и робко двинулась вперед, сама не своя в непривычной ей нарядной одежде. Увидела Семена Ивановича и рванулась к нему, еще ярче залучась глазами.

— Как хорошо, что вы уже здесь! — Она взяла старика за руку. — Я так боялась, что приеду первой. Одной здесь очень тоскливо.

— А бояться-то и не следовало, — усмехнулся Семен Иванович. — Меня, Ренечка, не опередишь.

— Здравствуйте, Охотников, — сказала Реня, лишь скользнув взглядом по смеющемуся лицу парня. — Как ваша рука? Здравствуй, Люсенька. Ты сегодня дежуришь, да?

— Она сегодня дежурит, да, — ответил за Люсю Спиридон. — Рука моя ни к черту, если это вас интересует, дорогой товарищ Реня. А что касается Михаила Анохина, то он спал прекрасно, без сновидений, и самочувствие у него отличное. С минуты на минуту вы его будете лицезреть. Кстати, Ренечка, вот выпишется ваш Миша, и больше я вас так и не увижу? Никогда, никогда?

— Зачем я вам? — спросила Реня очень серьезно и очень прямо поглядев на Охотникова. А тот продолжал веселиться и был на загляденье сейчас мил.

— Я увлекся вами, — сказал он и повторил, скандируя: — Увлечся вами.

— Ну, тогда вы меня разыщите, — сказала Реня, никак не желая прилаживаться к шутейскому тону парня и продолжая оставаться серьезной.

— Ну вот, кажется, и все в сборе! — громко проговорил Семен Иванович, спеша навстречу только что вошедшей в вестибюль матери Анохина.

— Не опоздала? — спросила Валентина Ивановна, нервно остужая тыльной стороной руки разгоряченные щеки. — Вдруг остановился надолго троллейбус, а потом...

— О, нет, нет не опоздали! — Семен Иванович бережно сжал руку Валентины Ивановны в своих ладонях. — Чего же теперь-то тревожиться, дорогая моя? Все позади, все теперь хорошо.

— Не знаю, не знаю!

— А я знаю, а я вот знаю.— Старик галантно взял Валентину Ивановну под руку и, семеня, начал с ней прогуливаться по вестибюлю.— Если часы мои не заврались, еще через минуту-другую появится Миша. Мы ведь уговорились ровно на шесть, не так ли?

— Смотрите! — Валентина Ивановна остановилась, быстро обернувшись к огромному в пол-стены окну.

Там, за окном, то и дело увязая тонкими каблучками в рыхлом снегу — он еще держался на дорожках больничного сада, — шла-спешила к ним Нина Лагутина. Стекло в окне было неприметно, и казалось, что еще несколько шагов, и Лагутина прямо вот со снежной тропы шагнет к ним сюда. Она даже протянула вперед руку, будто готовясь поздороваться. И от этого ее движения Валентина Ивановна подалась назад.

— Нет, нет!

А Лагутина и не видела их и вскоре, свернув куда-то, скрылась из глаз.

— Зачем она здесь?! Зачем?! — Валентина Ивановна рванулась к двери и обеими руками ухватилась за дверную решетку.— Я не пущу ее! Я просто не пущу ее!

Но Лагутиной за дверью не было. Ее нигде там в саду не было. Промелькнула вот и исчезла.

— Где же она? — недоуменно повернулась Валентина Ивановна к Лебедеву.— Куда она девалась?

— Да, история — растерянно пробормотал старик.

— Внимание! Приземляется! — вдруг громко-ушмешливо объявил Охотников.— Цветы! Музыка!

### 3

Здравствуй, Миша Анохин. Ну, как ты? Какой же ты худой! И словно вырос за эти три недели, заметно вырос и, если такое возможно в твои молодые годы, будто бы постарел. Не возмужал, как принято говорить, не повзрослел, а постарел. Это потому, должно быть, что очень исхудал лицом. И еще потому, что стрижен наголо. И вот еще голова забинтована и на лоб, сжав его, лег бинт, жестко нахмутив под очками брови.

Предполагалось, так было сговорено, что Анохина

встретят действительно торжественно и радостно, чтобы сразу же по выходе из больницы он попал в руки близких и друзей, чтобы сразу же по-доброму началась его жизнь за больничными стенами. Было решено, что Валентина Ивановна прямо из больницы повезет его к себе, туда, где она теперь жила со своим новым мужем, который очень звал Мишу, и если и не пришел сегодня за ним в больницу, то только потому, что не хотел мешать первым минутам встречи матери с сыном. А затем, так было решено на совете родных и друзей, Миша получит отпуск и, может быть, даже в паре с Семеном Ивановичем закатится куда-нибудь на Кавказ. Там ведь в апреле ну просто замечательно. А потом — подготовка к экзаменам, экзаменационная сессия. Словом, все скверное отодвинется, забудется, уйдет в область предания. Так было решено...

Михаил быстро сбежал с лестницы и обнял мать. Они заглянули друг другу в глаза, она собралась было что-то сказать ему, но сын показался ей сейчас таким незнакомым, с какой-то такой настороженностью в глубине глаз, что она так ничего и не решилась сказать. И он тоже промолчал. И быстро отошел от нее, чтобы пожать руку Рене, чтобы наклониться к Семену Ивановичу, который пожелал непременно поцеловать его в лоб.

Коротким было прощание и с людьми в белых халатах, с дежурными медсестрами и старичком врачом, спустившимся в вестибюль проводить его. Анохин только сказал, обернувшись к ним:

— Спасибо вам, спасибо за все.

— Рад был с вами познакомиться, Миша,— легонько похлопал его по плечу старичок врач.— Но больше встречаться с вами не хотел бы. В больничной обстановке, конечно.

— Как знать, Илья Львович,— сказал, подходя к ним, Охотников.— Мы ведь на линии огня.

— Оставьте, молодой человек! Выдумали тоже фронт в мирные дни!

— Фронт, да еще какой,— сказал Охотников, строго этак глянув на старого врача.— Ну, до встречи, солдат! — Он прижмурился чуть, дружески подмигнув Анохину, дружески, бережно сжав ему руку. Он помнил, что Анохина не след сейчас встряхивать сильным

рукопожатием или по-мужски крепким толчком в плечо. И то, что этот здоровенный малый так сейчас бережно попрощался со своим больничным приятелем, не прошло незамеченным для Семена Ивановича да и для всех остальных, кто следил за их прощанием.

— Славный парень,— шепнул Семен Иванович матери Анохина.— Впрочем, и ваш Миша ему под стать.

Валентина Ивановна молча наклонила голову. Украдкой, чтобы не заметил старик, она оглянулась на дверь.

— Не бойтесь,— шепнул ей Семен Иванович.— Не бойтесь, она и сама должно быть понимает, что ее появление здесь не очень уместно.

— Не знаю, не знаю. Я боюсь этой женщины, я не хочу, чтобы она снова...— Валентина Ивановна не договорила и поспешно пошла к сыну.— Ну, Миша, поеем. Ты знаешь, я забираю тебя к себе, к нам. Андрей Владимирович очень ждет тебя. Поедем.— Она взяла сына под руку, крепко и мягко, как берут только матери, чтобы оберечь, чтобы оградить своего ребенка от какой-нибудь напасти в пути.

— Не забывай наш последний разговор,— уже в дверях сказал Анохину Охотников.— Помни, никакой им пощады! Никакой пощады! — Охотников возвысил голос и странно громко, клятвенно даже как-то прозвучали в гулком больничном вестибюле эти его слова.

Семен Иванович быстро оглянулся на него. Охотников снова удивил его мгновенной переменой своей, своим вдруг потемневшим, гневно напрягшимся лицом. «Так вот, оказывается, каков он, сердитый-то!» — подумал старик.

Анохин ничего не успел ответить Охотникову. Валентина Ивановна торопливо распахнула перед сыном больничную дверь и повела его за собой, нервно пришепывая:

— Скорей! Скорей!

Они вышли на ступени подъезда, и Валентина Ивановна тревожно огляделась, готовая вот-вот увидеть Лагутину. Но ее нигде не было.

— Славу богу! — вырвалось у Валентины Ивановны.

— Ты о чем, мама?

Она не ответила. «Скорей! Скорей!» Там, за оградой, стоянка такси и всего несколько шагов надо сделать, чтобы сесть в машину и увезти отсюда сына. А уж там, потом... Валентина Ивановна не знала, что будет потом, да и не думала сейчас об этом. Ей важно было увезти поскорей отсюда сына, чтобы все, что случилось с ним, осталось позади, оборвалось, исчезло из памяти, как исчезнут из глаз больничные эти стены, едва только такси завернет за угол.

4

Таксист будто понял, чего от него хотят, сразу же пустив свою «Волгу» во всю ее прыть. И сразу же свернул за угол. И вот уж никакой больницы нет и в помине — она сперва укрылась за деревьями, а потом и деревья исчезли, все до единого. И где-то там, в больничном саду, осталась Лагутина.

Только теперь Валентина Ивановна успокоенно откинулась на спинку сиденья.

— Мы поедem в центр, к Земляному валу, — сказала она водителю. Она сидела рядом с ним. — Знаете, как туда ехать?

— А как же! Земляной вал да не знать! — Молодой на вид шофер, тотчас изобразив на лице этакую бывалость-разбывалость, пустился в разговор. — Я ведь, гражданочка, не из новичков каких-нибудь. Я за баранкой этой пятнадцатый годик кручусь. Если прикинуть, столько километров отмахал, то, где там до Луны, до Венеры бы мог уже подскочить. Мы, шоферы, которые, конечно, давно за баранкой, не хуже тех кругосветных путешественников из Чехословакии. Только опасностей у нас поболее, а денег помене. Видал я как-то в телевизор двух этих чехов — путешественников. Ну и что? Катаются на выставочных «татрах» по нашему шарикy — и вся забота. А мы...

Тут он, на счастье, умолк, занявшись своим многотрудным шоферским делом, и Валентина Ивановна смогла обернуться к сыну.

Михаил, Реня и Семен Иванович, сидя у нее за спиной, до сих пор не проронили ни слова. Слушали речи водителя? Да нет, просто не получалось как-то, не заговаривалось.

Анохин посматривал за стекло, Реня, когда ей казалось, что это выходит у нее ненароком, взглядывала коротко и широко на него, а Семен Иванович что-то понурился, будто разом устал или все ему вдруг наскучило и он только о том сейчас лишь и думает, как бы поскорей добраться домой.

За стеклами машины пригасал апрельский талый день. Все текло в городе. Казалось, даже стены домов, по которым шла и шла вниз струистая капель, тоже скоро стронутся и потекут к земле. Чем дальше в город, тем реже попадался на глаза хоть клинушек какой-нибудь чистого снега. Все почернело вокруг, повымокло, обнажилось. Город был некрасив сейчас, мрачноват и казался озябшим, как вымокший человек. И только подсыхавшие уже крыши, над которыми парило, сулили скорое тепло, знали о близком солнце. Там, наверху, по-над крышами города, была уже весна.

— Я поеду домой,— негромко сказал Михаил, когда встретился глазами с матерью.— Можно?

— Домой? — не поняла мать.— Но ведь мы и едем домой.— Она уже привыкла считать своим домом — тот, новый, где жила теперь вместе с Андреем Владимировичем.

— Можно? — повторил Михаил.— Мне надо хоть книги к экзаменам отобрать. Заниматься пока рано, но хоть книги бы отобрать.

Только теперь мать поняла, о чем толкует ей сын. И сразу очень испугалась, даже губы затряслись.

— Нет, нет, ты поедешь ко мне, к нам!

— Ох уж эти экзамены,— сказал шофер.— Все учатся, прямо заучились. А зачем? Если взять в рублях, то и шофер может с инженером потягаться. А рубли, замечу, пока еще фактор.

— Мне нужно домой,— сказал Михаил. Ища поддержки, он посмотрел на Семена Ивановича.

— Нужно? — переспросил тот.— Вот прямо сейчас?

Старик спрашивал усталым голосом. Он так и не распрямился, заговорив. Похоже было, что он действительно очень устал, что ему сейчас не до разговоров.

— Прямо сейчас.

— Нам, молодым, всегда все прямо сейчас пода-

вай,—оглянулся шофер, понимающе подмигнув Анохину.— Так куда путь держать?

— На Юго-Запад,— сказал Анохин.

— Тогда надо поворачивать. Поворачивать? — Шофер скосил глаза на Валентину Ивановну.

Прежде чем ответить, она, привстав, наклонилась к сыну.

— Да, мама,— сказал он все так же негромко, но твердо.

Валентина Ивановна умоляюще посмотрела на Семена Ивановича и Реню. Старик только руками развел, а Реня, мучительно покраснев, хоть и робко, но приняла сторону друга:

— Экзамены,— пробормотала она.

Валентина Ивановна быстро отвернулась от них.

— Ну, хорошо, хорошо... Но тогда я снова переезжаю к тебе.

— Нет, мама,— сказал Михаил.— Ты не должна этого делать.

— А что же я должна делать?! Скажи, что?!

Теперь сын, привстав, наклонился к матери.

— Ничего, мама, ничего ты не должна делать.— Он ласково положил свою руку на ее плечо, и она вдруг увидела, какая большая у ее сына рука, какая по-мужски широкая и сильная. Не таясь, она прижалась щекой к этой руке и покорилась:

— Хорошо, пусть будет, как ты хочешь.

— Значит, поворачивать? — спросил шофер и сам себе утвердительно кивнул головой.— Поворачивать. Разве нашего брата переспоришь. Такая уж у вас, гражданочка, материнская участь. Взять хотя бы и мою мамашу...

Снова, на счастье, какие-то препятствия в пути прервали шоферскую словоохотливость. Он умолк, завертев баранкой и так погнав свою «Волгу», что Анохина откинуло на сиденье.

Оставшуюся часть пути ехали молча. Только Реня, решившись наконец, открыто заглянула Анохину в лицо, шепнув многозначительно и напоминая:

— Ты должен, должен, должен... Да?

Михаил улыбнулся ей, взял ее за руку и что-то собрался было ответить, но так ничего и не сказал. А она ждала, терпеливо ждала, замерев в неловкой

позе, не зная, надо ли ей высвободить свою руку из его руки. Она решилась не делать этого. И очень обрадовалась смелости своего решения. Даже этак гордо оглянулась на Семена Ивановича. Старик все так же понуро сидел в своем углу. Казалось, подремывал.

Но вот и конец пути. Машина въехала на широкую и прямую улицу, которая завершалась невдалеке лесом. Это была Москва, потому что вокруг стояли огромные городские дома, и тут же брало сомнение: Москва ли? Уж очень близок был отсюда лес, а за ним лежали под осевшим снегом поля, а потом снова начинался лес. И все же это была Москва, потому что все тот же убыстренный ее ритм ощущался издаль. Он жил в скорости машин, в спешной походке прохожих, которых здесь было приметно меньше, чем в центре, но они все равно куда-то спешили, норовя перебежать улицу под носом у автомобилей и троллейбусов. Это была Москва. Она угадывалась по лицам витрин, где забавно соседствовало сегодняшнее и позапрошлогоднее. Она угадывалась лицом всей улицы, хоть и новой совсем, но тоже очень московской, с истинно московским смешением вкусов и верований. Легкий, собранный почти из одного стекла дом соседствовал с домом тягостно монументальным, в который явно переложили кирпича. Этот дом — кладбище строительных материалов и человеческой даровитости — всего года на три был постарше своего легкого, лучезарного соседа. Но их разделяли десятилетия. Их как бы отталкивало друг от друга, им было невозможно рядом, они явно враждовали. Это была Москва. Древняя церквушка вдали, едва видная из-за высоких стен, — это была Москва. Мост через овраг к лесу, такой уж совсем модно-новый, что непонятно было, на чем он держится, — это тоже была Москва. И вот и этот пустырь за домами, вдруг памятно ударивший Анохину в глаза всей своей откровенной, оттаявшей грязнотой, — и это тоже была Москва.

Анохин загляделся на этот пустырь, словно что хорошее там приметил. И когда машина стала подаваться в сторону от пустыря, Анохин поспешно сказал шоферу:

— Остановите здесь, я здесь сойду.

Водитель послушно притормозил.

— Но до вашего дома еще ехать и ехать,— сказала Реня.

— Я пойду пешком.— Анохин тщетно пытался отворить дверь.

— С той стороны выходить не полагается, дорогой товарищ,— сказал шофер и вопросительно поглядел на Валентину Ивановну.— Выпустить?

— Пусть идет.

Шофер понимающе, сочувственно покивал ей.

— Вот и я тоже думаю, как с ними быть — с этими детьми. У меня дочь растет. Семь лет.— Шофер перегнулся через сиденье и помог Анохину отворить дверь.— Что ж, давай, выходи, пока милиции не видно.

Прежде чем выйти из машины, Михаил начал было прощаться с матерью, но она смотрела мимо него, смотрела прямо перед собой, очень прямо держа голову.

Он окликнул ее, она не оглянулась, только сказала:

— Иди!

Михаил поспешно пожал руку Рене, поспешно, наклонясь, заглянул в глаза Семену Ивановичу и, огорченный их молчанием, их молчаливым неодобрением, торопливо выбрался из машины. Быстро обошел ее, пока машина еще не стронулась с места, и оказался лицом к лицу с матерью. Их разделяло только неплотно прикрытое боковое стекло кабины.

— Мама, так нужно,— сказал он тихо.

— Иди, иди.

А когда он выпрямился и повернулся, чтобы уходить, мать вдруг крикнула, ткнувшись лицом в стекло:

— Сынок, побереги себя!

Оглянувшись, он улыбнулся ей, очень, как ему показалось, беспечно. А ее эта вымученная улыбка на исхудавшем, на постаревшем лице сына только напугала.

— Что же теперь будет?! Зачем я его отпустила?! — горестно обернулась она к Семену Ивановичу.

Старик встрепенулся; зорко глянув за стекло, туда, где посвечивал между домами своей оттаившей чернотой пустырь. Туда, к пустырю, и шел сейчас Миша Анохин.

— Видно, наш план для него оказался непригод-

ным,— сказал Семен Иванович.— У него, видно, свой план, Валентина Ивановна. Что ж, как сумею, пригляжу за ним. Это я вам обещаю.

— Как вы думаете, он увидел, когда выходил, эту женщину?

— Вида не показал. Да и я ее больше не видел. А вы, Реня?

— Лагутину? — изумилась Реня.— Она была в больнице?

— Была, была,— покивал Семен Иванович.

— Да, такие вот дела-делишки,— сочувственно протянул шофер.— А мать — страдай. Самостоятельный, смотря, паренек.

— Да помолчите вы, боже мой! — сказала Реня.

## 5

Об этой минуте он часто и нетерпеливо думал все последние дни в больнице. Отсюда ли, от этого угла, или же от дверей своего дома он пускается в путь. Лучше, если уже вечер, и хорошо, что так оно и есть — уже вечер. Он пускается в путь. Он идет сперва туда, где окликнул его Князев. Сперва туда. И долго стоит на том самом месте, где падал и поднимался, падал и поднимался, слыша внутри себя чей-то далекий, невнятный голос, незнакомый и родной голос, который он не знал и узнал, и который приказывал ему: «Встань!»

Потом он идет дальше. Медленно пересекает внутреннюю площадь — три громадных дома встали на ее границах — и останавливается перед самым новым из этих трех домов. Он останавливается там, откуда хорошо видно угловое окно на восьмом этаже. Он закидывает голову и долго смотрит вверх, стараясь понять, если ли кто сейчас за этим окном. Свет в окне не горит. Но он знает, это еще не означает, что Лагутиной нет дома. Он помнит, как она нарочно гасила свет и притихала, боялась пошевелиться, чтобы Князев не догадался, что она дома.

Он долго стоит, закинув голову, и раздумывает, как ему быть дальше. И там, в больнице, на этом самом месте обрывались его мысли о том, что станет он делать в свой первый час, в свои первые минуты по

выходе из больницы. И там, в больнице, не хватало у него решимости даже мысленно пройти до конца свой путь — войти в подъезд, потом в лифт, подняться на восьмой этаж, постучать в ее дверь. А что потом? И как опять стучать к ней — открыто, не таясь, или же снова условленным стуком? Обо всем этом трудно, больно было думать, потому что рядом шли и иные мысли, еще более трудные, еще более смутные. Рядом думалось о Князеве. Где он? Отступился ли он от нее? Анохин слышал от Семена Ивановича, когда тот навещал его в больнице, что Князев исчез из их мест. Надолго ли? Для всех ли? Может быть, Лагутина знает, где он, встречается с ним? Старик ничего не мог сказать ему об этом. Старик только советовал: «Вон, вон все из головы! Не твоя это, Мишенька, забота, где он, что с ним».

Так как же быть: входить в дом, подниматься на лифте, стучать в дверь? Анохин шагнул было вперед, но тут же и свернул в сторону. Не сейчас, не сегодня постучит он к ней в дверь. Надо повременить. Идти к ней прямо вот сейчас — не хватило решимости. Если бы он знал, если бы он только знал, что часом раньше, оглядись он повнимательней в больничном саду, он бы увидел ее, спрятавшуюся за деревом! Он этого не знал, не мог даже подумать такое и вот побрел в сторону от ее дома. Миновал его, миновал оборвавшуюся вдруг асфальтовую дорожку и оказался на узкой, осклизлой тропе, круто сбегавшей к трем будкам на пустыре. В одной из этих будок клепали и паяли, в другой подбивали подметки, а на третьей вот и сейчас красовалась предельно краткая вывеска: «КЕПИ».

Анохин вступил на размытую талой водой тропу, оскальзываясь, начал спускаться к будкам. Зачем он шел туда — этого он и сам не знал. Просто показалось невозможным не пойти туда, раз уж он увидел это место. Понадобилось и подойти совсем близко, подойти к самой двери. На ней висел замок, не тот — старинный, громадный, который они сбили с Анютой и Реней, выручая Витьку, а совсем новенький и крошечный. Такой крошечный страж этой железной двери лучше всяких проверок свидетельствовал, что будка брошена ее хозяином, что ничего ценного, ничего нужного в ней не осталось.

Анохин попробовал заглянуть внутрь будки, но уткнулся глазами во тьму. Ему только почудились в этой тьме князевские «голованы» на прилавке и вот-вот готовые замерцать ярко-мертвым светом трубки, чтобы высветить уклеенные газетными вырезками стены.

Здесь нечего было делать, Князева здесь и след простыл. Анохин повернулся и пошел, оскальзываясь, назад.

Ох уж и разукрасила весна этот пустырь! Не верилось, что летом пробьется тут кое-где трава, что сокроются все эти залитые талой жижей ямы. И совсем уже не верилось, что придут сюда когда-нибудь строительные краны, хотя они уже заметно придвинулись даже и за те три недели, которые пробыл он в больнице. И все же не верилось, что это осуществимо, что это под силу людям — сравнять все тут овраги и ямы, свезти весь отсюда мусор и хлам, подевать куда-то все отсюда жестянки-гаражи, которых понастроили тут целые улицы, а потом высушить, вылечить эту затхлую, болотную землю, чтобы возможной стала на ней жизнь.

Анохин снова вышел к площади и остановился. Куда же теперь?

Он ждал чего-то большего от этих первых минут здесь. Оттого так и спешил остаться один, даже решился огорчить мать. Как встречи с человеком, ждал он встречи с этой маленькой площадью. Как встречи с человеком, который многое знал о нем и многое мог ему напомнить, объяснить. Площадь как площадь — асфальт, сумеречные тени от стен, редкие по обочинам прохожие. Чего ждал он от встречи с этим безмолвным пятачком земли? И нет света в окне у Лагутиной. Зачем он шел сюда? Ну, пусть бы был свет — зачем?

Ветер трепал на стене обрывки предвыборного плаката. Да, выборы прошли, но ничего не прошло из того, что началось в жизни Анохина в те предвыборные дни.

Там, в больнице, он понял, что ему не уклониться теперь от душевных обязательств, которые взял он тогда перед людьми.

В больнице о многом думалось. Трудно, упорно.

Да и не могло не думаться, когда вышагнул вдруг, попал вдруг на линию огня, где, оказывается, калечили и убивали, как на войне.

Соседями Анохина по палате — им целиком отвели палату — были все люди, которым пришлось повоевать в этой войне. Она шла без объявления, без каких-либо правил и тем чудовищнее казалась, что полем боя для нее служили улицы мирного города.

Как далеки еще недавно, какими затертыми были для Анохина эти действительно слишком уж подержанные слова: «борьба с пережитками прошлого»! Как ощутимо теперь познал он эту борьбу, сколько разительных сразу примеров она ему явила!

В травматологическом отделении больницы, как во фронтовом, нет, в полевом госпитале, встретились только что побывавшие на переднем крае и раненые там, изувеченные там — вот эти вот бойцы нового со старым. Спиридон Охотников часто называл их всех солдатами. И он не шутил, называя их так. Тут уж он не шутил. Едва заходил об этом разговор, как гневно напрягшись, гневно истончив губы, он принимался твердить свое: «Да, мы — солдаты и, как солдаты, должны, излечившись, снова стать в строй. И никакой пощады, помните, никакой им пощады!»

Вдруг сильно разболелась голова, и в глазах, чего не бывало прежде, медленно начали поворачиваться разноцветные, как радуга, круги. Надо было идти домой и стало горестно жаль, что расстался с матерью, обидел, огорчил ее только для того, чтобы приплестись вот на эту площадь, постоять потом у князевской будки и все время оглядываться на лагутинское окно, нет ли там света.

Смаргивая наплывавшие на глаза медленные радуги, Анохин двинулся к своему дому. Он пошел прямо через площадь, она уже подсохла, обледенелый снег держался еще только на прошлогодних клумбах, разбитых посреди площади. Совсем недалеко отсюда было до его кинотеатра, который посверкивал уже вечерними огнями и зазывал бегущими по небу буквами светящейся рекламы. Представилось, как через день-другой он снова войдет в проекторскую, наладит свои КПП-2 и снова начнет крутить вместе с Витькой

какой-нибудь новый фильм. Хорошо бы настоящий, такой, чтобы не стыдно было смотреть его после того, что увиделось ему в больнице. А там увиделась ему правда. Страдания не фальшивят, не терпят бодреньких словечек. Все, что там рассказывалось, все, что там происходило, было правдой — трудной, мучительной, порой страшной. Но, странное дело, все тамошние рассказы, все там увиденное не угнетало. Со всем этим можно было жить, все это помогало думать, думать, как никогда прежде, серьезно.

Минуя кинотеатр, куда сегодня ему идти было уж никак нельзя, — только при взгляде на эти огни еще сильнее ломило голову, — Анохин заторопился домой. Захотелось поскорее лечь и попытаться заснуть, чтобы поскорее пришло утро. Он столько дней ждал этого утра, когда проснется дома, откроет глаза и, удивляясь и радуясь, поймет, что он у себя дома. Тихо, в окне весеннее солнце, и ты свободен делать, что хочешь. Даже хорошо, что уехала мать. Ты один, ты совсем взрослый, ты здоров, за окном солнце, а не сумеречный больничный сад. Все-таки хорошо, когда ты один, когда никто тебе не рассказывает о печальных ночных новостях по больнице: кого увезли — совсем, навсегда — в тот жутковатый домик в углу двора и кого привезли и с чем привезли. В их палату привозили только с поля боя, только с войны, что шла на улицах их мирного города. И начинались рассказы, и снова суровая правда бередила тебе душу, снова узнавалось тобой что-то такое, о чем ты совсем еще недавно не мог и помыслить. Как все-таки хорошо проснуться поутру в комнате, где ты один, где в окно светит солнце, и не вспоминать и не знать, что ночью кого-то увезли и кого-то привезли!

6

Всю дорогу домой Лагутина не уставала изводить себя: «Ну зачем приплелась в больницу?! Ну зачем?!» Она ни разу не навестила Анохина, покуда он лежал в больнице. Собиралась, да так и не собралась. Ей было стыдно идти туда. Пугало, что все там станут указывать на нее пальцами. Из-за нее, это из-за нее парня поувечили. Боялась и самой встречи с Анохи-

ным, разговора с ним. Вспоминались его глаза за очками — странно большие и какие-то умоляющие и очень, очень честные. Такими они запомнились ей, когда он, чудной, вдруг сказал: «Нина, выходите за меня замуж». Боже мой, какой же он еще мальчик! Но этот вот мальчик выстоял перед Князовым.

Семен Иванович рассказал ей, как все было. Рассказал, а потом — тоже чудной человек — запрокинул к ней седенькую свою головенку и попросил:

— Только молчок, соседка, молчок об этом. — Сам же пояснил, не дожидаясь ее вопросов: — Не подумайте, не Князева этого боюсь, а кривотолков всяких. — Помолчал, подумал, опустил голову. — Да и с Князовым лучше не связываться. Не находите?

В тот вечер, когда Анохин привел ее к себе, а потом ушел ночевать к Лебедевым, она и думать не думала, чтобы лечь спать. Ее все время знобило, как перед дальней дорогой. И трудно было усидеть на месте. И трудно было на чем-то сосредоточить свои мысли. Невозможно было даже в завтра заглянуть — а что там, завтра?

Не присаживаясь, она бродила и бродила из угла в угол по комнате, рассеянно, но зорко и, запоминая, всматривалась в этот чужой ей мир, простодушно открывавшийся глазам. Здесь жили бедновато, здесь старая дослуживала мебель, та еще, какую стали делать в стране, когда стране еще было не до мебели, не до галстуков, не до платьев. Мужчины ходили в косоворотках или попросту с распахнутым воротом, женщины ходили в мужских блузах, а волосы подвязывали красными косынками. Это было время, о котором Нина знала лишь по старым кинофильмам да по книжкам. Это было время революционной юности страны, очень, кажется, взволнованное, очень молодое, наивное и суровое вместе с тем время. Странно, но вот даже ее мать, всегда, сколько помнит Нина, занимавшаяся какими-то темными делишками, частенько вспоминала это время с доброй улыбкой, вдруг смягчая, молодея лицом. Это было время ее юности, время ее честности. Что же случилось, что же такое случилось, что стала ее мать потом совсем другой? Не повезло? Не с теми людьми смолodu повстречалась?

А вот здесь и поныне жил этот давнишний, моло-

дой дух страны, жила эта простота во всем и открытость. Вот ходит она, чужая, по этой комнате, смотрит кругом, и кажется ей, что Миша Анохин все знакомее делается ей, все ближе. И горькое сжимает сердце чувство: «Нет, ты чужая всему этому, чужая». И все же вспыхивает где-то в самой глубине, как далекий фонарик ночью, надежда: «А вдруг переменится теперь все, вдруг переменится?»

И снова — из угла в угол, ни на минуту не присаживаясь и не смея заглянуть даже в свое завтра — а что там, завтра?

А назавтра она узнала от прибежавшего к ней чуть свет Семена Ивановича, что Князев напал на Анохина, что Михаила увезли в больницу, а Князев куда-то сбежал. И, узнав все это, услышала в заключение совет: «Только молчок, соседushка, молчок...»

А назавтра притаившийся где-то Князев подал ей весточку о себе. Дома у нее телефона не было и иногда, в очень срочных случаях, приятели звонили ей на работу. Дозвониться туда было не просто, телефон постоянно был занят: звонили все заказчицы со своими «Когда?» и «Почему?». Князев дозвонился.

— На время ухожу в отпуск! — с веселой хрипотцой зазвучал в трубке его голос. Видно, Князев был пьяноват. Даже почудилось, что он сейчас водочно-жарко дохнул на нее, близко и страшно заглянув в глаза. — Но ты не бойся, невеста дорогая, я от тебя за так просто не отступлюсь. Советую, живи в страхе божьем. — И рывком повесил трубку.

В страхе — бог тут ни при чем — просто в страхе советовал ей жить Князев. А как еще, как еще она жила все эти годы, все свои смолоду годы?!

Больше Князев вестей о себе не подавал. Но она-то знала, он еще объявится. В самую какую-нибудь тихую минуту вдруг царапнет ногтем по двери. В какую-нибудь ее счастливую минуту вдруг вынырнет из темноты — вот он я!

Сперва многие в ателье спрашивали ее о Князеве, куда, мол, пропал. Она отмалчивалась. Кое-кто там явно догадывался, а может быть, и точно знал, что это Князев напал на Анохина, но об этом с ней не заговаривали. Правда, Саркисян спросил:

— С Князевым у тебя покончено? — И, когда она

кинула ему, добро улыбнулся ей.— Тогда правильно, тогда все правильно...

А их строго-ласковый заведующий, который, она была уверена, куда как больше знал о Князеве, чем она, будто и забыл, что работал такой человек в их ателье и что был этот человек ее женихом.

Ни разу не заговорил Анатолий Павлович с ней о Князеве, но ей казалось, что он может каждую минуту заговорить, может даже привет от Князева передать, так иногда ласково-пристально, ласково-знающе поглядывал он на нее. Ей жутко становилось от этих мимолетных, тайком от других, взглядов. Ей страшно становилось. А что, если сейчас он заговорит и скажет: «Евгений Андреевич кланялся вам и велел...» Она не досказывала сама себе этой фразы, боялась досказать. Она только знала, что каждую минуту, сами или через других, может Князев подать ей о себе весть. Может что-то потребовать от нее, что-то приказать. Его власть над ней не прервалась. В ласковых поглядываниях Анатолия Павловича чудились ей упористые глаза Князева, в ласковой улыбочке Анатолия Павловича — его, Князева, привычно изморщенное в улыбке лицо. Страшно!

И только Миша Анохин, этот мальчик, который решил вступить за нее, который выстоял из-за нее перед Князевым, только он сейчас был ее надеждой, ее опорой. Ах, как она хотела увидеть его, поговорить с ним, утвердиться в своей вере в него, заглянув в его твердые, добрые глаза! Но не хватало решимости пойти к нему в больницу, стыдно было людей.

И все же она пошла, пошла, когда узнала стороной, что он выписывается. Пришла и опять смутилась, увидев его мать, его друзей. Из-за дерева, спрятавшись, смотрела, как Анохин вышел из больницы, как уехал вместе с матерью и друзьями.

«Ну зачем приплелась в больницу?! Ну зачем?!» — покидая свое укрытие, спросила она себя с такой душевной досадой на самую себя, что даже выступили на глазах слезы. И потом, всю дорогу домой, только эти слова и твердила. Они прилепились к ней, как иной раз пристаёт какой-нибудь запетый мотиль. Думаешь, разговариваешь, что-то делаешь, а он все с тобой, никак не отстанет.

Сойдя на троллейбусной остановке неподалеку от своего дома, Лагутина пошла домой не через площадь, а так, чтобы пройти рядом с домом Анохина. Она не любила ходить этой дорогой, лишний раз подводившей ее к дверям ателье, которое и без того ей осточертело. Но теперь вот пошла. Затем только, чтобы убедиться, что Анохин вернулся домой. Если в окне его комнаты зажегся свет — значит, он уже дома. Все три недели, покуда он был в больнице, света в окне не было. Сейчас свет в окне был. Вернулся!

7

Необычен, гулко-тревожен звонок телефона в тишине квартиры, где ты совсем один, где только вот очутился после многих дней в шумной палате, в людных больничных коридорах. Кажется невероятным, что это звонят тебе. Кажется, что это неспроста звонок, что по пустому поводу так громко, так напористо телефон звонить бы не стал.

Анохин едва успел оглядеться в своей комнате, как в коридоре зазвонил телефон.

Тревожно прервавшимся голосом Анохин спросил в трубку, словно это в дверь к нему постучали:

— Кто там?

И услышал радостный голос матери:

— Миша, наконец-то! А я звоню, звоню. Ну, слава богу, ты дома. Послушай-ка, ведь у тебя и поесть там нечего.

— Чай да сахар должен быть,— сказал Михаил, дивясь тревоге, которая только-что перехватила ему дыхание. Ну, конечно же, это мама! Она и не могла не позвонить.

— Хочешь я сейчас привезу тебе что-нибудь поесть? — спросила мать. — Чай да сахар — это не еда.

— А мне и не хочется есть,— сказал Михаил. — Знаешь, что мне сейчас хочется?

— Ну?

— Проснуться завтра утром и чтобы в окно светило солнце, а кругом никакой больницы.

— Так и будет, сын,— сказала мать, и он как бы увидел ее улыбку, услышал ее улыбку. — Ну, спи, спи. Завтра утром я тебе опять позвоню. Или лучше ты мне

позвони, когда проснешься. Домой или на работу. Хорошо?

— Хорошо.

— Спокойной ночи, сынок.

— Спокойной ночи.— Он подождал, прислушиваясь, не скажет ли мать ему еще что-нибудь. И она тоже не вешала трубку, тоже ждала, не скажет ли ей сын еще что-нибудь.

— Не тревожься,— сказал он.

— Не буду,— тихо откликнулась она и, повременив еще немного, повесила трубку.

Но едва только и Михаил отошел от телефона, тот снова принялся издавать свои гулко-тревожные трели. И снова, чего-то испугавшись, Анохин робко спросил в трубку, словно это ему в дверь постучали в неурочный час:

— Кто там?

И услышал бойкий голосок Семена Ивановича:

— Миша, вы? Уже дома? Вот и хорошо, вот и прекрасно. Да, кстати, в больнице я как-то самочинно перешел с вами на «ты». А как теперь мне обходиться — тыкать или выкать?

— Тыкать,— рассмеялся Анохин.

— Так тому и быть! Чем собираешься заняться, молодой человек?

— Спать, спать.

— Благое дело. До завтра. Любовь Григорьевна жаждала взглянуть на героя. Заявишься вечером?

— Заявлюсь.

Ну, конечно же, и Семен Иванович не мог не позвонить. Как хороша в нем эта его дружелюбность, его доброта к людям. Спасибо ему.

Но вот и снова звонок. Едва Анохин вернулся к себе в комнату, как снова начал звонить телефон.

«Да что они сговорились все?» — усмехнувшись, подумал Михаил, наперед зная, что сейчас услышит голос своего большого друга Рени.

— Да, Реня, я дома, дома,— сказал он, поднимая трубку.— Спасибо вам за заботу.

— Это не Реня,— прозвучал тихо, очень издали будто, голос.

— А кто? — Вот оно, вот отчего такая тревога жила в этих звонках!

— Это я, Нина Лагутина. Здравствуйте, Миша.  
— Здравствуйте.  
— Насилу раздобыла ваш телефон. Увидела в окне свет и вот решила позвонить. А телефона-то и не знаю. Пришлось идти к вам в кинотеатр, спрашивать у администратора. Миша, отчего вы молчите?

— Я не молчу.

— Ну, как вы? Все прошло, да?

— Прошло.

— Миша... Тогда, в тот вечер... А потом, когда я узнала...— Ее голос затерялся где-то далеко-далеко, Анохин перестал разбирать, что она ему говорит.

— Где вы? — позвал он.— Я вас не слышу.

— Я тут, совсем рядом,— вдруг близко коснулся его ее голос.— Совсем почти под вашим окном. Знаете, телефонная будка на углу?

— Знаю.

— Я вас задерживаю? Простите, захотелось вот услышать, что вы дома. А потом как-нибудь мы и увидимся. Хорошо?

— Хорошо. А где вы?

— Я уже говорила, я совсем рядом, под вашим окном.

Он почувствовал, что она улыбнулась его нелепому вопросу. И только сейчас, когда она улыбнулась, до конца вспомнился ему ее голос, и с внезапной отчетливостью вспомнилось ее лицо.

— Я сейчас спущусь к вам. Можно?

— А вам можно?

Ему показалось, что она обрадовалась.

— Можно! Иду! — Он рывком шагнул к двери, забыв выпустить из руки трубку.

Шнур натянулся и удержал его. И он вдруг и сам, словно спохватившись, остановился.

Но ненадолго.

— Иду! — снова сказал он в трубку и, как бы освобождая себя от привязи, трудно отлепил трубку от ладони.

Он увидел ее в телефонной будке — она почему-то продолжала стоять там, ожидая, когда он выйдет.

И она все стояла там, глядя на него через стекло, пока он не подошел совсем близко.

А потом неловко вышла к нему навстречу, придерживая рвавшуюся на ветру дверь, рвавшийся на ветру подол пальто, чуть не слетевшую с головы косынку. Он стал помогать ей с дверью, которая, вообразив себя парусом, забилась, напряглась, никак не желая встать на место. Наконец они с ней справились. И только тут поглядели друг на друга, близоруко подавшись друг к другу из-за темноты.

— Вас не разглядеть, — сказала она.

— Вас тоже.

— А почему вы без шапки? Простудитесь еще. Знаете, я вижу только ваш бинт и вот еще очки. Наверное, бинт вам к лицу.

— А я вас больше вижу по голосу.

— Как это?

— Вижу, как вы улыбаетесь.

— Как?

— Как всегда со мной.

— А как все-таки?

— Это очень трудно объяснить.

— Вот и все?

— Вот и все.

— Не много же вы разглядели.

— Пойдемте к свету. Вон туда, к подъезду.

— Пойдемте.

Несколько шагов, отделявших их от подъезда, они прошли молча. Желтый свет лампочки все больше вбирал их в себя.

Вдруг она сказала:

— Дальше не нужно. — И остановилась.

Он тоже остановился.

— Ну, какой вы, не оробели? — странно спросила она, пристально заглядывая ему в лицо. — Нет, кажется, нет. А теперь идите домой. А то еще увидит кто.

— Кто?

— Люди, люди... Мы думаем, вокруг ни души, а завтра — сто человек знать будут, что я с вами тут стояла.

— Вы боитесь?

— Не за себя. Чего уж... А вам и так досталось. — Она поспешно отшагнула в тень, увлекая его за со-

бой.— Хватит! Ну, идите, идите! Спасибо вам за все. Идите! — Она принялась подталкивать его к двери.— Не упирайтесь, я лучше знаю.

Они снова вступили в освещенный круг, и тут Анохин уперся, натвердо встав под самой лампой. Лагутина поняла, что он нарочно выбрался на самый свет и нарочно встал тут, действуя наперекор ее страху.

— Ну, что будем делать? — уступая, спросила она.— Так и будем тут стоять?

— Нет, пойдем, побродим, если вы не торопитесь.

Он взял ее под руку, она удивленно покосилась на него и шагнула следом за ним.

— Пойдем, побродим,— повторил он, с ужасом ощущая, как начала вдруг вздрагивать его рука, и мгновенно напрягаясь, чтобы унять эту дрожь.

— Не бегите так,— попросила она.— Да нам и некуда спешить.

Он не ответил и не сбавил шаг. Он боялся, заговорив или сбавив шаг, дасться подбиравшемуся к нему ознобу. Он шел и шел, дивясь согласности ее с ним движений, слыша касание ее плеча, ее руки, слыша ее дыхание почти вровень со своим. И не смея поглядеть на нее. Шел и шел, не ведая куда, оробев и мучительно страшась, что вздрогнет рука, что вздрогнет, если заговорить, голос.

Внезапно из широкого окна-витрины словно выплеснулся навстречу им яркий, слепящий свет. Он сразу обдал их с ног до головы, заставив остановиться, пригнуться, как под настигшим врасплох ливнем, а потом броситься, кому куда покажется спасительней. Лагутина потянула прочь от света, а Анохин, явно наперекор ей, шагнул к открытой настежь двери, так же ярко светившейся, как и окно. И Лагутиной пришлось снова уступить, так накрепко ухватил он ее за руку.

Это была дверь в их «Семерку» — столовую в первом этаже анохинского дома, которую Витька Снегирев, в зависимости от состояния своих финансов, называл то «Забегаловкой», то кафе «Первое-второе», а то и рестораном «Чего-душе-угодно».

— Вы с ума сошли! — сказала Лагутина, поглядев на себя и на Анохина в большое зеркало у вешалки.— Ведь подумают бог знает что!

Она нарочно прижалась к нему плечом, глянув в зеркало, как это выглядит.

— Ну и парочка! — усмехнулась она.

Он тоже посмотрел в зеркало и как бы со стороны увидел сейчас ее и себя. Парень с забинтованной головой, с худым измученным лицом, одетый во все слишком ношенное для этого посверкивающего стекла, и девушка, такая как раз, какую ждешь увидеть в ярком зеркале, когда за спиной звучит музыка и слышны веселые, возбужденные голоса. Они не уживались рядом — он и она. Станным и, конечно же, случайным, было то, что они прижались сейчас друг к другу. Анохин попробовал отодвинуться от нее — парень в зеркале сделал это так неловко, и таким жалким показался ему в своем робком движении, что Анохину просто невольно стало смотреть в зеркало.

— Пойдемте! — сказал он Лагутиной, решительно обернувшись к двери в зал.

— Прямо в пальто? — спросила она.

Он помог ей снять пальто, стараясь не встретиться с ней глазами, что ему и удалось. Но ему не удалось, когда он пошел к раздевалке, не заметить в зеркале ее взгляда, каким она проводила его. Ему показалось, что она смотрит на него как-то жалеючи. Ему показалось еще, что она растерянна и даже испугана, хотя этак вот уверенно, победно сейчас распрямилась.

Сдав пальто старичку швейцару, который узнал его, и приготовился было о чем-то спросить, Анохин вернулся к Лагутиной, теперь уже старательно избегая глядеть и на нее и в зеркало. Оставалось смотреть только себе под ноги.

— А может быть, не пойдем? — спросила она.

— Пойдем. — Он продолжал рассматривать узоры на линолеуме.

— А вы смелый, — сказала она и, кажется, не улыбнулась.

— Какой есть. — Он отворил дверь. Свет, и музыка, и голоса рванулись ему навстречу. И сразу кто-то крикнул, не разобрать — радостно или удивленно:

— Смотрите, да ведь это Анохин!

Он с трудом оторвал глаза от узоров на полу и посмотрел в светлую, гомонливую глубину зала.

За стойкой, как всегда, стояла маленькая Анюта.

Ее и без того удивленные брови удивились еще более; став почти кружочками на ясном ее лбу, когда она увидела в дверях Анохина, а рядом с ним Нину Лагутину.

«Семерку» было не узнать. С ней приключились чудеса, какие только возможны с женщиной, которая то все ходила в затрапезе, а то вдруг надела модное платье, модные туфли и причесалась у парикмахера. Вот ведь, и стройна и хороша собой, а казалась старухой.

Все стало новым тут — и стулья, и стены, и пол с потолком. И все — нынешним, легким, многоцветным. Прибавилось втрое света и куда-то подевался кухонный чад, который прежде был тут так же вещественен, как холодильник за стойкой.

Опередив Анохина, Лагутина быстро пересекла зал и выбрала свободный столик в самом дальнем углу. Быстро села, оперлась на несогнутые пальцы подбородком и стала ждать, недвижно и не глядя ни на кого, Анохина.

А его со всех сторон обступили, тормоша, оглядывая, здороваясь, зовя к себе за столик. Множество знакомых оказалось здесь у Анохина. Он и не знал иных, не мог даже припомнить, с кем где встречался.

Но вот к нему подошла Анюта и хозяйской рукой отвела в сторону. И только они остались вдвоем, вдруг выпрямилась перед ним, даже на цыпочки привстала, чтобы хоть как-то подравняться с ним в росте, и строгим голосом спросила:

— С кем это вы пришли сюда?

— С Лагутиной. Разве вы ее не знаете?

— Как же, невеста Князева! Того самого, который, говорят, на вас и напал тогда. Правда? Это был он? Анохин оглянулся на Лагутину.

— Простите, Анюта, меня ждут.

— Я очень рада, Миша, что вот вы и поправились и даже к нам вот пришли... — Анютин голос зазвучал ласково, дружелюбно, но тотчас и снова одеревенел. — Но с кем, с кем вы пришли?! Мы тут все пере-

делали, мы боремся тут за все хорошее, чистое, за настоящую дружбу, а вы...— Анюта все еще стояла на цыпочках, ей трудно стало так стоять, и она ухватилась за отвороты анохинского пиджака.— Эх, Миша Анохин, Миша Анохин, до каких же пор вы будете доверять всяким скверным людям?— Вдруг оттолкнувшись от него ладонями, она повернулась и быстро пошла к своей стойке. Маленькая, но будто высокая — так прямо она держалась.

Только она отошла, как на пути Анохина встал бравого вида широкоплечий паренек с красной повязкой дружинника на рукаве.

— Анохину, привет! Узнаешь?— Паренек крепко потряхнул Анохину руку.— Слушай, браток, с кем это ты?..— Паренек скосил глаза на Лагутину.

— Это мой друг,— сказал Анохин, тщето стараясь припомнить парня, застывшего ему дорогу.

— Друг?.. У нас иные сведения...— Паренек многозначительно поджал губы, прищурился.— Что смотришь? Не узнаешь никак? А ты вспомни, кто тебя на носилках ташил в тот вечерок. Вспомнил? Санитар в головах, а я в ногах. Хотя верно, ты тогда бессознательный был. Ну, а сейчас — в сознании? Ведь это же Нинка Лагутина, князевская деваха. Улавливаешь?

Анохин молча кивнул пареньку и, обойдя его, торопливо зашагал в угол, где сидела Лагутина. Анохин понимал: она заждалась его. Еще издали приметил он во всей ее позе напряженную неестественность человека, который только делает вид, что ему безразлично все здесь происходящее. А сам все слышит, все примечает, внутренне вздрагивая от каждого громкого слова, от каждого взгляда.

— А я уж думала, вы не придете,— сказала она, когда он подошел.— Ну, а что же дальше? Знаете, я бы выпила, но здесь, кажется, не пьют. Танцы под молочный коктейль.

— Раньше здесь можно было раздобыть бокал другой шампанского.

— Раньше — это когда? — спросила Лагутина и очень удивленно, словно только увидев, поглядела на Анохина.— Как странно, и месяца не прошло с того вечера, а кажется, что целый год позади. Правда, хорошо бы что-нибудь выпить чуть покрепче кефира.

— Я сейчас принесу,— сказал Анохин и пошел к стойке.

— Не надо, вернитесь! — шепотом окликнула его Лагутина.

Он оглянулся и самонадеянно помахал ей рукой.

— Анюта, требуется алкоголь! — бодро-весело заявил он, подходя к стойке.

— Водкой не торгуем.

— Шампанского, два бы только бокальчика.— Не глядя на Анюту, он принялся добывать из кармана деньги, шумно выкладывая бумажку за бумажкой и монету за монетой на стойку.

Анюта смягчилась: уж больно он был сам не свой.

— Ладно, принесу. Идите, идите к своей даме.

Анохин благодарно улыбнулся ей и наклонился, собираясь что-то сказать, но к ним уже подходил коренастый паренек, шагая так совсем, как моряк в ненастную вахту шагает по палубе: вразвалочку, цепко ставя ноги. Еще издали он стал делать Анохину какие-то знаки — мол, постой-погоди. Снова объясняться с ним Анохин уж никак не хотел.

— Анюта, а где наш Витька? — успел лишь спросить он и поспешно отошел от стойки.

Лагутина продолжала сидеть за столиком все с тем же отсутствующим видом, не зная, что со стороны очень приметна ее напряженность, ее встревоженность.

— Не нужно так, Нина,— сказал Анохин, подходя.— Ну зачем вы так?

— И сама не пойму. А вы о чем?

— Вот об этом.— Он подсел к столу и, подражая ей, уперся пальцами в подбородок, нахмурился, уставился в одну точку.

— Похоже,— кивнула она.— Но когда так сидят мужчины, то они кажутся просто манерными дурачками, а когда женщины... Смотрите, он опять к вам идет. Что ему от вас нужно?

Паренек с красной повязкой на рукаве, все так же цепко ставя ноги, будто шагал по шаткой палубе, не спеша двигался прямо на Анохина.

Анохин встал.

— Что тебе?

— Есть дело.— Паренек холодно смотрел мимо Анохина на Лагутину.— Между прочим, когда я тебя

волок на носилках, я как раз все прикидывал, за что это тебя стукнули. Как думаешь, за что?

— Вы меня спрашиваете? — спросила Лагутина.

— Можно и вас.

— А я вот и не знаю.

— Не знаете?.. — Паренек многозначительно поджал губы и прищурился. Когда он так вот поджимал губы и щурил свои и без того маленькие глазки, его пухло-добродушное лицо делалось вдруг замкнутым и старообразным. — Если не знаете, я могу сказать. — Паренек глянул на Анохина. — Сказать?

— Да кто ты такой? — с тоской спросил Анохин. — Кто ты такой?

— Без шума, без шума, — сказал паренек и крепко положил руку на плечо Анохину. — Сядем.

Анохин стряхнул его руку с плеча, но сел. И паренек тоже сел.

— Между прочим, здесь у нас молодежное кафе, а не ресторан под буги-вуги, — торжественно произнес он, прищурившись на Лагутину. — Ясно? Улавливаете?

— Буги-вуги сейчас уже не танцуют, — сказала Лагутина. Она не улыбнулась, чего ждал Анохин. Она очень серьезно глядела в нацелившиеся на нее щелочки-глаза.

— Вам виднее, это вам виднее, — охотно согласился паренек. — Что касаясь всяких там родимых пятен — это вам виднее.

— Слушай, друг! — подался к нему Анохин. — Слушай!

— Без шума, без шума. Я-то тебе друг, это так, я-то тебе друг.

— Тогда, как друга прошу, дай нам поговорить!

— Еще не наговорился? Мало тебе?

— Мало.

— А потом, глядишь, опять на нашем участке происшествие? Мы за все в ответе, товарищ Анохин, за все.

— Я сам за себя отвечу.

— А мы — особо. С нас такой спрос, чтобы на участке, какое место ни возьми, чтобы ни драк, ни краж, ни иных-каких нарушений. Улавливаешь?

— Кто это — мы? — спросила Лагутина.

— Дружинники! — гордо распрявился паренек. — Наша тут дружина.

— Спасибо вам, — сказала Лагутина. — Спасибо, что подошли. А то мы как-раз собирались с Анохиным подраться.

— Э, гражданочка, вы из меня дурака-то не стройте! Не думайте, что вы есть самая умная. Есть и поумнее.

— Да почти все, — сказала Лагутина.

— Вот так, есть и поумнее. Вы ведь в ателье работаете?

— Верно.

— Приемщицей?

— Да.

— А заведующего вашего Анатолием Павловичем величать?

— Анатолием Павловичем.

— Ревизия совсем недавно у вас была, правильно?

— Правильно.

— Беспокойство, а?

— Беспокойство.

— Вот так, значит, знаю кое-что?

— Кое-что знаете.

— То-то и оно. И про Князева Евгения Андреевича нам тоже многое известно.

— Да ну?

— А вы не смейтесь, не смейтесь — слезы бы не полились.

— А я и не смеюсь.

— Ну, уходи, парень! — упирая на каждое слово, но тихо проговорил Анохин. — Теперь -- уходи!

— Эх, Анохин, эх, Анохин, — сочувственно и осуждающе покачал головой паренек. — Эх, друг ты наш, товарищ дорогой...

— Теперь — уходи...

— Без шума, без шума!

Они наклонились друг к другу, почти сойдясь головами. Со стороны можно было подумать, что они о чем-то по-приятельски перешептываются.

Подошла Анюта, суховато кивнула Лагутиной и поставила на стол два налитых бокала, тарелку с печеньем, тарелку с апельсинами. Спросила:

— Так хорошо?

— Очень,— сказала Лагутина и улыбнулась ей.— Очень даже.— Она поднялась.— Миша, я на минуточку.— И быстро пошла к выходу, сильно клонясь вперед, как человек вот-вот готовый побежать.

Анохин вскочил, шагнул было за ней и остановился.

— Она не вернется,— сказал он и оглянулся на Анюту, надеясь, что та разуверит его.— Не вернется?

— Почему? — удивилась Аня.— Ну, вышла на минутку.

— Нет, она не вернется.— Анохин рывком шагнул к дружиннику.— Слушай, ты всегда такой?!

— Стараюсь.— Паренек встал, расправил свои широкие плечи и очень дружелюбно поглядел на Анохина. Даже этак по-дружески подмигнул ему.— Не сердчай, добра тебе желаю, не сердчай.

Обезоруживающе ясным, добродушно-простоватым было сейчас лицо этого стража порядка. Ну что с таким делать?! Ну что такому скажешь?! Анохин отвернулся от него, безвольно уронив вскинувшиеся руки.

— Что тут у вас произошло? — спросила Аня.

— Так, был профилактический разговорчик,— не без самодовольства пояснил паренек. И вразвалочку, цепко ставя ноги, отошел от столика, важно и не спеша оглядываясь, куда путь держать, где в нем сейчас есть надобность. В противоположном углу кто-то громко запел. Паренек насторожился, всмотрелся и зашагал на поющий голос.

## 10

— Слушай, Нина, не знаешь, Анохин этот из больницы не выписался? — спросил Саркисян, приоткрыв фанерную дверцу своего кабинета.

Был ранний час, в ателье ни единого посетителя, и Лагутина, склонившись щекой к столу, додремывала недоспанное за ночь.

Не получив ответа, Саркисян подошел к ней, уперся единственной своей рукой о спинку ее стула, наклонился и шепнул над ухом, вдруг вспомнив веселое свое «э»:

— Нэ знаешь?

Лагутина и тут не отозвалась.

— Не знает! — сам себе тогда ответил Саркисян и на цыпочках пошел от ее стола. — Спи, спи, дорогая. Где и вздремнуть, как нэ на работе.

Но он-то знал, что она не спит — уж очень зажмурилась, и знал, что она виделась вчера с Анохиным. Ему рассказала об этом Анюта. С час назад, когда он шел на работу, остановила его и принялась рассказывать, волнуясь, точно случилась невесть какая беда. Выслушав ее сбивчивый рассказ, в котором каждым вторым словом было «Он!» или «Она!» — Саркисян весело переспросил:

— И убежала?

— Ага!

— А Анохин?

— А он чуть не заплакал и пошел домой.

— Ну, чуть — не считается.

— Два бокала шампанского так и остались. И апельсины.

— Нэ выпил шампанского? Нэ съел апельсины? Плохо дело!

— Я боюсь, — сказала Анюта, — я очень боюсь. Ведь это Князев тогда его, Князев? А он опять за свое, опять с ней! И еще я за Витьку боюсь... — шепотом вдруг пожаловалась она. — Помните Витьку? Рыжий такой.

— Помню Витьку. Хитрый он у тебя, а не рыжий. Ну?

— Нет, он не хитрый, это он раньше был хитрым. Веселым был. А теперь — скучный и в глаза не смотрит. Я боюсь...

— Хватит! — решительно прервал ее Саркисян. — Бояться нельзя. Бояться хуже всего. Это я тебе как бывший пограничник говорю. Испугался — пропал. Рассмеялся — победил. Ну-ка, улыбнись! — Он протянул к Анюте свою тяжелую, с широченной ладонью руку, как бы вобравшую в себя силы и той руки, которой у него недоставало, и легко коснулся этой лапищей с побитыми пальцами ее головы. — Улыбнись, дочка.

Она послушно улыбнулась, но улыбка не удержалась на ее встревоженном личике.

Вернувшись в свой кабинетик, Саркисян с порога снова оглянулся на Лагутину.

— Нэ знает! — громко повторил он и досадливо вскинул руку. — А какое мне до этого дело?!

Притворив дверь, он сел за стол, придвинул к себе большие канцелярские счеты и принялся с треском отщелкивать костяшки.

— Никто здесь ничего не хочет мне говорить! — Одна костяшка.

— Выходит, я чужой им здесь! — Другая костяшка.

— Или, может быть, все здесь так хорошо, что и говорить не о чем? — Третья костяшка.

— Нэт, нэ правда! Я даже носом чувствую, что тут пахнет нарушителями! — Саркисян резко поставил счеты на ребро.

Он сам наслал на свое ателье ревизию, он — бухгалтер. Это было признанием собственной беспомощности, признанием, что сам он докопаться до истинного положения дел не может, не умеет. Он пошел на это.

Неделю целую два ревизора, с любовью и рвением подлинных артистов, являя великолепные образцы дотошности, придирчивости, подозрительности и даже жестокости, рылись в денежных документах, перемеривали отрезы, чуть ли не пересчитали все иголки и спрашивали, переспрашивали и выпрашивали всех работников ателье — от директора до уборщицы. И ничего. Лишь пустяковые нарушения, без которых просто не обойтись.

— Да, ничегошеньки! Э, опять это слово!

Это было не его, а жены Маши словечко. Из ее любимых, взятых из сказок, что ли. Похоже, она нарочно, в укор ему и в поучение, приохотилась вставлять в свою речь всякие там баюшки, аюшки, лапушки, охохонюшки. Двадцать лет все приучает его к русскому языку.

— Да, охохонюшки!.. — Саркисян досадливо отодвинул от себя счеты и тяжело, вместе со стулом, повернулся к стене, на которой висела у него старая, потлевшая в сгибах карта Советского Союза с красными флажками вдоль почти всех сухопутных границ. Там, и вон там, и там он некогда служил на погранза-

ставах. Был тогда молод, и Маша была молодой. Эх, какое же это было время чудесное! Какое прямое, смелое, ясное это было дело — охранять родные границы! Но побила война, пришлось уйти из армии, на склоне лет переучиваться. Быть просто пенсионером казалось невыносимым. И вот выучился на бухгалтера. Тихая профессия, будь только честен, и никаких тебе забот. Как бы не так!

Скоро десять лет, как он бухгалтерствует. Срок немалый. А привычка нейдет. Оказалось, вовсе не тихую профессию избрал он себе после ратных дел. Вовсе не мирную. Все в бою да в бою. Но с кем в бою? С жуликами, взяточниками, проходимцами. От такого противника мудрено не затосковать. Попробуй, крикни такому: «Стой! Кто идет?!» А он никуда и не идет. Он уже давно рядом с тобой, может, даже другом твоим считается. Наставь на такого автомат. «Да за что же?! — крикнет он. — Друг, товарищ, за что же?!» Уличать такого не просто да и противно. Случись что, он станет лгать, выкручиваться, клеветать, поминать свои заслуги, вызывать к дружеским чувствам. Но это уж крайности, когда попался, когда «веревочки конец». А покуда — он такой же, как и ты, как и все. Он сидит рядом с тобой на собрании, поет вместе с тобой песни на демонстрации, пьет с тобой пиво, ходит на футбол, называет товарищем.

Саркисяна перевели на работу в ателье недавно. Не сам пошел, а перевели.

— Будем создавать в районе большие комбинаты бытового обслуживания, — сказал ему секретарь райкома. — Приглядысь к этому делу, Сурен. Очень важно, чтобы самыми насущными, повседневыми нуждами народа ведали люди не только умелые, но и кристально честные. Согласен со мной?

Член бюро райкома Сурен Саркисян, тяжело вздохнув, не очень-то охотно наклонил свою седую голову.

— Согласен. — И тут же спросил, попытавшись скрыть за улыбкой явную растерянность: — Что, Федор Сергеевич, выдвигаешь меня или задвигаешь?

— Выдвигаю, — сказал секретарь. — Выдвигаю к народу, Сурен.

— Да, охохонюшки!.. — помнится и тогда вздох-

нул Машиным словечком Саркисян. — Ну, ладно, начну опять делать карьеру...

Он знал, на что идет, меняя работу в бухгалтерии крупного стройтреста на бухгалтерство в ателье. Но, видно, недостаточно хорошо знал.

В дверь постучали — ласковенько этак, уважительно.

— Входите, Анатолий Павлович, входите, — сказал Саркисян, сжав ладонью зло дернувшиеся брови.

Неспешно и неслышно отворилась дверь, и в кабинетик неспешно и неслышно вошел Анатолий Павлович.

— Занимаешься? Не помешал?

— Нет, не помешали. Ждал вас.

— Ну, правильно, правильно — поговорить нам надо. — По-обыкновению прямой, начальственно медлительный, Анатолий Павлович очень прямо сел на против Саркисяна. — И знаешь что, Сурен Мкртичевич, давай-ка поговорим начистоту. Мы все с тобой ругаемся, а давай-ка спокойно поговорим. Условились?

— Как получится.

— А ты постарайся, постарайся на меня не кричать. Честно, я этого не люблю.

— Постараюсь. А вы постарайтесь не называть меня на «ты». Честно говоря, я этого не люблю, когда мне «тыкают».

— Даже по-дружески, как коммунист коммунисту? — мягко спросил Анатолий Павлович.

— Какая уж у нас дружба.

— Ну, хорошо, ну, согласен — давай по-интеллигентному. Хотя мне, как старому мастеровому... Ну, давай, давай. На «вы» стало быть? — Анатолий Павлович помолчал, медленно потянулся рукой к так и оставшимся на ребре счетам, придал им должное положение, аккуратно подравнял быстрыми пальцами костяшки. Потом улыбнулся чему-то, осторожно, уголками губ, будто вспомнил какую-то не слишком смешную, но и не без занятности историю, и негромко, дружественно так сказал Саркисяну: — Уходить вам от нас надо, Сурен Мкртичевич, вот ведь какая ситуация.

— Нэ собираюсь.

— Надо, надо. Ревизия вам не удалась, очернить

вам меня не удалось — чего же еще ждать? Проиграли, Сурен, проиграли. А, как известно, проиграл — плати.

— Или отыгрывайся.

— Хуже нет, хуже нет, как отыгрываться.

— Нэ игрок, нэ знаю.

— А я вот знаю. Доводилось в молодые годы картишками перебрасываться, глупил по молодости. — Анатолий Павлович вдруг подался к Саркисяну и ухватил его за пустой рукав, точно материю решил пощупать. — Слушай, Сурен, ведь мы тут с тобой без свидетелей, с глазу на глаз, как говорят. Слушай, Саркисян, давай поговорим в открытую, а? Ну что мы без свидетелей-то вокруг да около ходим? Надоело!

— А я думал, мы в открытую и разговариваем. Вы мне говорите: уходи. Я вам говорю: нэ уйду. Совсем открытый разговор.

— Да нет, не об этом речь! — поморщился Анатолий Павлович. — Уйти тебе все равно придется, Сурен Мкртичевич.

— Вам.

— Ну, вам, вам — не об этом речь.

— Я говорю — вам уйти придется, не мне, а вам, — усмехнулся Саркисян.

— Да зачем же, я останусь — не об этом речь. — Анатолий Павлович еще ближе придвинулся к Саркисяну. — Ну, честное слово, ну, хоть раз в жизни поговорим, как думаем. Так вот, как мы сами с собой думаем. Свидетелей-то нет. Поговорим, а?

Анатолий Павлович так налег на Саркисяна, так близко и жарко задышал ему в лицо, что тот вынужден был встать. Опершись плечом о свою карту и вдруг ни с того ни с сего подумав, что зря он ее тут вывесил всем на обозрение, что это просто нескромно с его стороны напоминать людям, кем он был да где служил, и тут же твердо решив сегодня же спрятать эту карту в стол, Саркисян удивленно вглядывался в взволнованное, даже раздумавшееся лицо Анатолия Павловича, не умея понять, хитрит тот с ним или и впрямь потянуло человека на откровенный, до конца откровенный разговор.

Анатолий Павлович тоже поднялся.

— Ну, потолкуем, Сурен Мкртичевич?

— Что ж, давайте.

— Начну издали...— Анатолий Павлович вслепую ткнул пальцем в карту и стал смотреть, какой город ему достался.— Глянька, Свердловск. Бывал, бывал.— Он еще разок ткнул пальцем в карту.— А это что же? Никак тайга Красноярская? Нет, в сих местах бывать не доводилось. Да и зачем? Холодно! Мошкара летом!— Он широко повел рукой по карте, заспешив к теплому морю.— А вот и Крымы-Кавказы. Бывал, бывал.— Анатолий Павлович погладил, накрыв ладонью, Черное море, загрузив, замечтавшись, вздохнул:— Эх, хорошо там сейчас! Весна!— Он встрепелся, словно заторопился куда, удивленно глянув вокруг, словно спрашивая себя: «Где это я очутился?» И вдруг брезгливо передернул плечами: вспомнил.— Так-то вот, так-то, Сурен Мкртичевич... А ведь и я когда-то человеком был, знал всю полноту жизни. Учился, стремился, добивался. Не скажу, что многого добился, но все же, все же. Если вслух сказать, то звучит так: директор фабрики! А теперь что? Если вслух сказать, так и звука никакого. Заведующий ателье — нет тут никакого звука. Одно унижение только. Назвался, как сам же себя обругал ворюгой. Мол, знаете, не маленькие, что за народец в этих ателье. Шельма на шельме! А про заведующих ихних и говорить нечего. Так, Сурен Мкртичевич? Мы только еще вместе работать начинали, а вы уж на меня прищурились, как кошка на мыш. Так, ведь так, Сурен Мкртичевич?— Анатолий Павлович быстро протянул к Саркисяну руку, не давая ему ответить. Он сам хотел сейчас говорить, его даже лихорадило, он даже на себя стал не похож, руками стал размахивать, голос возвысил,— так нетерпелось ему все сейчас высказать, раз уж зашел у них разговор начистоту.— Да, не сумел, не удержался на своей на фабрике, да, толкали меня потом, толкали и затолкали вот сюда — в это вот ателье. Ну, так что же, значит, я уж и жулик, значит, напускай на меня ревизию, так просто, на всякий случай? Значит, как я ни работай тут, все едино нет мне веры? Да, почему же?! Да за что?! За то, что в кресле директорском не усидел? А может, я в те сталинские времена потому в этом кресле и не усидел, что честным желал быть, на уступки не шел? Вы про

это знаете что-нибудь? Вы только знаете про тех, кого сажали тогда за всякие там разговорчики. А про тех, кто и тогда в поте лица вкалывал, не болтал, а вкалывал, не сидел, но и распрямиться не мог — вы про тех что-нибудь знаете? Нет? Недосуг? Так узнайте, узнайте, а уж потом и посмотрим, можно мне доверять или нет. Из тюрьмы вышел — ему доверие, а я и к суду близко не подходил, а мне — ревизия. Хорошо так? Справедливо?

— Выходит и вы тоже, Анатолий Павлович, жертва культа личности? — спросил Саркисян.

— А вы не смейтесь! Выходит, что так! Только иному-кому — реабилитация эта самая, а иному-кому — одно поношение. Обидно! До слез бывает обидно! — Желая успокоиться, Анатолий Павлович снова шагнул к карте и наугад ткнул в нее пальцем. — Вот, и тут повезло! — горько усмехнулся он. — Угодил в самую в Кара-Кумскую пустыню. Нет, Сурен Мкртичевич, прямо скажу, и сейчас нет у нас справедливости... Ну, расстроился я тут с вами, а надо работать, надо работать. — Он поспешно двинулся к двери.

— Вот и весь откровенный разговор? — спросил Саркисян. — Весь ваш без свидетелей разговор?

Анатолий Павлович приостановился, оглянулся из-за плеча.

— А мало разве?

— Для откровенного разговора маловато.

— Могу добавить... — Анатолий Павлович распахнул дверь и, держась за косяк, обернулся к Саркисяну. — Не знаю, за какие такие заслуги, Сурен Мкртичевич, избрали вас в свое время в бюро райкома, — сказал он, возвратив голосу суховатую негромкость и начальственную неторопливость. — Не ведаю я и за какие такие провинности сунули вас теперь к нам в ателье. Все собираюсь узнать, да времени нет. Знаю только вот что: на моей беде вам не выслужиться, на чужом горбу, как говорят, в рай обратно не попасть.

— Вот и весь откровенный разговор? — переспросил Саркисян.

Анатолий Павлович тонко улыбнулся:

— Какой вышел.

Неспешно переступя порог, он неспешным хозяй-

ским шагом двинулся в обход по своему ателье. Открыл дверь в цех, постоял, приглядываясь, прислушиваясь к работе, ласково кивая на чьи-то здоровавшиеся с ним голоса.

В открытую дверь Саркисян смотрел, как вышагивает Анатолий Павлович, как хозяйски оглядывается, вслушивается, как ласково здоровается, уверенный в себе, знающий себе цену, невозмутимый. И конечно же, знающий дело.

Покружив по ателье, Анатолий Павлович мимоходом очутился у столика Лагутиной. Нина так все и сидела, склонившись головой к столу.

Анатолий Павлович добро положил ей руку на плечо и о чем-то вкрадчиво спросил. Саркисян не услышал его слов. Саркисян увидел лишь, как подействовали на Лагутину эти негромкие, с улыбочкой произнесенные слова. Она вдруг распрямилась, вскинув к Анатолию Павловичу побледневшее, заплаканное лицо и что-то яростное выкрикнула ему в ответ.

— Да что ты, что ты?! — замахал руками, пятась от нее, Анатолий Павлович. — Да я это так просто спросил, между прочим...

## 11

Вот Анохин и дождался своего первого утра дома. И все было так, как мечталось: и солнце за окном, и ветер в занавесках, и тишина вокруг, мирная и ясная, а не притаившаяся, как в больнице. И ничего этого Анохин не увидел и не услышал. Он сидел на постели, пристально глядя в весеннее окно, помня и узнавая это чудо-солнце, на которое еще не больно смотреть, помня и узнавая этот удивительный, лишь день-два держащийся по весне воздух, и помня и видя только одно: как уходила вчера из кафе Нина Лагутина. «Миша, я на минуточку». И пошла, резко наклонившись вперед, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Она не вернулась, да он и знал, что она не вернется.

Ее обидели, а он не сумел за нее заступиться. Ее обидели из-за него, будто бы желая ему добра. Оказывается, ей нет места там, где отдыхают и веселятся такие замечательные люди, как он, как Анюта, как

этот паренек, возомнивший себя бог весть каким начальником. И все потому, что она «деваха Князева». Вот уже и навесили на нее ярлык, вот она и на подозрении. Она запирается от Князева на все дверные замки, она не смеет зажечь света в комнате, чтобы он не узнал, что она дома, она боится его шагов, его стука в дверь, его голоса, а про нее говорят, что она — «деваха Князева». Откуда эта подозрительность, эта черствость в людях? Вот даже у Анюты? Она тоже, едва увидела их вместе, сразу накинулась на него: «С кем это вы пришли сюда?» Он тогда не нашел нужных слов для ответа. Он что-то такое пробормотал, будто оправдываясь. А надо было сказать громко и гордо:

«Я пришел с другом!»

Пусть бы Анюта снова повторила свое:

«Как же, невеста Князева!»

Он бы сказал на это:

«Не спеши, Анюта, не торопись отдавать ее Князеву».

И пусть бы она снова сказала:

«Того самого Князева, который, говорят, на вас и напал тогда».

Он бы ответил:

«Того самого Князева, который убежал тогда».

Он бы ответил... Но он ничего тогда толком не ответил и ничего не сумел сделать, чтобы уберечь Лагутину от оскорбительных намеков, от подозрительно прищуренных глаз, от высокомерия и превосходства, которым так весь и дышал этот квадратненький дурачок с красной повязкой на рукаве.

И она ушла и, наверное, когда вышла на улицу, побежала. Куда? Зачем? Опять одна, чтобы опять спрятаться за свою дверь.

Он устало подумал: «Надо снова увидеть ее». Ничего более трудного он бы сейчас не мог для себя придумать. Но он знал: он должен снова встретиться с ней и заговорить, пойти рядом, если даже она и отвернется от него, погонит его.

Зазвонил дверной звонок, по-утреннему молодо и упорно.

«Она?! — Анохин заметался по комнате, натягивая на себя одежду. И тут же усомнился: — Нет, она

не придет». И все же, когда открывал дверь, он еще надеялся и боялся, что это она.

За дверью оказался Витька.

— Привет, босс! Не ждали? Не рады? — Витька критически склонил голову к плечу и принялся разглядывать Анохина. — Эх, босс, вам бы в кино сниматься, а не картинки крутить. Вам бы знаете, какая роль подошла?

— Заходи, — сказал Анохин, прикрывая за Витькой дверь. «Ну как я мог подумать, что это она? — мысленно изумился он. — Кто угодно мог бы прийти, но только не она».

— Вам бы роль молодого ученого подошла, только что потерпевшего аварию в атомном котле, — сказал Витька. — Помните фильм, где один мозговитый парень все облучивался да облучивался, пока не умер? Там еще сцена мировая в ресторане, помните?

— «Девять дней одного года»?

— Этот самый. Только там парень без очков и не так похож. Вы, босс, больше похожи. Вот увидите, с вас еще картины рисовать начнут. Скромный советский человек, но герой...

Они вошли в комнату и снова поглядели друг на друга, теперь уже на свету.

— Так картины не подписывают, — сказал Анохин. В полумраке коридора Витька показался ему куда веселей, чем сейчас, когда высветило его солнце. Сейчас только Витькины зубы поблескивали в улыбке, а глаза вот были без искорок, без таких всегдашних Витькиных искорок, точно и в глаза к нему насыпало веснушек. — Как живешь, Витя?

— Еще почище подписывают! — сказал Витька. — Я раз на выставку заскочил. Смех! Нарисованы, скажем, три толстухи-дурочки и подпись: «Звено коммунистического труда». А им бы только замуж выйти и детей нарожать.

— Так бы и подписал: «Хотим замуж»?

— Я бы? Ну, можно и поделекатнее. Например, как в песне поется: «Приходите свататься, мы не станем прятаться!» Подходит?

— Вполне. Что дед, здоров?

— Кто его поймет? Попивает.

— Опять? Ведь обещал! Что же это — все, как было?

— А он не так, как раньше. Он теперь тайком от меня. И дышит в сторону. — Витька позабыл улыбнуться, и совсем скучным, каким-то посерелым даже стало его лицо. — Не обижались, что ни разу к вам в больницу не пришел?

— А правда, почему не пришел? Как-никак вместе работали.

— Да я бы всей душой! — Витька закрутился по комнате, стараясь не встретиться глазами с Анохиным. — Обстоятельства...

— Какие, Витя?

— Пройденный этап.

— Нет, правда?

— Сволочь я — вот какие! — Витька вскочил на подоконник и высунул голову в форточку. Там, над форточкой, повисли сосульки, и Витька исхитрился ухватить одну из них зубами.

— А ну, слезай! — шлепнул его по тощему задку Анохин.

— А что? — оглянулся Витька, держа голову в форточке, будто так ему было всего удобнее разговаривать.

— Рассказывай.

— Про то, почему сволочь?

— Про то, как живешь.

— Так вот и живу. — Витька соскочил с подоконника, прихватив в горсть несколько сосуллек. — Понюхайте, босс, как весной пахнет. — Он протянул Анохину сосульку. — Их лизать не надо, их только в губах надо держать и нюхать. Как в лесу, правда?

— Нет, моя городская, с дымком. В городе весна чуть горчит всегда дымом, железом. Не замечал?

— Замечал. И на губах потом грязь и на пальцах. А сволочь, я потому, босс, что знал, что Князев собирается вас бить, знал, и предупредить хотел, а потом упился. Вот почему я сволочь, Михаил Николаевич.

— Ладно, пройденный этап.

— Нет, босс, не пройденный. Вот почему я и в больницу не приходил. Хорош товарищ...

— Ладно, Витя, хватит об этом. Расскажи лучше, как живешь. Категорию тебе дали?

— Куда там! — безнадежно отмахнулся Витька и скривился, передразнивая их директора. — «Киномеханик — это тебе не семечки, Снегирев»... Ох, и надоели, босс, мне эти «семечки»! Я теперь деньги коплю, халтуру, где только можно.

— Старая мечта?

— Нет, новая. Чтобы отчиму коньяк дорогой подарить да брату с сестренкой ящик конфет — много денег не нужно. А мне теперь много нужно.

— Зачем?

— Да так, — замялся Витька. — Есть один проект в голове. В моем положении, босс, надо новые ходы-выходы в жизни искать. Не вешаться же в самом деле.

— А что случилось?

— Да так, ничегo особенного.

— Ну, говори!

— Сказать-то нетрудно. А зачем? Я к вам не жаловаться пришел, а навестить. Вам, босс, наверное, и говорить много пока нельзя. Я знаю, если по башке стукнули, то разговаривать или волноваться никак нельзя. Надо отдыхать и ни о чем не думать. Между прочим, рюмки в вашем доме имеются?

— Имеются.

— Тогда порядок. — Витька сунул руку в один из многочисленных карманов своей заграничной куртки и с треском выставил на стол бутылку вина. — Вот, приволок вам кагор. Говорят, исключительно для больных винцо. Так и быть, и я с вами выпью. А вот и закуска — печенье «Молочное», бывшее «Ленч». Ленч по-английски что-то вроде завтрака. — Витька щедрым движением разорвал обертку и высыпал печенье на стол. — Сыт не будешь, с голоду не сдохнешь. Рюмочек, босс, рюмочек не вижу.

Анохин подошел к буфету, достал рюмки и молча протянул их Витьке.

— А открывалка? Учтите, босс, не штопор, а открывалка. Этот кагор, видать, пробку не заслужил.

Анохин достал открывалку.

— Вот и ладненько! — ловко откупорил бутылку Витька. — Кинем по одной?

Он подсел к столу и принялся наливать вино

в рюмки, стараясь исполнить это дело как можно непринужденнее.

— Глядите, босс, в самый край и ничего не пролил. Техника, так? Ну, пусть нам будет хорошо! — Он запрокинул рюмку и глотнул кагор с такой же гримасой, как глотают спирт. И тут же налил себе еще. — Не попробовал. А вы что же, босс?

Не садясь, Анохин отхлебнул из рюмки, а потом быстро наклонился к Витьке и заглянул ему в глаза.

— С Князевым часто встречаешься?

Витька, как от удара, отдернул голову. Потом вместе со стулом рванулся в сторону и, уронив стул, выскочил из-за стола.

Анохин не мешал ему ерзать и скакать. Он только смотрел на него и, как тот ни крутился, находил его глаза.

— Один только раз, — понурившись, сказал Витька. — На улице меня остановил.

— И все?

— И все! — Витька для пущей убедительности что есть силы стукнул себя кулаком в грудь. Но головы не поднял. — Ну, заташил в ресторанчик... ну, выпили... — Витька пообождал, не спросит ли Анохин его еще про что-нибудь. Анохин молчал.

— Ну, поговорили... — пробормотал Витька. — С ним, с Князем, тактика нужна, просто-весело от него не отделаешься. — Витька украдкой глянул на Анохина. — Вы что, босс, мне не верите?

Анохин молчал.

— Не верите?! — обидчиво вскрикнул Витька. — Ну и не надо! Мне теперь все равно! Что случилось, спрашиваете?! А то, что меня с работы гонят! Вот что случилось! — Витька чуть ли не с радостью выкрикнул Анохину свою обиду. — Ну и пусть! Ну и гоните! Не пропаду!

В коридоре зазвонил телефон. Анохин вздрогнул и рванулся на звонок. Но в дверях остановился.

— Подойди ты, — сказал он Витьке.

Тот с готовностью выбежал в коридор, схватил трубку, все тем же взвинченным голосом спросил:

— Кого надо?! Анохина?! Нет, не спит! Что делает?! Выпивает! Под «Ленч»! Ленч, говорю у него! Завтрак! Хорошо, узнаю!..

Витька сунул трубку под мышку и скосил на Анохина повеселевшие глаза.

— Женский... Подойдете?

— Кто? — спросил Анохин.

— Да женский же, говорю! Удивилась: «Как пьет? Почему пьет?»

— Мама?

— Нет, голос молодой, со всякими такими нотками. Вот уж не думал, босс.

Анохин взял трубку.

— Слушаю,— сказал он тихо и, покуда в трубке молчали, столько сразу всего услышал, что даже изумился. Гудели провода, тревожно и призывно, как дальние экспрессы. И чей-то далекий прозвучал голос, и кто-то откликнулся ему еще из большего далека. И чья-то жизнь будто приоткрылась Анохину за этими голосами. Там, вдали, женщина и мужчина уговаривались о встрече.

— Миша, это вы? — услышал он близко голос Рени.— Неужели вы действительно пьете? А вам можно? Знаете зачем я звоню? Я тут подобрала вам кое-какую литературу для экзаменов. Может быть, зайдете, посмотрите.

— Спасибо, Реня, обязательно зайду.

— Ну, как вы вчера? Вы виделись?..

Анохин промолчал, глядя, как Витька, невзначай будто, подобрался к выходной двери, невзначай будто, отомкнул замок.

Заметив, что Анохин следит за ним, Витька поспешно распахнул дверь.

— Не буду вам мешать, босс! Зайду как-нибудь в другой раз! Ай уиц ю хэпинэс! Желаю счастья! — И шмыгнул за порог, быстренько прихлопнув дверь.

— Почему вы молчите? — спросила Реня.— Кто там у вас?

— Никого. Был Витька, да весь вышел. Помните Витьку Снегирева, которого мы тогда из будки добывали?

— Так это он со мной говорил? Какой он веселый, правда?

— Не заметил.

— Как же, как же, что ни слово, то шуточка. Вы действительно пили с ним сейчас? И много?

— Страшно сказать!

— А вот вы, Миша, почему-то грустный. Почему? Разве вчера?..

Реня замолчала, и Анохия тоже молчал, вслушиваясь в неясные шорохи, несшиеся из трубки. Как и прежде, гудели провода манящим гулом пронесшихся экспрессов, и все еще уговаривались о встрече мужчины и женщина.

— Вас плохо слышно, Реня,— сказал Анохин.— Я перезвоню. Вы в библиотеке?

— Не нужно, не звоните,— опечаленно отозвалась Реня — ее было очень хорошо слышно.— Когда надумаете прийти, тогда и поговорим. Миша, не огорчайтесь, все уладится, все будет хорошо.

Он ответил:

— Я что-то ничего не пойму, Реня. Ничего не изменилось, все, как было.— Он помолчал.— Даже хуже...

Она ответила:

— Это вам так кажется, не огорчайтесь. Обещаете?

— Хорошо.— Он долго еще держал в руках трубку, сосредоточенно вслушиваясь в прерывистые, тревожные гудки отбоя.

12

Очень все же странно смотреть, как здоровенный, плечистый дядя гнет спину над швейной машинкой. Кажется, что это он так просто, забавы ради, что сейчас вот все и бросит, попортив какой-нибудь лоскут, запутав нитку или сломав иглу. И совсем уж в диковину, когда увидишь, как ловко двигаются его толстые, будто негнувшиеся пальцы, как послушно бежит по материи машиночный шов, как ладится в руках у этого плечистого дяди тонкая женская работа.

С тех пор, как Евгений Андреевич Князев вдруг приволок к себе домой швейную машинку и стал день ото дня работать на ней, поставив под самое окно, ребята во дворе часами простаивали у этого окна, дивясь странному и хитрому князевскому умению. Шутка сказать, Женька Князь — и вдруг швея. За глаза ребята звали Князева только так: Женькой Князем.

Так звали его здесь все, и стар и млад. Но только за глаза. А в глаза никто не забывал, ни стар и ни млад, что величать его следует по имени-отчеству.

Бандюга, темная личность, арестант, хулиган — это все были клички, которыми наделяли Князева заглазно взрослые обитатели переулка, где он и родился, и вырос, и прославился. А в глаза, как ни вертись, а изволь поздороваться и по всем правилам добрососедства: «Здравствуйте, Евгений Андреевич». В своем крутогорбом, косостенном переулке, в таком как раз, который любят снимать для кино, когда хотят показать «Москву старую, уходящую», Евгений Андреевич Князев фамильярности не терпел.

И вот, подумать только, Князь засел за швейную машинку, пьет тихо-мирно какие-то кепчонки!

«За ум взялся! Не те времена! Грехи замаливает!» — говорили соседи. То, что он принялся кустарничать, для тех, кто хорошо его знал, казалось чуть ли не верхом добродетели.

Но в глазах ребят мрачный ореол князевской славы безнадежно померк. И только и осталось интересного, что смотреть через стекло, как посмирневший, полинявший Женька Князь с забавной ловкостью тащит на машинке свои кепочки, по-бабьи откусывая нитки зубами.

Он не гнал ребят. Он им улыбался всеми своими обученными морщинками, а иной раз подмигивал — вот, мол, докатился, допрыгался. Иногда протягивал им в форточку рублевку и слал за папиросами, за спичками. Это, значит, повезло. Князь сдачу не брал.

— На чай! — кричал он ребятам весело и шутейски щелкал пальцем под подбородком. — На кружечку пива!

Теперешний, он был не страшен, как бывало, когда напивался, когда грозой входил в свой переулок, но, чудной народ ребята, — теперешний, он их куда как меньше занимал, чем раньше. Вот только шьет забавно. Ребята даже жалели Князева, прозорливо углядев старческую уже рыловатость в его еще могучих плечах, прозорливо угадав в нем его скорое завтра: сгорбленный старичок кустарь, облысый, с оч-

ками на носу — и кепки, кепки по всем стенам кепки. Они видели таких в своем и соседних переулках. Один старичок паял, другой подбивал подметки, третий что-то там перелицовывал. Их было много, и все были старые. Может, не такие уж и старые, но для ребят все равно старые. Для ребят, как согнулся, так и состарился. А эти все были погнутые. Князев вот тоже. Правда, он все еще был Князем, но, глядишь, пройдет немного времени, и какая-нибудь иная прилипнет к нему кличка. Уже не геройская, не страшноватая, а под стать нынешним его делам. Кто-нибудь из взрослых, а, может, и из ребят, назовет его однажды по-новому, будто случайно, без умысла, и вдруг слово это в самую в пору придется к новому Князеву и останется с ним, станет для людей его новым именем, кличкой, прозвищем. Каким оно будет, это новое имя, — наперед не угадать.

В весенние предвечерья в князевской комнате, выходявшей низким окном на запад, ненадолго все озарялось солнцем. Косые оранжевые лучи, целый день как бы подбирались к этому окну, натываясь на стены соседних домов, на стены сараев, на стволы деревьев. И только к вечеру, на крутом уже уклоне, вдруг отыскивали лазейку и врывались к Князеву. Он слеп в эти минуты, и, блаженно морщась, подставлял лицо солнцу. В эти минуты лицо его странно менялось, как, порой, у спящего человека. Что-то давным-давно ушедшее из него на миг проступало вновь, смягча князевские морщинки, яростный ужим губ, неправду усмешливых щек. Когда же ты был таким, Князев, таким вот — вроде как простоватым, доверчивым, незлобным и неглумливым? Когда? Должно быть, давным-давно.

Недолго так блаженствовал Князев в мягком тепле оранжевых лучей. Их все клонило и клонило, они делались все короче и вдруг исчезали, впуская в комнату серые сумерки. И сразу же разжмурился Князев, сторожко взглядывая за стекло — не видел ли его кто в слабую и мирную его минуту. Даже ребят в эту минуту стеснялся Князев.

Вот и сейчас, встрепенувшись, разжмурившись, досадливо глянул Князев за окно. И оторопел. Вовсе не ребячьи лица липли к стеклу, плюща мягкие носы.

За стеклом незнакомо-знакомые холодновато приузились на него и зоркие и насмешливые (да быть не может!) глаза Анатолия Павловича. Он!

Князев вскочил, смутившись и потерявшись, как мальчишка, которого застигли на каком-нибудь постыдном деле. Он страшно сразу обозлился на себя за эту свою растерянность — не слыша боли, всадил кулак в подвернувшийся стул, что-то такое смял, изломал, намертво стиснув в пальцах. Он так все и стоял у окна, всматриваясь в Анатолия Павловича, веря и не веря, что это он там приник к стеклу. И тот тоже не двигался и помалкивал, чуть приметно улыбаясь, явно довольный растерянностью Князева.

Наконец, Князев кинулся открывать.

— Прощу! Прощу!

Три стертые ступени спускались со двора в узкие сенцы его жилья. Тяжелые из дубовых досок двери, и одна и другая, со скобами, щеколдами, засовами и в гвоздяной оковке, как крепостные ворота, защищали это жилье. В прежние времена здесь, должно быть, хранили товар, которым торговал тут же в доме отец Князева.

— Сто лет без малого не бывал в твоей крепости,— сказал, входя, Анатолий Павлович.— А не сыро тебе здесь?

— Топлю,— сказал Князев.— Газ вот подвели. Только нужника нет, а то бы квартирка хоть куда.— Он усмешливо разогнал по лицу свои морщинки, надеясь, что вместе с этой привычной усмешечкой обретет и привычное самообладание.

— Отсидеться можно,— кивнул Анатолий Павлович.

Подойдя к столу, он брезгливо провел по грязной клеенке кончиками длинных пальцев и, отыскав место почище, стал не спеша заставлять это место принесенными им бутылками и свертками, которые все тянул да тянул из карманов пальто.

— Занавесочку задерни,— оглянулся он на Князева.— Низко живешь.

— Поближе к земле удобнее,— сказал Князев.— Чуть что — и дома, чуть что — и на улице.

— Все прыгаешь? — опять оглянулся Анатолий Павлович, не тая презрительной усмешки ни в голосе

ни в прищуре глаз.— А я-то думал— ты поумнел.

— И правильно думали.— Князев зло пощипал рукой, что бы еще такое сжать, согнуть, изломать. Какая-то кепка — маломерок, такая, что идет на совсем пустяковую головку, будто сама сунулась под пальцы. Козырек хрустнул, швы затрещали.

— Все воюешь? — Анатолий Павлович протянул руку и выволок из побагровелого князевского кулака злосчастную кепку. Расправил козырек, разгладил швы, умело и ласково касаясь пальцами материи.— Зря ты это, Евгений Андреевич. Трудился, трудился — и все под кулак. На-ка лучше стаканчики ополосни.

— Зачем? Водка дезинфицирует.

— Не опускайся, Женя, не опускайся. Экую грязь развел.

— Ладно, учить меня пришли!

— Учиться никогда не поздно, Евгений Андреевич. Ну, стаканчики-то ополоснешь?

Князев схватил со стола стаканы и сунул под кран.

— Зачем пожаловали, товарищ заведующий? Вроде, не осторожно так-то вот, самому. Кто я, а кто вы... Вдруг да заметят?

— А я с опаской, Евгений Андреевич, с опаской.

— Зачем пришли?

Князев подошел к столу, не глядя швырнул к бутылкам вымытые стаканы. И такой тут начался веселый звон, словно стаканы и бутылки сами по себе уже принялись за выпивку.

— Вот за этим вот и пришел,— кивнув на стол, простосердечно улыбнулся Анатолий Павлович.— Начнем, помолясь.

— Я ведь не маленький,— сказал Князев, вдруг смирив себя и даже как-будто развеселившись.— Меня не спойшь, а пьяного не уговоришь, Анатолий Павлович. Выкладывайте, что надо, пока трезвый. Я, когда трезвый, уступчивей.

— А мне ничего от тебя не надо, Женя. Это ты зря, это ты, милый, возомнил, если думаешь, что мне от тебя какая-то польза нужна.— Анатолий Павлович, сожалея, прищурился на Князева.— Я просто так к тебе пришел, Евгений Андреевич. Знаю, сидишь ты тут у себя, как старушка у окошка, и скучаешь. Ведь скучаешь? Вот я и зашел, прихватив с полочки. Чело-

веческих чувств ты, Женя, не понимаешь. Озлобился ты, Женя, как я погляжу. — Анатолий Павлович движением неуверенным, неохотным взял со стола бутылку. — Так открывать? А я-то дурак в очереди стоял. Балычок! Ветчинка! Людей морочил: так нарежь, эдак. Думал, обрадую. Открывать?

— Действуй, товарищ начальник, действуй! — Князев широко раскинул руки, до хруста расправил плечи, как бы побуждая себя на веселье.

Настороженно, недоверчиво начал он ведить свой первый стакан. Пил, но и глядел, пьет ли отоварищ. Анатолий Павлович пил — тут подвоха не было. Он даже обогнал Князева, осушив стакан с жадностью и впрямь решившего подпить человека.

— Спешите-то как! — удивился Князев. — У меня научились?

Анатолий Павлович только отмахнулся, утирая проступившие слезы. И снова налил себе, что-то бы-стренько пожевал и снова выпил.

А Князев все выжидал, хитря со стаканом, упрятав его в кулаке, чтобы не видно было, сколько он выпил.

— Слововинил, друг? — спросил Анатолий Павлович, слезящимися глазами поискав глаза Князева.

— У вас научился.

— Эх, хитрый ты человек! — огорченно сморщился Анатолий Павлович. — Недоверчивый ты человек! А я вот пью! На, гляди на меня! Я весь перед тобой! На, гляди! — Анатолий Павлович вышел из-за стола и задернул на окне занавеску. Проверил, нет ли где щели, как пиджак на примерке, огладил все складочки. — Не люблю чужих глаз! Не люблю! — Он вернулся к столу. — Так зачем, интересуешься, пришел? Какая, интересуешься, нужна мне выгода от тебя?

— Во-во! — кивнул Князев, весело осклаившись навстречу низко пригнувшемуся к нему Анатолию Павловичу.

— Эх, сволочь ты, Князев!

— Может быть, может быть.

— И глупый, ой, какой глупый!

— Может быть, может быть.

— Сомневаешься?! — азартно распрямился Анатолий Павлович. — Думаешь, умнее ты умного? А хо-

чешь, я тебе докажу, что ты еще дурак-дурачок? Желаете?

— А что ж, интересно.

— Ну, слушай...

Анатолий Павлович снова налил себе и самоотверженно выпил все до дна. Забыв вдруг о чем заговорил, он тяжело осел на стул, пригорюнился.

Князев не торопил его. Поцеживая из стакана, он тоже как будто ушел в свои мысли, лишь изредка взглядывая на поникшего Анатолия Павловича.

— Ну, слушай...— Анатолий Павлович неожиданно так хмыкнул превесело себе под нос и, словно сам с собой, словно Князева тут и не было, принялся рассуждать: — Каких только людей на свете не бывает... Вот, знаю я одного... Ох, умный, ох, бывалый! Все прошел! Бит, мыт, терт, молот, а глянть — целехонек. И хитрый! У-у-у! Такой хитрый, что своим даже умом додумался, что по нынешним временам боже упаси против закона идти. Избави нас господи! Порешил, как отрезал. Все у него по закону, все по правилам. А чтобы не сбиться с пути истинного, он, разумник наш, даже всякие статьи-законы, заметки-фельетоны у себя в мастерской на стенках наклеил. За это вот столько лет, а за это и того больше. Поберегись! И что же, уберегся? Куда там!

— Эту сказочку я знаю,— сказал Князев.— Все?

— Куда там...— Анатолий Павлович так головы и не поднял, на Князева и не поглядел, все так же из-под руки продолжая свой раздумчивый, точно с самим собой разговор: — Ну, ладно, ударил, полез в драку, забыл все свои бумажки на стенах. Ладно! Характер, значит, не переделаешь. Ну, а зачем тогда побежал? Зачем спрятался? Когда бил — не боялся, а ударил — испугался? Вот и дурак.— Анатолий Павлович отнял руку от лица и открыл на Князева скучно-сонные, захмелевшие глаза.— Понял? Раз уж бьешь, так не беги, а кричи караул. Понял?

— Велика наука!

— А ты не думай, велика.— Анатолий Павлович кивнул Князеву на почти опорожненную бутылку.— Гляди, на донышке. Начнем новую? Да ты не пей, если не хочешь. Я — хочу. Плесни, Женя, поухаживай.

Князев распечатал бутылку, налил Анатолию Павловичу, а себе наливать не стал.

— И не надо и не надо, если не хочешь, — дружески похлопал его по плечу Анатолий Павлович. — Я неволить не люблю. Так... пойдём дальше...

— Закусывайте, Анатолий Павлович, — сказал Князев, удивленно наблюдая, как тот жадно опорожнил свой стакан. — Вот уж не думал про вас...

— Обида ест, Женя, обида. Так... пойдём дальше... — Анатолий Павлович снова приник головой к руке, пригорюнился и, похмелев и уже заплетаясь в слова, снова принялся рассуждать, не глядя на Князева, точно с самим собой: — Понять, понять надо, где да с кем ты живешь, — вот наука. Законы там эти, сколько их на стены ни клей, все в голове не удержишь. Особенно, если вспылит или там ревновал. Пустое дело! А вот понять, понять, где да с кем живешь, — вот без этого нельзя. — Анатолий Павлович отдернул руку от глаз и пьяно-медленно выпрямился перед Князевым. — Ну, зачем побежал? Тебе бы крик поднять: невесту, мол, отбивают, а ты побежал. У нас, Женя, не любят, когда невест отбивают, у нас этого не любят. А ты побежал. Ну, ударил — так ведь с горя, из ревности. А ты побежал. Вот и дурак, и дурак. Налей! Сейчас уйду! Налей! — Анатолий Павлович пьяно уставился в свой стакан.

— Хватит! — сказал Князев, отодвигая от него бутылку. — На сегодня хватит.

— Что, пьяный? Обида ест, Женя, обида. Ты вот не обидчивый — вспылит да и сгас. А я — обидчивый. Я не дерусь, нет, кулаками махать ты меня не заставишь, но уж если я ударю... — Анатолий Павлович поднялся, шатаясь, побрел к дверям. — Ладно, уйду. Прости, если что наговорил тебе. Любя, Женя, жалея. — Дойдя до двери, он вдруг повернул назад, подошел к Князеву, пьяно навалившись, обнял за плечи. — А Нина-то твоя... Мне тут девчата наши рассказывали, что опять видели ее с этим самым Анохиным. Только он из больницы выскочил, а уж опять с ней. В кафе их видели. Агитировал, должно быть. Ну, я пошел, пошел...

Резко повернувшись, Князев схватил Анатолия Павловича за руки, рванул на себя.

— Ну чего тебе нужно, говори, чего тебе от меня нужно!?

— От тебя? — изумился Анатолий Павлович. — Да что с тебя взять-то, Женя, дружок мой? С кепок твоих разве пожитье? Так ведь закрыли тебя, уволить приказали. А не бегай! — Он выдрался из цепких рук Князева, покачиваясь, встал над ним, добро и грустно ему кивая. — Что вы все, с ума что ли походили? Вот и Нина твоя... Я только спросил ее про этого Анохина, а она уж на меня чуть не с кулаками. «Оставьте меня! — кричит. — Что вам от меня надо?» Ну прямо, как ты сейчас. Пошел, пошел... — Анатолий Павлович совсем, видно, опьянел. Спотыкаясь, качаясь, добрал он кое-как до двери, из последних сил отворил ее, чуть не упав, перешагнул порог.

Взбешенными глазами следил Князев, как уходил его упившийся гость. Когда дверь за ним прихлопнулась, Князев схватил со стола бутылку и прямо из горлышка принялся глотать, глотать, глотать.

13

Реня торопливо записывала в своем дневнике: «Вчера виделась с Лагутиной. Взяла да и зашла к ней на работу. Она сперва меня не узнала, спрашивает: «Вам что, гражданочка?» А я присела к ее столику, на счастье никого рядом не было, и говорю: «Мне бы, знаете, такой фасончик выбрать, чтобы стать счастливой». Тогда она узнала меня, рассмеялась, — она когда смеется, я и раньше это заметила, совсем другой делается. Не сумею объяснить какой, но только лучше, ну, проще, нет, яснее, что ли. Вот она так рассмеялась-пояснила и отвечает: «К вашему лицу, гражданочка, уже наряд подобран — это ваши глаза. Если бы у меня были такие глаза, я бы целыми днями ходила по улицам и только бы смотрела, смотрела». — «А зачем?» — спросила я. «А вдруг, — говорит, — кто-нибудь из мужичков догадается, какие они у вас чудесные. Догадается, упадет перед вами на колени и попросит его полюбить. Ну, конечно, тут уж надо смотреть, чтобы этот мужичок был и красивый, и статный, и денежный». — «Денежный?» — переспросила я и подумала: «Ты на себя наговариваешь, девушка».

А она словно угадала то, что я подумала, да так на-  
ставительно, как будто не я ее старше, а она меня:  
«Так-то вот, Ренечка, запомните — и красивый и де-  
нежный. А студенту какому-нибудь, мой совет, от  
ворот поворот». Потом поглядела на меня пристально,  
умно и спросила: «Вы его любите, Реня? Очень?» Я да-  
же растерялась: «Кого?» А она только усмехнулась,  
медленно так, загадочно, как киноактриса какая,  
и ничего мне не ответила. Кого она имела в виду? Что  
она знает? И что она может знать, если я и сама еще  
не знаю, не знаю...

Мы очень долго молчали — она все улыбалась,  
а я уж и не помню, с каким я тогда сидела лицом. Мо-  
жет быть, покраснела, растерялась? Не помню. Жаль,  
если она заметила, что я смутилась. Вот уж глупо!  
Пришла по делу, а вышло, что меня стали спраши-  
вать, кого я люблю. А может быть, это правильно?  
Может быть, всегда и во всем живет это: «Кого ты  
любишь?» Ведь вот и к Лагутиной я пришла потому,  
что хочу помочь Мише Анохину. Правда, есть и дру-  
гая причина, но и это тоже, тоже. Может быть, без  
этого «Люблю!» просто нет и жизни на земле? Толь-  
ко, конечно, не надо так упрощенно все понимать.  
Люблю!.. Это слово вбирает в себя радость, но и горе,  
близость, но и разлуку. Боже мой, сколько я понапи-  
сала, как расфилософствовалась! Ну, словом, мне уда-  
лось уговорить Нину записаться в нашу библиотеку —  
это ведь и было целью моего прихода — и получить ее  
обещание, что уговорит записаться и своих подруг  
по ателье.

Они страшно мало читают — эти милые девушки.  
Посмотришь на них со стороны — и нарядные, и изящ-  
ные, и даже держать себя умеют. Но, боже мой, боже  
мой, какие они невежественные! Целый мир, громад-  
ный мир красоты, поэзии, разума им неведом. Они  
живут, даже не подозревая, как беден их день и как  
мог бы он быть богат. Они лишь смутно помнят имя  
Блока, не слышали о Тютчеве, им неведом Фет. Они  
поют ужасные песни и не знают хороших, даже народ-  
ных. Им почти ничего не говорят пейзажи Сарьяна,  
портреты великого Серова, изумляющий и сегодня  
Врубель, они глухи к музыке Прокофьева. А ведь  
жизнь идет, она пройдет, пройдет! С кем, с какими для

вас спутниками? С книжечкой «Песенник»? С пластинками «Липси»? С базарным ковриком над кроватью? И слониками, и кошечками, и брошечками? Вы не смеете так жить! Вы, будущие матери, вам преступно так жить!

Но хватит, хватит, я написала целый трактат, а я ведь не писательница, а всего лишь библиотекарьша. И у меня, у меня самой, так ли уж богата жизнь, хоть я и наизусть знаю чуть ли не всего Блока и Лермонтова, и люблю Серова, Прокофьева, и все, все, чем горд и велик человек? Нет, это неправда, я не чувствую себя богатой! Почему? Да потому, что этого всего мало. Потому, что есть еще и такое, что, может быть, есть у них — у дебушек из ателье — и чего нет у меня. Как все сложно, как все удивительно сложно! И как мне хочется, чтобы меня тоже любили, просто любили, как любят их, и чтобы кто-нибудь просто обнял меня, взял бы да обнял, как обнимают их, и сделал бы мне ребенка, как им. Боже мой, что я пишу!»

Реня отшвырнула от себя дневник, потом схватила толстенную книгу и прикрыла дневник этой книгой, потом другой, и еще одной, и еще. Потом передумала, выдернула злополучную тетрадь из-под книг и сунула ее в ящик стола. Но у ящика не оказалось ключа. Реня выхватила тетрадь из ящика и кинулась с ней к полкам с книгами. Вскочила на стул, вытянулась, как могла, и засунула тетрадь в самый дальний угол самой верхней полки. И только тогда чуть успокоилась. Остужая руками вспыхнувшие щеки, долго еще стояла на стуле, затихшая, сокрушенная собственной с собой откровенностью. И все к чему-то прислушивалась. Должно быть, к самой себе, к своему в себе затаенному голосу.

— Боже мой, о чем я только думаю, о чем я думаю!? — прошептала она изумленно и подавленно.

14

— Часть!

— Лови!

Анохин и Витька с привычной сноровкой остановили один проектор и включили другой, не дав и моргнуть экрану на стыке частей.

Фильм кончался. Анохин подошел к смотровому окну, в пятый сегодня раз глянув в громадные ребячьи глаза, измученные и гордые, и в пятый сегодня раз забыл, что это всего лишь «кино», и горько затих, ожидая, что скажет сейчас мальчуган с экрана. А мальчик молчал. Его убили. Его пытали и замучили до смерти. А он молчал. Потом его лицо опрокинулось, и все вернулось назад — к довойне, к детству, к морю, к игре. По песчаному берегу бежали мальчик и девочка. Они бежали, как бегут «Он» и «Она» из века в век, еще не зная зачем. Он нагнал ее — там, на берегу. Если бы он остался жив, они бы полюбили друг друга. Если бы он остался жив, сегодня бы он был лишь ненамного старше Анохина. Фильм кончился.

Уже вторую неделю «крутил» Анохин свои картинки и, как изволил выразиться его директор, «стоял на вахте культуры». Он и еще высказал, напутствуя Анохина, несколько весомых соображений:

— Не твое, Миша, дело вникать во всякие там мелочи житейской среды. Твое дело, Михаил, работать и учиться, дабы стать человеком с большой буквы. Движение вперед — это тебе не семечки, тут надо смотреть и смотреть, чтобы кто ножку не подставил. А тебе подставили, да еще как. Герой-то ты герой, а досадно. Досадно!

Анохин пришел к нему насчет Витьки.

— Говорят, вы собираетесь увольнять Снегирева? — терпеливо выслушав директорские поучения, спросил он. — Этого нельзя делать, Матвей Игнатьевич.

— Снегирев — моя забота, товарищ Анохин. Комсомола у нас в театре ноль целых пять десятых — вот я и вожусь.

— Его нельзя увольнять, Матвей Игнатьевич. Куда он пойдет, если вы его уволите? У парня ни отца, ни матери, хоть они и живы.

— Куда пойдет, туда и пойдет. Я в его годы... Ты вот, Анохин, добреньким хочешь быть, а того не понимаешь, что на мне вся тяжесть ответственности. Смотри, этот Снегирев нам такое подстроит, что мы от стыда раками станем вареными. Что ни день, то новость с ним. Сегодня от него водкой разит, вчера

он белый, как мука, — это значит бессонная ночь, днем раньше его в ресторане видели; еще днем раньше... Словом, считай, чертополох-парень! Что ты понимаешь — можно, нельзя? Он нам еще такое поднесет, что у нас обыск в кинотеатре учинят! Имей сигналы! — Матвей Игнатьевич разволновался, начал бегать по своему крошечному кабинету. Оказывается, здесь можно было и бегать. Правда, смешновато получалось. Матвей Игнатьевич семенил от стены к стене, подпрыгивал, отпихиваясь ногами от мешавшей ему мебели. Он думал, он сейчас грозный, гневный, а со стороны был очень смешной, казался таким расходившимся петушком.

Улыбаясь, Анохин наблюдал за ним, выжидая, когда тот успокоится. Анохин знал, что Матвей Игнатьевич, побушевав, всегда идет на уступки. Так случилось и теперь. Побегав, покричав, директор вдруг шмыгнул за свой стол, плюхнулся устало в кресло и махнул Анохину, отпуская, рукой.

— Иди и скажи ему, что оставляю. Но до первого замечания я под твою сугубую ответственность. Учти, Анохин, я с себя ответственность слагаю. Ступай.

Анохин мигом оказался за дверью. Тут тоже надо было знать директорский нрав. Задержись чуть, и он бы начал «второй тур» своих наставлений и рассуждений и, глядишь, опять бы пришел к мысли, что Снегирева следует непременно уволить.

Витька ждал Анохина в читалке, у дверей кабинета.

— Ну?

— А ты оказывается пьешь, — сказал Анохин, быстро проходя мимо.

Витька бросил журнал и пошел за Анохиным ленивой своей, развешенной походочкой.

— Ну?

— И ночи без сна, — сказал Анохин. — В рестораны шляешься.

Они спускались по лестнице.

— Увольняет? — спросил Витька и зачем-то попробовал отбить на лестнице чечетку. — В мою гонят?

— Эх, Витя, Витя!

Они спустились в фойе, молча пересекли его и по служебному ходу прошли в проекторскую.

— Так что же, складывать манатки? — спросил Витька.

— Успеешь еще, — сказал Анохин. — Оставлен до первого замечания и под мою сугубую ответственность. Ясно?

— Ясно, товарищ босс! — Витька было просиял и тут же скис. — Это, что же, вы теперь будете меня воспитывать?

— Я.

— А как, босс, как вы будете это делать? Роздых какой-нибудь мне дадите?

— Никакого роздыха.

— Вот и я тоже подумал, — умыло сказал Витька. — Вы босс, только с виду мяткий. Я-то знаю, у вас характер, как сталь.

— Ладно, включай реостат.

— Есть — реостат!

Вот так и начали они снова вместе работать.

Да и жить стали чуть ли не вместе. И верно, никакого не было Витьке роздыха. После работы — в «Семерку», а потом к Анохину. Иногда у него и почевал. Чем занимались? В том-то и дело, что занимались. Анохин готовился к экзаменам, Витька почитывал книжечки, какие положено было читать, чтобы с осени снова поступить в вечернюю школу. Он было ее бросил за ненадобностью. Теперь выходило, что надо ее кончать.

— Мука! Глаз с меня не спускает! — жаловался Витька на Анохина деду, причем жаловался при Анохине. — Чем это все кончится?

— Человеком станешь, — говорил дед.

— Страшно подумать!

Дед был счастлив. Он не умел перебороть себя и нет-нет да и являлся домой подвыпив. Но дома больше не пил.

— Меняюсь, — говорил он Анохину, — перевоспитываюсь. Шутка сказать, чтобы столяр, краснодеревщик с моим стажем да еще на пенсии водку дома не потреблял. Ни к завтраку, ни к обеду.

— А ты дома и не обедаешь, — ехидно замечал внук. — Да и завтракаешь разве что ночью.

— А все ж таки...

Лагутину Анохин больше не встречал. С того вечера в кафе так больше и не встречал. У него было множество случаев встретить ее — они ходили одними дорогами, в одну столовую, она, наверное, бывала в их кинотеатре, — и вот ни разу не встретил. Если быть честным с собою, он боялся этой встречи, избегал ее. Он оглядывался настороженно, он присматривался к лицам, где бы ни шел, куда бы ни входил, а нет где-то тут Лагутиной. И не за тем, чтобы подойти к ней, увидев ее, а затем, чтобы отвернуться, притвориться, что не заметил. Это было малодушием. Да, это было малодушием — он знал, что это так, и ничего не мог с собой поделать. Он знал еще, что они обязательно встретятся. Не сегодня, так завтра. Но лучше, пусть это будет завтра. Тогда, завтра, у него больше будет мужества для этой встречи. Завтра он сумеет найти и нужные слова в разговоре с ней и сможет посмотреть в ее глаза, как будто ничего не случилось.

Нина Лагутина... Нина Лагутина... Стоят три громадных дома на окраине Москвы, живут в них тысячи людей, трудятся, любят, ссорятся, — тысячи людей, тысячи судеб, тысяча тысяч всяких человеческих событий. Громадный, непостижимый в сложности своей и простоте мир. И где-то в этом мире, громадном и сложном, живет Нина Лагутина, Нина Лагутина...

Кончился фильм, и кончилась рабочая смена Анохина и Витьки. Сегодня они работали с утра — впереди еще целый свободный вечер. Снова — в «Семерку», а потом домой? Он — за свои «контрольные работы по современному русскому языку», а Витька — за какой-нибудь учебник по геометрии или по алгебре? А потом партия в шахматы и разговоры о всяких там международных событиях или — Витькина тема — «про любовь»? А потом — спать, а потом — вставать. И снова работа, и снова «Семерка», и снова «контрольные задания по современному русскому языку». И снова Нина Лагутина, Нина Лагутина, что бы он ни делал, о чем бы ни думал, — мысли о ней, ее глаза, ее лицо, ее руки, как бы выплывающие из темноты... Что с ней?! Где она сейчас?! Не худо ли ей?! Не одиноко ли?! Не подобрался ли к ней снова

Князев со своей страшной улыбочкой?! Это было мучкой все время думать о ней, так вот думать! Думать и не сметь с ней встретиться.

— Что с вами, босс? — спросил Витька, пристально поглядев на Анохина. У вас такое лицо, будто вы хватанули стакан спирта. Может, у вас температура?

— Ладно, кончай перемотку, пойдем.

Анохин помог Витьке смотать на вертушке только что жившую на экране ленту фильма и осторожно стал укладывать плоский, прогибающийся круг пленки в коробку. Он прикинул этот круг на руке, удивляясь немой покорности тесно сбитых витков, дивясь, как всегда при взгляде на киноленту, заключенному в ней чуду. Анохин не умел привыкнуть к будничности своей профессии, ему не переставало казаться чудом то, что возникало на экране, когда вот такую вот ленту вставлял он с Витькой в проектор и пускал мотор. Все это можно было объяснить, все про это было написано в учебниках, — и все это было чудом. Слезы, смех, гнев, радость — все это жило в этом вот свернутом круге пленки и это нельзя было назвать иначе, как чудом.

Кто-то постучал к ним в дверь, не ожидая отклика, сильно рванул ее на себя. Обитая железом, тяжеленная дверь проекторской непривычно легко метнулась на скрипых петлях. Анохин оглянулся: во всю высоту дверного проема, едва вмещающаяся там, стоял Спирidon Охотников.

— Так вот ты где! Ну, здравствуй, солдат! — Охотников шагнул к Анохину, мимоходом шлепнув по спине замороженно уставившегося на него Витьку.

— Вот это ростик! — прошептал Витька. — Вот это картина!

Витька был покорен с первого взгляда, покорен так, что даже притих, даже оробел.

— А я тут по работе рядом оказался, — сказал Охотников, обнимая Анохина. — Дай, думаю, зайду — твой «Кристалл» здесь отовсюду видать. Ну, как ты? Голова к бою готова? У меня вот рука пока без дисциплинки. — Охотников подтянул, морщась, все еще забинтованную руку. — Я ей велю быстрее шевелиться, а она ни в какую. Каждый день сражаемся по два часа. Я ей говорю, дуре, ты мне нужна здоровая,

боевитая, а не такая — для девиц: «Ах, герой! Ах, забинтованный!» Драться надо, а не позировать! Правильно говорю, молодой человек? — Охотников одарил Витьку своей щедрой улыбкой, померцал на него серыми глазками.

— Правильно, — кивнул Витька. — Вы артист?

— Чудик, да какой же уважающий себя мужик пойдет в артисты? А ты что за тучело? Чего это ты так вырядился под стилиягу? Рабочие руки, а одежка, как у дурака. Кино? Полагается? Ну, давай, давай — попугайничай. — Охотников пренебрежительно повернулся к Витьке спиной. — Рад чертовски тебя видеть, Миша, — слова обаял он здоровой рукой Анохина. — Знаешь, так получается, что мы соседями будем. Нашему СМУ-6 положили освоить двадцатый квартал. Это совсем тут рядом с вами. Я ходил сейчас смотреть — на год работы. Через год будешь ты, Миша, уже не окраинным жителем, не парнем с колючей остановки, а парнем с нашей улицы, которой конца краю не видать. Стоп! Я вам, ребята, не мешаю? Да и можно ли мне здесь находиться? Там что-то такое на дверях было написано, насчет того, что вход посторонним запрещен, курить нельзя, а дышать можно только с разрешения начальства.

— Во дает! — тихо сказал Витька.

— Молчи, стилияга! Молчи, когда положительные герои разговаривают. — Охотников, не оглядываясь, протянул руку и с дружеской бесцеремонностью расстрепал Витькины рыжие космы. — Что, на парикмахера не заработал? Или мода такая? Отстал ты, рыжий. Теперь на Западе стригутся коротко. Вся хитрость у них там в том, чтобы голова получалась круглая, как кокосовый орех. Чуть мохнатая и круглая. Понял? — Охотников прошелся, осматриваясь, по троекторской. — А у вас тут забавно. Мастера иллюзиониста, так? Творцы теней? Нет, мое дело прочней. Кирпичики! Домики!

Охотников подобрался к смотровому окну в зал и сунулся в него головой.

— Сейчас речь буду держать. Граждане, не расходитесь, сейчас я скажу вам замечательную речь! — Охотников распрямился. — Ну, пошли? Народ уже весь у выходов. Знаешь, Миша, как увижу зал, ряды

стульев, людей, так прямо в дрожь бросает, как хочется толкнуть речь. Видимо, во мне гибнет оратор. Но ничего, ничего, я еще дорвусь когда-нибудь до мировой трибуны! Как думаешь, рыжий, дорвусь?

— Дорветесь, — наклонил голову Витька. — А в баскетбол вы не играете? У вас данные для баскетбола.

— Баскетбол — чепуха. Это — сезонка, рыжий. В тридцать лет и ты уже на скамеечке запасных. А надо такое дело в жизни делать, чтобы до самой смерти быть человеком. Понял? Не запасным, а основным игроком. Ну, потопалы, ребяташки.

— Пошли, — сказал Анохин. Он был рад Охотникову, хоть тот несколько и оглушил его. Но он был рад и этому напору, этим энергическим словам, этой обаятельной самонадеянности. С Охотниковым ворвался в проекторскую тот мужской отличный дух и товарищества и веселости, какой жил у них в больнице, в их солдатской палате. Вдруг вспомнились эти недавние дни и не больницей повеяло от них, а силой, а радостной уверенностью, что ты не одинок. Вспомнилось, как думалось там — вглубь, по-серьезному. Вспомнилось, сколько всего было решено там, как заглядывалось там в будущее. Вспомнилась решимость тех дней жить дальше смело, широко, щедро. И вдруг, рядом с этим, встали перед глазами последние дни, так похожие друг на друга, какие-то неуверенные, смятенные дни. И вдруг все восстало в Анохине против такой жизни, против такой в себе робости. Если бы можно было, он бы рванулся сейчас куда-то бежать, что-то делать, что-то самое главное и самое важное. Но надо было не спеша выйти из проекторской, обстоятельно замкнуть дверь, выключить в подсобке свет, глянуть в зал, не забыл ли задернуть экран противопожарной занавеси. Все было в порядке, все было в полном порядке.

Они прошли через опустевшее фойе. Охотникову здесь все было интересно, он все время оглядывался и широко взмахивал руками, будто порываясь что-то такое прокричать на весь зал.

— Ну, не могу просто! — пожаловался он Витьке. — Ну, так и тянет сказать речь. А тебя к чему-нибудь тянет, рыжий?

— К деньгам, — сказал Витька. Он несколько по-

привык к Охотникову и стал уже спокойнее и не без усмешечки к нему приглядываться.

— О, да ты серьезный злодей, оказывается!

— Жизнь серьезная,— сказал Витька и беспечно улыбнулся Охотникову, случайно или нарочно очень верно повторив охотниковскую бесшабашную улыбку. Нет, даже не бесшабашную, а такую, словно он награждал ею своего собеседника — на, друг, радуйся, засматривайся на меня, мне не жалко.

Охотников внимательно посмотрел на Витьку, хотел что-то сказать, но промолчал. Витькины кошачьи глаза обрели сейчас ту зоркость, тот иронический блеск, когда должно человеку с таким блеском в глазах сказать что-то веское, что-то сокрушительное, а нет слов, так лучше промолчать. Охотников понял это и промолчал. Видно, нужных слов не нашлось.

У выхода из кинотеатра, приотворив дверь администраторской, Анохина окликнула Лидия Петровна Забелина.

— Слушай, Анохин, тут из библиотеки приходили, просили им помочь! — громко-властным своим голосом сказала она Анохину, когда он подошел. — У них там сейчас собеседование какое-то. Пропаганда книги, так сказать. Сходи, сделай милость, поприсутствуй. Ты же у нас книжник. Сходишь? От всего нашего кинотеатра, так сказать, от партийной организации, ладно?

— Схожу,— сказал Анохин.

Он знал об этой Рениной затее. Он знал, что она собиралась позвать в библиотеку девушек из ателье. Он знал, что если пойдет сейчас в библиотеку, то непременно встретится там с Ниной Лагутиной.

— Схожу,— повторил он.

## 15

Семен Иванович Лебедев уже давно так не волновался, как сегодня. Он даже вышучивать себя пробовал, чтобы успокоиться. Верное средство: сам над собой посмеешься — самому же и полегчает.

— Гляди, Любочка,— прихоращиваясь перед зеркалом, говорил он и округлял в страхе глаза. — Гляди, каков у тебя комдив, каков буденновец... И про-

тивник-то — десяток девиц, а он уже у тебя крупной дрожью дрожит.

— Гляжу, гляжу,— тоже встала перед зеркалом Любовь Григорьевна. Муж не заслонял ей зеркала, она была много его выше. Поглядев этак в зеркало — он на нее, а она на него, улыбнувшись чему-то грустно, вдруг грустным каким-то своим мыслям, они снова занялись делом.

Все, казалось, было готово в библиотеке для разговора, который должен был произойти. На полках, на стендах, на столах были выставлены и выложены книги — множество книг, самых разных, старых и новых, нарядных и в бедных сереньких переплетах. Иные из книг открыты на каких-то нужных страницах, показывали свои иллюстрации, иные манили обложками, иные лишь сообщали имя своего автора. Громкое имя, давно себя обессмертившее. Только взглянешь на это имя, и целый мир встанет перед глазами. Вот этого вот писателя мир, которым он наделил и тебя.

Все было готово, но все же и Реня, и Любовь Григорьевна, и их неизменный помощник Семен Иванович то и дело что-то переставляли, поправляли, ласково и легко касаясь руками книг.

— И я волнуюсь,— сказала Реня, в который раз от дверей читальни оглядываясь на книжную выставку.— Что-то мы им скажем? Как сумеем их убедить, что это вот все,— она повела широко рукой,— что это вот все сделает их богаче, счастливей, ну, просто умней?

— В том-то и дело, Ренечка, в том-то и дело — как? — сказал Семен Иванович.— Оттого я и волнуюсь, что не слышу в себе слов, которые бы могли одолеть глухоту наших милых собеседниц.

— А я не волнуюсь,— сказала Любовь Григорьевна.— К радости познания не след тянуть человека за руку. Надо лишь приоткрыть перед ним дверь, и пусть уж сам решает входить ему или нет.

— Жаждающий да напьется? — спросил Семен Иванович.— А знаешь, Любочка, ты погрешила сейчас против истины, говоря, что не волнуешься. Когда ты так вот торжественно излагаешь свои мысли,— это верный признак, что ты волнуешься.

— Мы так долго, Семен, влачим совместное существование, что ты и впрямь можешь подумать, что выучил меня назубок,— насмешливо сказала Любовь Григорьевна.— Но...

— Но женщины,— подхватил Семен Иванович,— женщины, надо бы мне помнить, существа до конца непознаваемые, сколько бы ты их лет ни познавал.

— Совершенно верно изволили заметить,— торжественно поклонилась мужу Любовь Григорьевна.— Когда-нибудь, Семен, я еще расскажу тебе многое и многое о себе, да и о нас двоих.

— Нет, положительно, ты страшно волнуешься. Даже больше, чем я.

— Идут! — сказала Реня и распахнула дверь читальни.

И сразу в торжественную серьезность этой комнаты, где хозяевами были книги, а люди были только в гостях, и если и говорили тут или даже спорили, то привычно делали это почти шепотом,— ворвался такой звонкоголосый вихрь, что Любовь Григорьевна в страхе кинулась к своим книгам, словно это и действительно был вихрь, могущий все здесь снести и изорвать.

А всего-то и было в этом вихре с десятков смеющихся девиц. Им было смешно, потому что им было смешно. Они смеялись не над чем-нибудь, не над чьей-то шуткой, а просто так, от полноты молодой в них силы, от озорства и немножечко от смущения. Они громко переговаривались, не слыша порой, что говорят, отвечая, как придется, больше вскрикивая даже, чем произнося слова,— и снова делали это от напора молодой в них силы, от озорства и немножечко от смущения.

— Ну, пойми вот их,— кивнула мужу на девушек Любовь Григорьевна.— Пойми вот, что сейчас в их головках.

— Не берусь!

Девушки вмиг разбрелись по читальне, смело взявшись за книги. Кое-кто из них, желая показать свою образованность, громко, как окликают знакомого, называл иное писательское имя. И пошли гулять по комнате Бальзаки и Мопассаны, и Толстые, где Лев, а где Алексей, дружелюбно узнанные бойкими свои-

ми читательницами, точно славные эти дядечки вживе присутствовали здесь. И надо было поспешить к ним навстречу, узнавая и здороваясь с ними.

С ужасом наблюдала Любовь Григорьевна, как вольно обращаются девушки с ее книгами, с ужасом вслушивалась во все эти: «А Бальзак очень интересный... Нет, Мопассан лучше... А мне, девушки, больше нравится, ну тот, вон на той полке...»

— Скажите же им что-нибудь,— шепнула Любовь Григорьевна Рене.— Угломоните же их.

— Пусть смотрят! — радостно-возбужденно отозвалась Реня. Самоуправство девушек ее не испугало. Напротив, ее радовало, что книги так сразу завладели их вниманием. В смещении голосов ловила она чутким ухом и слова подлинной заинтересованности, слова удивления или радости от встречи человека с книгой, когда-то им прочитанной, когда-то ему полюбившейся.

Краешком глаза Реня все время наблюдала за Ниной Лагутиной. Та ходила от полки к полке молча, тихонько кивая то одной книге, то другой. Узнавала их, здоровалась. В Нинином лице сейчас проглянуло неизвестное Рене в лице этой красивой, заносчивой девушки мягкое и грустное, доброе выражение, и Реня вдруг подумала, что, наверное, вот такую когда-нибудь увидел Лагутину Анохин и запомнил, уже не замечая потом ни жестких, ни заносчивых черт, столь обычных, столь всегдашних в ее лице.

Рене стало внезапно грустно. Презирая себя за это, она подошла к стоявшему в углу зеркалу и глянула на себя в него, сравнивая себя с Ниной Лагутиной. Та тоже видна была сейчас в зеркале, только издали. И все же можно было разглядеть мягкое и грустное, доброе выражение ее лица. А рядом, а близко, смотрела на Реню скуластая и серенькая какая-то женщина с громадными, невеселыми, пригасшими глазами. «Это я?! — испугалась Реня.— Это я?..»

— Девушки, девушки! — одолев наконец свою растерянность, подняла руку Любовь Григорьевна.— Садитесь, садитесь же и, пожалуйста, потише.— Она подождала, так и не опуская руки, когда девушки усядутся, подождала, когда утихнут.— Мы пригласили вас сегодня в нашу библиотеку, чтобы поговорить

с вами, о том, как вы читаете, что вы читаете.— Голос Любови Григорьевны креп с каждым словом.— Мы специально выбрали для этого разговора выходной в нашей библиотеке день, чтобы никто не помешал нам разговаривать. Ну вот, вот и давайте поговорим.

Любовь Григорьевна тоже села, закинула ногу на ногу, прямая, торжественная, с любезно изготовленным к вниманию лицом.

— Итак, кто из вас, девушки, расскажет нам о своих любимых книгах?

Выходило, как в школе. И, как в школе, на уроке, когда никто не ждет экзамена, а он вдруг нагрянул, в классе, то бишь в читальне, воцарилось тягостное молчание. Девушки утратили всю свою живость, попрытали глаза, стали о чем-то перешептываться.

— Итак, кто же?..

Нужно было спасти положение, и Семен Иванович, как в школе, потянул вверх руку, проговорив тоненьким голосом:

— Можно я скажу?

Любовь Григорьевна смерила мужа негодующим взглядом и демонстративно от него отвернулась.

— Так можно мне сказать? — все тем же ребячьим голоском спросил Семен Иванович.— Я ведь тоже читатель в конце концов.

— Семен, не вздумал ли ты шутить? — изумленно обернулась к мужу Любовь Григорьевна.— Сейчас? Здесь? — Она протянула руку к своим книгам, обвела взглядом свои книги, и смешная торжественность ее позы, ее слов внезапно куда-то подевалась, стала не приметной, уступив место главному в этой пожилой женщине: ее влюбленности в свое дело, в свои книги.

Семен Иванович обрадованно улыбнулся жене, наклоном головы одобряя ее такую, ее такие вот влюбленно потянувшиеся к книгам глаза, руки.

— Нет, Любовь Григорьевна, я не собираюсь шутить. Хотел было, но раздумал.— Семен Иванович смотрел теперь на девушек.— Вот что, начну с чисто-сердечного признания: я совершенно теряюсь, как с вами разговаривать.— Старик доверительно перегнулся через стол к своим слушательницам.— Вот, хотел посмешить вас для начала, побалагурить, но нет, нельзя. И выспрашивать вас, кто да что читал — тоже

нельзя. А что же можно? А можно, юные вы мои друзья, говорить с вами только прямо и только с предельной откровенностью. Простите старика, наперед прошу вашего прощения, если иные слова покажутся вам обидными. В прямом разговоре без обидных слов не обойтись. Да они и нужны, обидные слова, они чаще всего идут вместе с правдой. И вот вам мое первое обидное слово...— Семен Иванович все же призадумался, прежде чем сказать это слово. Он даже сперва беззвучно пошевелил губами, повторив и раз и другой это слово про себя.— Трудно! — Он беспомощно улыбнулся.— Не умею я так... А все же, все же скажу! — Семен Иванович решительно вскинул свою седенькую головку навстречу молодым, зорким, притаившим и смех и жалость, готовым обидеться или простить, отвергнуть или понять глазам.

— Вы невежественны, — совсем негромко и вовсе не обвиняя, а сожалея, горюя, сказал этим глазам Семен Иванович.— Вы почти слепые, милые вы мои.

Сказавши это, Семен Иванович стал ждать, каков будет отклик. Но девушки молчали. Никто из них не возмутился, никто не засмеялся, никто ему и не поддакнул. Все ждали, что скажет он дальше.

— Хорошо, тогда двинемся дальше. Но предупреждаю: я и дальше стану бранить вас и оскорблять.— Старик пылливо всмотрелся в молодых своих слушательниц, стараясь все же понять их душевный настрой. Что можно сейчас с ними? Чего нельзя?

Лица девушек показались ему спокойными, невозмутимыми и были они, как одно лицо, словно слились в одно лицо — молодое, светлое, ясноглазое, но и в чем-то себе на уме. И это вот «себе на уме» и таило всяческие неожиданности. Семен Иванович мысленно усмехнулся: «А ведь верно, непознаваемые существа!»

— Что ж, пойдем дальше. Я знаю, если разговаривать с вами, то окажется, что вы и книжки кое-какие читали и спектакли смотрели, а уж про кинофильмы и говорить нечего. Конечно, вы не очень уж там ученые, но ведь у вас и времени маловато. Работа, потом дома работа, потом всякие сердечные дела, а у кого уж и ребенок. Ну, словом, времени в обрез. Выдался свободный часок — вот можно и почитать или там

телевизор посмотреть. Чего же еще? Кто посвободнее, у кого работа полегче, а то и вовсе дома сидит на чьих-то хлебах — пусть тот и читает. Так?

Семен Иванович подождал, не ответит ли ему кто-нибудь. Никто не ответил.

— Нет, не так, — сказал Семен Иванович. — Не так, потому что это вот и есть философия невежества! — Семен Иванович вскочил из-за стола, чувствуя, как начинает раздражаться невозмутимостью своих слушателей. «Может быть, я что-то не то говорю? — попытал он себя. — Не умею найти нужных слов?»

— Может, я что-то не то говорю? — громко спросил он у девушек. — Не туда?

— Туда! Туда! — как в школе, хором ответили девушки.

— Поймите, книга — это не просто отдых или залежи знаний. Книга — это собеседник, советчик. И если уж говорить о науке, которую важно вам получить от книги, то следует говорить о науке души. Я понятен?

— Вполне! — наклонила одна из девушек свою бедовую голову в разноцветных гребешках. И все на девушке браслеты и бусы и сережки тихонько звякнули — поддакнули этому ее «Вполне!».

— Вера, помолчи, — сказала ей Лагутина. — Нет, мне не совсем понятно, что это значит — наука души, — Лагутина доверчиво так и очень заинтересованно смотрела на Семена Ивановича. — Объясните, пожалуйста.

«Тебе-то как раз и понятно, — подумал Семен Иванович. — Это ты просто так спросила, чтобы меня выручить».

— Наука души... — протянул он, как-то вдруг увянув, еще больше усомнившись, что говорит то сейчас, что надо, и так говорит, чтобы быть убедительным. — Ну, проще, это жизненный опыт. Он дается нам самой жизнью — этот опыт. Иногда, чаще всего, дорогой ценой. И человеку трудно бывает, иной раз очень трудно... Вот я, когда я сидел, я счастлив был любой книжке, какая бы ни оказалась в моих руках, как человеку, с которым можно поговорить по душам. А если повезет, если человек этот окажется и умным, и глупым, и знающим, то нет цены такой встрече. — Семен

Иванович вновь одушевился. — Разве вам не знакомо это: читаешь про одно, а думается совсем о другом? И вдруг, смотришь, умнее как-то, шире начал ты думать. Что за причина? Кто помог? Кто глаза отворил? А это все эта вот книга, которую ты читаешь, ее ум, ее опыт, которыми она с тобой поделилась. — Старик умолял и надолго вновь всмотрелся в обращенные к нему молодые лица, в чем-то очень похожие, слившиеся будто в одно, молодо-ясное, но и притаившиеся, себе на уме лицо.

— Знаете что, вернемся-ка лучше к книгам! — вдруг предложил он. — Это будет нуда как лучше всяких слов.

Он поспешно вышел из-за стола и направился к книжным полкам, энергичными взмахами руки зовя за собой своих слушателей.

За ним охотно все поднялись, и уже через минуту снова зажил в читальне звонко-голосый вихрь, и снова пошли по рукам книги, а их авторов, тех, кому посчастливилось быть узnanными, стали радостно окликать по именам.

— Провалился? — шепотом спросил Семен Иванович у Рени.

Реня промолчала. Ответила Любовь Григорьевна:

— Несомненно, друг мой, несомненно!

— А чему ты радуешься?

— А радуюсь, ибо это послужит тебе уроком. Ты полагал, что библиотечное дело можно оседлать с наскока, как коня какого-нибудь. И поскакал, и замахал своей сабелькой! О нет, библиотечное дело...

— Библиотечное дело? — перебивая, переспросил жезу Семен Иванович. — Да разве мы их по этому твоему делу сюда пригласили? Нет, Любовь Григорьевна, все сложнее, все куда как сложнее. — Он отвлекся, увидев, как Лагутина остановилась у книги, раскрытой на большой цветной репродукции. Он спешил к Лагутиной.

— Вам нравится? Да, это удивительная, удивительная картина. Это — Андрей Рябушкин. «Свадебный поезд в Москве». Знаете, какой поры? Семнадцатого столетия. А кажется, что это родные тебе люди, что ты узнаешь их, да, да, что ты знавал их когда-то. Не правда ли?

— Правда. Я тоже подумала, будто это из какого-то моего сна.

— Вот видите, видите! — Семен Иванович про-  
сился. — Замечательный художник рассказал нам о на-  
шем, о родном и сумел сделать это так, что мы почув-  
ствовали это наше родство. Вот видите, видите!

— А кто эта девушка? Почему она сторонится  
всех?

— Этого не объяснить. Пожалуй, это каждому  
дано объяснить по-своему. Художник нам дал это пра-  
во. Он не рассказал нам всего до конца об этой девуш-  
ке. Да и не должен был. Так ведь и в жизни. Идешь  
по улице...

— Ее что-то обидело, — сказала Лагутина, близко  
всматриваясь в изображенное на картине. — Всем ра-  
достно, а ей и горько, и тяжело. Она спешит уйти  
от всех. Как бы узнать — почему?

— Может быть, тот, кто едет сейчас с невестой,  
может быть, он любим этой девушкой? — встав рядом  
с Лагутиной, предположила Реня.

— Да просто ей завидно, — сказала Вера, не за-  
быв звякнуть своими браслетами и сережками. — Вот  
женятся, свадьба у людей, а она никак не пристроится.

— Нет, это не зависть, ты посмотри, Вера, какое  
у нее лицо.

— А какое? — спросила Реня.

Лагутина задумалась, всматриваясь в картину.

— Нет, это не зависть, — помолчав, ответила она. —  
Это горе. И не чужих встретила она сейчас. Она знает  
тех, кто проносится мимо. Если бы она оглянулась,  
они бы тоже узнали ее. Но она не хочет им мешать  
сейчас, напоминая о себе. Вот она и убегает, ведь она  
убегает.

— Вы очень много рассказали об этой картине, —  
сказала Реня. — И очень верно.

— Нина у нас разбирается, — подала голос одна  
из ее подруг. — Но тут и всякий разберется. Когда  
свадьба, всегда, кому радость, а кому горе. Я вот гуля-  
ла тут на одной свадьбе в прошлое воскресенье. Смех  
и слезы! Оказывается, жених с тремя подругами  
по очереди крутил, пока выбор сделал — женился  
на четвертой. А те-то три — тоже здесь, тоже  
на свадьбе.

— Вот уж я бы не пришла,— сказала Реня.— Гордости у них нету, Лиза, у твоих подруг.

— Отчего, отчего бы и не прийти? — Лиза пренебрежительно покривила смело подведенные губы. Это была девушка рослая, сильная, с тяжелыми руками, которыми она очень доказательно взмахивала, помогая своим словам.— Только бы я уж там бы слезы не лила в уголке, а что-нибудь бы такое выкинула, чтобы запомнили.

— Ты бы уж выкинула,— рассмеялась Вера, весело зазвенев браслетами и сережками.

— Обязательно! Людей надо учить!

— А чему? — это спросила Тоня, девушка с очень медленными плавными движениями, с чертами лица невозмутимыми, как будто даже недвижимыми, может, оттого, что слишком замысловатой была у нее прическа — целая башня на голове. Попробуй, шевельнись — башня и рассыплется.

— Людей надо учить, чтобы не обманывали! — жестко сказала Лиза.— Навидалась я этих обманщиков. Их надо учить, учить!

— Нет, я бы не пришла на эту свадьбу,— повторила Реня.— И потом, если человек обманул, что можно сказать ему? О чем еще можно с ним говорить?

— А что же, промолчать, пускай и дальше безобразничает? — гневно спросила Лиза.— Вот потому, что много нас таких добрых дур, хоть нас всех взять или эту вот из семнадцатого столетия, вот потому мужики над нами и куражатся!

— Доброта не глупость,— сказала Реня.— В доброте почти вся человеческая сила. Можно кричать, можно обвинять, можно даже ударить — и это все ничто. Человек силен человеческим в нем, добротой.

— А если очень плохой человек — и к нему с добром? — спросила Лагутина.

— Я знаю, о чем вы подумали.— Реня поспешно взяла Лагутину за руку.— Я знаю.— Реня беспомощно оглянулась на Семена Ивановича.— Семен Иванович, ведь вы тоже знаете. Помогите!

— В чем, Реня? — Старик как-то издали поглядел на нее.— Как трактовать эту картину? Разговор о картине? К сожалению, разгадать все здесь едва ли

возможно. Впрочем, почему к сожалению? Разве так не лучше, разве так не серьезней, когда не находится на все сразу быстрого и легкого ответа? Художник вот учит нас не спешить с ответом. И, знаете, я заметил: ни одна талантливая книга, ни одна талантливая картина не станет навязывать нам свои ответы. Так и в жизни людей, думается мне, так и в наших поступках, в душевных движениях, — нет, не сыскать до конца ответа.

— А надо жить, — сказала Реня.

— И честно жить! — сказал Семен Иванович.

— Как? — спросила Лагутина. — Как все понять?

— Сразу? — поглядел с улыбкой на нее старик. — Прямо вот немедленно? Я вот, Нина, уж стар, а все разбираюсь. Вот, взгляну на картину — и что-то еще для себя пойму. Перечту Толстого — и что-то еще для себя пойму. Утром встал, послушал радио, эти гу-гу-гу из космоса, — и снова что-то для себя понял.

— Трудно так, — сказала Лагутина.

— Нет, так только и интересно. Да, трудно, но интересно.

— А для простых людей? — спросила Вера. — Какой есть рецепт для самых простых людей, чтобы быть им счастливыми?

— Простых людей не бывает, — сказал Семен Иванович. — Не обкрадывайте себя, вы не простая.

— А как же вот пишут: «Простой советский человек»?

— Глупо пишут! Вы — сложная-пресложная, богатая-пребогатая. Целый громадный мир — и все это вы.

— Дедушка, да я только и есть, что швец пятого разряда.

— Не лукавьте со мной, я же старик повидавший, побывавший. И не звените так все время вашими браслетками. Эти браслетки — тоже лукавство. Этот звон тонюсенький — это как бы ваш оклик, ваша заманочка.

— А ведь точно! — изумившись, взмахнула руками Лиза. — А ведь распонял!

— Распонял. — Семен Иванович, чтобы всех сразу стало видно, отошел немного в сторону, и снова зорко взгляделся в лица своих собеседниц. Они теперь не показались ему вроде как бы на одно лицо. И это обра-

довало старика. Так и должно было быть. И исчезло это «себе на уме» в их лицах, исчезла настороженность, уступив место своему, собственному в каждом лице.

Пришло время и для Любови Григорьевны, для ее «библиотечного дела». Началась запись в библиотеку. Тут же выдавались и книги. Девушки сами выбирали их.

— Только не спешите, не хватайтесь за первую попавшуюся книгу, а рассмотрите ее хорошенько, подержите в руках,— напутствовала записавшихся девушек Любовь Григорьевна.— Идите к полкам и не торопитесь. Все книги тут перед вами, смотрите, выбирайте. Наспех взятая книга, как случайный знакомый на каких-нибудь танцульках. Чаще всего от такого знакомства испытываешь только разочарование.— Тут Любовь Григорьевна многозначительно улыбнулась.— Не правда ли? Случайные знакомства разочаровывают?

— Что и говорить! — вежливо согласилась с ней Лиза, доверительно кинув к Любови Григорьевне свои тяжелые руки, которые неизменно помогали появлению каждого ее слова.— Другой-такой протанцует с тобой танчик и уже намеки начинает делать. Ну, знаете, эти их разговорчики?

— Еще бы! — понимающе наклонила голову Любовь Григорьевна.— Вот я и советую...

— Не беспокойтесь, мамаша, мы тоже не маленькие, понимаем. Между прочим, присоветуйте мне какую-нибудь книжечку про любовь. Вот, как на той картинке, из старины. Найдется такая?

— Найдется,— сказала Реня.— И не одна.

— Присоветуйте.

— Пойдемте.— Реня взяла Лизу под руку и повела ее к книжным полкам.

— «Книжечку про любовь...» — сокрушенно повторила Любовь Григорьевна, оглядываясь на мужа.— Боже праведный, а ведь вот в графе «Образование» написала: «Кончила семь классов». Какие же это семь классов?

— А те самые, Любовь Григорьевна, которые надобны для графы про образование. В этих семи классах, страшно сказать, сколько еще от проформы, сколько там еще скуки и этой глупейшей зубрежки, когда сегодня знаешь, а завтра из головы вон. Добро, если повезет на учителей. Вот тогда семь классов, что там ни говори, а образование. Боюсь, нашей Лизе на учителей не повезло. Что ж, надо помочь ей. Гляди, Любовь Григорьевна, вон Реня уже и помогает, ищет для нее «книжечку про любовь». Ведь это может быть и «Анна Каренина». А нет, так «Тиль Уленшпигель» или «Дон Кихот». Или «Тихий Дон», «Жестокость», «Три товарища». И все это «книжечки про любовь».

— Ты слишком узко трактуешь темы этих книг.

— Ничуть! Широко, широко трактую!

— Ох, вечная эта твоя манера валить все в одну кучу!

— Ну, поучи меня, Любовь Григорьевна, поучи!

Муж и жена собрались уже было поспорить, но им помешали.

— Быть не может! — всплеснул руками Семен Иванович. — Любочка, да это же он, тот самый Охотников!

Старик кинулся к дверям, несказанно обрадованный этой случайной встречей, и Охотников тоже был рад Семену Ивановичу. Он обнял его, как старого своего друга, и долго не выпускал из рук, низко наклонясь к нему, что-то, улыбаясь, шепча ему в ухо. Семен Иванович очень развеселился. Привставая на цыпочки, он заглядывал на Охотникова, приговаривая:

— Ну, озорник! Ну, озорник!

Продолжая что-то нашептывать Семену Ивановичу, Охотников поверх его головы весело рассматривал дерзкими своими глазами обернувшихся к дверям девушек.

— Анохин, куда это ты меня привел? — громко спросил он. — На танцы? На бал? Откуда здесь столько красавиц?

Ответил Витька, который тоже явился вместе с Анохиным:

— У нас здесь некрасивых не держат. Главные

условие при приеме на работу, чтобы была красавицей.

— Толковое условие!

Пропустив вперед Охотникова и Витьку, Анохин так и остался в дверях. Он был рад суматохе, какую поднял Семен Иванович, завидев Охотникова. Пока они здоровались, а вот теперь Семен Иванович знакомил Охотникова и Витьку с женой, Анохин как-то успел унять в себе охватившее его поначалу волнение, такое, когда вдруг начинает что-то в тебе звенеть, звенеть, изнутри постукивая по вискам звонкими молоточками.

К нему подошла Реня.

— Зачем вы пришли с ними?

— Увязались.

— Этот ваш Охотников начинает разворачиваться и здесь. Полюбуйтесь.

А любоваться было на что. Охотников действительно зря тут времени не терял. Он и там, в больнице, за неделю какую-нибудь влюбил в себя всех без остатка палатных сестер и молодых докториц впридачу. Да и пожилые докторши испытывали к нему явную слабость, которую сам Охотников называл «тайной грустью по дням ушедшим».

Да, Охотников зря времени не терял. Вмиг освоившись здесь, он уже успел перезнакомиться со всеми, успел что-то любезное и Любове Григорьевне сказать, и каждой из девушек. Витька только рот разевал да помалкивал, дивясь и учась этому «высшему пилотажу».

Какие там книги — все было позабыто, все книжное, мудрое, тихое. Девушки, как бы опомнившись, вновь обрели твердую почву под ногами, стали такими, как всегда, привычно поведя себя — Лиза как Лиза, Вера как Вера, Тоня как Тоня.

И все стало просто, весело, лукаво, обыкновенно. Вот явился красивый малый, смелый, явно знающий, что к чему, как черт хитрый и нахальный, — и можно и себя показать, и тоже полукавить, покрутить, от души занявшись этой извечной игрой, в которой и они знали, что к чему.

Со стороны все будто происходило чинно и как полагается. Охотников не орал, не приплясывал,

не откалывал каких-либо сомнительных шуточек. Он всего лишь свободно держался, он только лишь смело взглядывал девушкам в глаза, когда здоровался с ними, щедро одаривая их своей улыбкой. Только и всего. Ну разве что обронил ненароком две-три фразы.

— Это что у вас за детский сад? — осведомился он, поводя глазами по книжным полкам. Ему объяснили.

— Дело, дело,— похвалил он. Но так похвалил, как можно было бы и высмеять. И вдруг предложил, став вдруг серьезным, и еще больше похорошев от этой вот мужественной строгости в лице:

— А теперь, друзья, пошли-ка все на воздух, на мир широкий. Я вам сейчас такое покажу да расскажу, такое дело!..

Не оглядываясь, он широко зашагал к дверям, зная, уверенный, что и другие пойдут за ним. И только тут, в дверях, он увидел Реню.

— Вы?! — радостно изумился он. Схватив Ренину руку, он взял да и поднес ее к губам.

— Как я рад, как я рад, что мы свиделись!

Реня очень смутилась. Ей было не понять, смеется ли он над ней или действительно обрадовался встрече. Она глянула, недоумевая, на свою руку, которую он только что у всех на глазах поцеловал, и судорожным движением спрятала ее за спину.

— Я действительно очень рад, Реня, снова вас увидеть, — мягко и серьезно сказал ей Охотников. — Честное слово. Вы с нами? — Он толкнул сильно дверь, так, что она грохнула об стену, и шагнул за порог, зная, уверенный, что и остальные последуют за ним.

## 17

Так и случилось. Выстроившись гуськом, девушки потянулись к выходу.

— Ой, опять очкастенький! — сказала Вера и насмешливо зазвенели ее браслеты. — Здравствуйте. А что, опять скоро выборы?

— Нет, еще не скоро.

— Девочки, это тот самый,— многозначительно

промолвила Тоня, округляя глаза.— Тот самый... Она повела глазами на Лагутину.

Прошли. Замыкал это шествие Витька. Он сочувственно подвигал головой от плеча к плечу, заверил:

— Ничего, босс, будет когда-нибудь и наш верх!

Пустился в путь и Семен Иванович. Он шел, ведя под руку Нину Лагутину.

— Сманил, сманил! — посмеиваясь, говорил он ей.— Ну что ж, посмотрим, послушаем, что он нам покажет да расскажет на широком-то миру. Любочка, ты с нами?

— Я?! — гневно оглянулась Любовь Григорьевна.— Бежать за каким-то оболтусом? Ну, мил, ничего не скажу, но ведь оболтус, вертопрах.

— Не сказал бы... Не то, не то... А вы как про него думаете, Нина?

— Красивый, — усмехнулась она.

Они подошли к дверям.

— Здравствуйте, Миша.— Она протянула ему руку.

Дикая мысль рванулась в нем, ударив по глазам. «А что если, что если взять эту руку и поцеловать?!»

— Здравствуйте, Нина.— Он не решился даже пожать ее руку.

— Откуда это вы выискали такого? — спросила она.

— Познакомились в больнице.

— Какой-нибудь актер, художник?

— Инженер-строитель.

— А я подумала, какой-нибудь актер или художник.

— И инженер может быть актером, — сказала Реня.

— Оказывается, вы старые знакомые, — улыбочиво оглянулась на нее Лагутина.— Вот даже руку поцеловал. А мне вот никогда, никто...

Накинув пальто в тесной прихожей-раздевалке, они вышли на улицу, пропуская вперед Семена Ивановича.

— Ага, захотелось манер, обхождения, ага! — торжествуя, сказал старик.— Надоело этак вот: «Нинка, Колька, приветик, потопали?! Попомните, еще не только там руку даме целовать, но и руку и сердце

предлагать научатся. Старина? Добрая, умная старина!

Они вышли навстречу вечеру. Теперь вот даже и звезды в небе стали весенними. Таких звезд не увидишь ни зимой, ни летом. Они только весной и, пожалуй, только в апреле и даже не весь апрель, а дней всего десять, бывают такими ярко-близкими, будто подплывшими к земле. Вокруг них, вокруг каждой, собственное сияние. И начинаешь верить, что где-то там, на этой ли звезде, на той ли, есть жизнь, такая же, как и у нас. Хочется верить, что такая же. Не определившая нас и не оставшая от нас. Хочется верить в это невероятное. Хочется думать об этой звездной жизни, где тоже есть человек, такой же, как ты. Совсем такой же. Странно об этом думать. Странное в тебе рождается чувство: громадное какое-то, не вмещающееся в тебя. И вдруг начинаешь ты что-то такое понимать о самом себе, чего минутой раньше не умел понять. И вдруг о чем-то про себя догадываешься широко и со стороны на себя поглядев.

Ветер тоже удивительный в эту пору. Он тоже буждет в тебе что-то от зоркости, отыскивая для тебя в мире окрест что-то непременно значительное, непременно удивляющее. Чем он только не дышит — этот талый, теплый и крепкий ветер! Будто даже морем, если только это возможно. А может быть, теми вот звездами, если это только возможно.

Анохин и Лагутина пошли рядом, Реня и Семен Иванович чуть впереди. Они не поспевали за быстрым шагом Охотникова. Он куда-то так заторопился, что девушки и Витька, старавшиеся от него не отстать, нет-нет да и припускали бегом.

— Куда это он? — спросила Лагутина.

— А вот, в свой широкий мир, — оглянулся Семен Иванович. — И семимильными шагами при этом. Не правда ли, есть в нем что-то от сказочного героя — в этом парне?

— Красивый, — сказала Лагутина. — Куда же это он? К пустырю? А руками-то как размахивает! Даже бинт не мешает. Не улетел бы.

— Нет, он земной, — сказала Реня.

— У вас с ним что-то не ладится, да? — спросила Лагутина.

— У меня с ним? — удивилась Реня. — Да мы совсем чужие люди. Это он просто балагурит со мной. Так, скуки ради.

— Будто бы? — не поверила Лагутина.

— Посмотрите, — сказал Анохин, — посмотрите, какие сегодня звезды.

— А какие? — спросила Лагутина отчего-то враждебным голосом. — Вот уж вы и до звезд добрались. Кстати, над пустырем они особенно хороши.

— Да и над нашим пустырем, — сказал Анохин. — Я вот подумал, а что если и там, на какой-нибудь из этих звезд, по какой-нибудь из тамошних дорог идут сейчас люди.

— Вы тоже об этом подумали? — быстро спросила Реня. — Тоже?

— Совсем такие же, как мы, — сказал Анохин.

— И тоже работают в ателье или там в библиотеке, — насмешливо подхватила Лагутина. — Мало вам нашей тоски? Хотите, чтобы и на звездах такое же было?

— А мне не тоскливо, — сказала Реня.

— Скажете, что счастливая?

— Нет, этого я не скажу. Но мне не тоскливо. Мне трудно, мне даже порой очень трудно, но мне и интересно, очень все интересно.

— Просто вы еще не знаете, Реня, что такое горе да беда, — не без превосходства проговорила Лагутина.

— Может быть.

— А вы знаете? — спросил у своей спутницы Семен Иванович. — Думаете, что все, все уже превошли?

— Все не все, но нагляделась, — сказала Лагутина. — Пойдемте послушаем, что это он там рассказывает.

Она прибавила шагу, и Семен Иванович сразу же отстал от нее, приложив руку к сердцу, чтобы оправдать этим движением свою медлительность.

Реня и Анохин взяли его под руки.

— Идите, идите, а я потихоньку, — сказал им старик. Он остановился, запрокинул резко голову. — И что же, и там где-нибудь прыгает по своим дорож-

кам некий Семен Иванович? А, Миша? Нет, не хотелось бы в это верить. Нет, дорогие мои, там только все еще начинается. И вот мы, умные и умудренные, к их началу как раз и прилетим. Не так, скажем мы им, а вот эдак надобно вам строить жизнь. Уж вы поверьте нам, скажем мы им, мы все это на себе проверили. А что, друзья, что если это так — и мы на Земле являемся разведчиками для всего человеческого сообщества всех несметных галактик?

— Жаль, ушла Лагутина, — рассмеялась Реня. — Она бы вам ответила, Семен Иванович.

— Что ж, и ответила бы. Она совсем не глупая девочка, Реня. И, пожалуй, пожалуй, горького в жизни ей досталось с избытком.

Втроем они снова двинулись в путь, не спеша обогнули угол дома и очутились лицом к лицу с черным, безглазым пустырем, укрытым, как рваной овчиной, свалявшимся, нечистым снегом.

Тут они и нашли Охотникова. Он говорил, нет, пожалуй, даже речь держал. Подступив к самому краю асфальтовой суши, за которой сразу же начиналась черная пучина пустыря, он говорил, и звонко-задорен, непогрешимо-властен был его голос.

Вот таким, таким же совсем голосом в какой-то старой кинокартине отдавал команду красный командир своим бойцам: «По коням! Шашки наголо! Вперед на врага!» Анохин даже увидел, как метнулись по пустырю тени всадников.

— Ах, молодец! Какой молодец! — залюбовался Охотниковым Семен Иванович. — И рука на перевязи...

Пожалуй, старику сейчас привиделось что-то схожее с тем старым фильмом, который вспомнился Анохину. Но только Семену Ивановичу не нужен был фильм, вспомнилась ему сама его жизнь, вспомнилась юность. Оттого так и восхитил старика сейчас Охотников, что, глядя на статного этого парня, услышав молодо-смелый его голос, старик вспомнил свою юность.

Охотников говорил, и все вокруг его слушали ну просто затаив дыхание:

— Вы только представьте себе!.. Ночь... Одна только ночь и улица, целая улица пройдет по этому

пустырю! При свете прожекторов домовозы каждые тридцать минут будут подвозить сюда полностью отделанные объемные элементы, иначе говоря, готовые квартиры. За сутки — этаж. Десять строительных площадок — и вот вам и улица, первый этаж целой улицы. Начинается день, снова работа по минутам, снова, как в эстафетном беге, рвутся вперед машины и люди, передавая друг другу свое «Сделал!» И вот готовы монтажные горизонты, заканчивается отделка мест сопряжения, зачеканка швов. И снова ночь — и еще один этаж вырастет на нашей улице. Неделя, и вся улица под крышей. Еще три-четыре дня на подключение коммуникаций и отделку стыков и — валайте, вселяйтесь! — Охотников щедрым взмахом руки как бы открыл въезд на пустырь. — Огни! Веселье! Музыка! Вот это вот дело, вот это вот, братцы-барышни, жизнь!

Охотников уронил руку, устало опустил плечи и шагнул в сторону, чтобы не заслонять никому открывшуюся впереди картину. Он-то видел и эти огни в окнах, слышал и эту музыку и голоса — и все так явственно, что и усомниться не мог, что все тут видят сейчас то же самое.

Может быть, в первую секунду, пока еще не сглож звук его голоса, такой сам по себе убеждающий, и остальным увиделось то, что и ему. Увиделось — почудилось и померкло. Снова пустырь, только пустырь, черный, как провал в земле, разлегся перед глазами.

И вдруг вспыхнул свет — там, на пустыре. Не померещилось ли? Нет, вспыхнув, свет этот не исчез, а даже стал разгораться, как костер на ветру.

Анохин вгляделся, стараясь угадать, откуда свет. Но, вглядываясь, он наперед знал откуда. Этот мнимодневной свет, этот мертвящий своей холодной яркостью свет мерцающих трубок, мог зажечься сейчас на пустыре только в одном-единственном месте — в будке Князева.

— Вернулся! — громко вырвалось у Витьки.

Анохин посмотрел на Лагутину. Она тоже увидела этот свет и тоже угадала, откуда он. Она замерла, жалко-смятенно взмахнув перед лицом руками, словно загородиться хотела от этого света. А он лез в гла-

за, все разгораясь, мерцая и вспыхивая, как сухой валежник, подброшенный в костер.

— Что это там у вас? — спросил Охотников. — Что за огонь на болоте? Дьявол объявился? Что вы все как пришибленные?

— Не дьявол, а женишок объявился, — объяснила одна из девушек. В ее голосе заплелись две отчетливые ноты: одна усмешливая, а другая испуганная. Испуганная нота взяла верх.

— И что за беда? — спросил Охотников. — Чей жених-то? Где невеста?

— Помолчи, — подходя к нему, тихо сказал Анохин. — Не время шутить.

— Вижу, перепуг ваш мне виден. Но ты все же объясни, что за причина?

— Это Князев, — сказал Анохин. Он старался говорить как можно тише. — Помнишь, я рассказывал тебе в больнице...

— Тот самый?! — громко спросил Охотников. — Значит, вернулся бандюга?! Так что же мы стоим?! Хватать его подлеца, да в милицию! Двинули?!

— Погоди... Все не так просто, погоди... — Анохин оглянулся на Лагутину и следом за ним посмотрел на Лагутину Охотников. И как-то так вышло, что все сейчас оглянулись на нее. А она, все так же жалко-смятенно перебирая руками, сжимая пальцами горло, губы, продолжала неотрывно смотреть на рвущийся из князевской будки, слепящий и холодный, предостерегающий, как оскал взбешенного человека, свет.

— А девочка-то, видно, подзапуталась, — насмешливо проговорил Охотников, вовсе не заботясь, чтобы Лагутина не услышала его слов.

Она услышала. Она вдруг поникла, сжалась и, жалко спотыкаясь, — все у нее сейчас выходило жалко, — беспомощно увязая каблуками в раскисшей земле, побежала прочь от направленных на нее глаз.

— Такие вот дела! — подавленно проговорил Семен Иванович. — Ну, что тут можно поделать? Ума не приложу. Чужая жизнь, чужая... Как ни мудри, как ни старайся, каким добрым ни будь, а в чужую жизнь тебе хода нет.

Кому он это говорил? Себе? Анохину?

— И вот еще о чем надо крепко подумать: почему он вернулся? Как решился?

— Что же, отойти в сторону? — спросил Анохин. — Пусть человек хоть криком кричит?

— А никто и не кричит. — Семен Иванович счел нужным отшутиться. — Или, может, мне, старику, медведь на ухо наступил? Молодые люди, вам-то медведь ушки не прихлопнул? Скажите ему, кричал тут кто или нет?

— Или нет, — уныло проговорил Витька.

— Тот-то и оно! А что, девушки, не вернуться ли нам к нашим книгам? — бодро предложил Семен Иванович.

— Верно, пошли! — обрадовалась Лиза. Она удивленно вымахнула-развела руки. — И чего это мы сюда прискакали? Грязь! Темень! Пошли, девчата, пошли книжки выбирать!

— Про верную любовь, — тихо проговорила Реня.

— Про нее самую! — подхватила Лиза. — А что, не найдется?

— Найдется, — сказала Реня.

— Что-то я вас, друзья, не пойму! — напористо заговорил Охотников. — Перепугались, приуныли. Нас тут трое мужиков да десяток не кисейных барышень. Миг один, и Князев этот оказался бы в милиции.

— А потом что, молодой человек? — спросил Семен Иванович, строго вдруг уставившись на Охотникова. — Пятнадцать суток ваших, ну, месяц, ну, три — и все снова-здорово? Он и так зол, как черт, а вы его взбесить хотите? Не советую. Опыт у нас уже имеется. И весьма горький. Нет, не советую.

Старик резко, по-военному повернулся и зашагал, не оглядываясь, на огонек своей библиотеки. Теперь уж он был уверен, что пойдут за ним. Тут, у пустыря, было темно, промозгло, жутковато даже, а он звал на свет, к теплу, к книгам. И за ним пошли.

Сперва гуськом потянулись девушки из ателье, а потом и Реня.

— Мне надо там быть, — сказала она Анохину, как бы оправдываясь. — А вы, Миша, вы не пойдете?

— Нет.

— Проводить вас? — Охотников вплотную подошел к Рене. — Хотя об одну руку кавалер, а как-никак охрана.

— Не надо, — сказала Реня, сторонясь его. — Миша, пойдемте. Зачем вы тут?

— Я — домой. Мы с Витей — домой.

Он продолжал стоять на месте.

— Тогда идите, идите, — попросила Реня. — Не стойте здесь.

— Иду, иду, — Анохин дружески кивнул ей. — Сейчас.

— Ничего, мы тут порядок наведем! — склоняясь к Рене и увлекая ее за собой, построжав, сказал Охотников. — Смотрите, как всех напугал! Ну, ничего, скоро здесь появятся мои ребята...

Они ушли.

— А мы как же, босс? — спросил Витька, натягивая, как зимой, кепку на уши. — Холодно.

— Пойдем. — Анохин еще раз глянул в черный провал пустыря, где мерцал-поблескивал в князевском окошке огонь.

18

— Это куда же мы? — спросил Витька, когда Анохин, пройдя несколько шагов, свернул к дому Лагутиной. — Все ж, в библиотеку?

— Нет, нам в другой подъезд.

-- Это куда же?

— Да ты там уже бывал.

Анохин отворил перед Витькой дверь лифта.

— Это где же?

-- Ладно, сейчас узнаешь.

— Какой этаж нажимать?

-- Восьмой.

— А-а-а! — протянул Витька. — Нет, я у нее не был, босс.

— У нее нет, а под дверью топтался. Вместе с Князевым. Так ведь?

— Так, — вздохнул Витька. — Только каким путем это вам известно стало? Лагутиной тогда и дома не было.

— Была.

— Правда?! — удивился Витька. — И не открыла?! Князю?! Он же ей по-условному стучал. Тихо так: тук да тук-тук да еще разок тук. Я запомнил.

— Зачем?

— Занятно. Потукаешь, и на тебе — дверь и отворилась. Как в сказке.

— А она и не отворилась.

— Значит, к Лагутиной ползем?

— Да.

— А если Князев нагрянет?

— Сейчас она там одна, а так нас будет трое.

— Понял.

Лифт остановился.

— А может, босс, лучше нам домой рвануть? — Витька медлил выходить. — Как-никак — жених да невеста. Было уж.

— Испугался?

— Я не за себя.

— Я думал, ты мне поможешь.

— А в чем, в чем? — Витька нехотя ступил на лестничную площадку.

— Пошли... — Анохин притворил дверь лифта. — Пойдем, Витя.

— Ну, пойдем, пойдем! — Витька по-вратарски пристукнул носком ботинка и по-вратарски же поплевал на ладони. — Эх, жаль, перышка у меня нет! А у вас, босс? Партийным не полагается? Дед рассказывал, что раньше партийные с оружием ходили. У каждого — наган или там маузер или кольт. Правильная была мода. И кожанки носили. Красота! Вы как, вы не раздумали, босс?

— Нет, не раздумал, — сказал Анохин и медленно двинулся к лагутинской двери.

Над дверью ярко горела лампочка — она и раньше горела. Звонка все так же не было — его кто-то давным-давно сорвал, а нового все не было. И все то же яростное слово ранило стену. Теперь Анохин знал, кто написал это «Ненавижу!» Не написал, а врубил в стену. Это сделала сама Лагутина. А он-то сперва подумал, что это кто-то из ее поклонников так с ней распрощался. Нет, она сама, сама. В тот день, когда решила убежать из дому. Написала и убежа-

ла. Час-другой пробродила по улицам и... вернулась.

— Потуктукать? — спросил Витька. — Как в сказочке?

— Попробуй.

Витька сунулся к двери и очень старательно воспроизвел условный князевский постук.

— Тук да тук-тук да еще разок тук, — шептал Витька, пристукивая пальцем. Прислушался, воровски приложив ухо к двери. Никакого ответа.

— Нету дома, — оглянулся он на Анохина.

— Дай-ка я постучу, — сказал Анохин и сильно постучал в дверь, негромко окликав Лагутина: — Нина, это я, Анохин.

Витька снова воровски прислушался и страшно удивился, когда услышал приближающиеся за дверью шаги.

Щелкнул замок, дверь отворилась.

— Как в сказочке!.. — прошептал Витька. — Ну, босс, показываете номера!

— Заходите, мальчики, заходите! — весело сказала Лагутина. От недавней ее растерянности не осталось и следа. Угадай, что на душе у такой, когда она то одна, то другая и все это за какой-нибудь час. Просто даже не верилось, что это она только что, спотыкаясь, убегала с площади, что 'это она горестно сжимала руками горло и не было жалче ее никого на свете. Сейчас она была весела, она успела уже переодеться в домашнее платье, даже, кажется, по-другому причесать волосы, сейчас ее было не узнать, не сравнить с той — на площади, сейчас и совсем уж нельзя было ее понять.

— Значит, опять, Миша, ко мне? Разве новые скоро выборы?

— Выборы у нас круглый год, — сказал Витька. — А ну, показывайте, какая-токая у вас квартира?

Потеснившись, Лагутина пропустила в дверь сперва Витьку, которого гнала вперед неистребимая его любознательность, а потом Анохина.

В дверях они близко глянули друг на друга. Она качнулась к нему, шепнула:

— Спасибо, что пришли.

И снова, только было что-то мелькнуло в ее гла-

зах, распрямилась, рассмеялась, обращившись к Витьке.

— Пальто полагается снимать, молодой человек!

— А я в курточке! — Витька уже миновал прихожую, уже сунулся в комнату. — Блеск! Сила! Ну, прямо кинофильм из жизни знатной доярки! — неслись оттуда его бойкие словечки.

— Забавный, — улынулась Лагутина. — Только вы думаете ему весело — вашему Витьке? Нет, это он так, прикидывается больше.

— А вы?

— И я прикидываюсь. А вы?

— Я не прикидываюсь, Нина.

— Ну, это еще как сказать. Пошли? А то стоим тут, точно целоваться собрались. Помните?

Анохин посмотрел, куда и она: в угол, где одного жался старый портняжный манекен.

— Помню.

— Я тогда уж и прижималась к вам, уж и обнимала, а вам хоть бы что.

— Вы тогда не меня обнимали, Нина.

— А кого же?

— Манекен.

— Вот вы как разговариваете! Нет, была секундочка, когда я вас обняла, вас. А вы и не заметили.

— Не заметил. Вам тогда только одно было нужно, чтобы я не заговорил, не шевельнулся. Вам нужно было, чтобы Князев за дверью не догадался, что вы дома. Только это.

— Да, это. Но все же одна была такая секундочка, когда...

— Не заметил.

— Я вам, значит, не нравлюсь? Совсем-совсем?

— Не думал об этом.

— И хорошо, и не думайте. — Она сняла с его головы шапку и, как тогда, в самый первый его приход к ней, водрузила эту шапку на тулово манекена. И вдруг спросила, серьезно и грустно: — Что же, все начинается сначала? Сейчас придет Князев... И встретит вас... А потом...

— Да, сначала, — наклонил голову Анохин. — Пусть — сначала. Пускай приходит.

— Нет, многое изменилось с тех пор, нет, я не пра-

ва.— Она осторожно коснулась пальцами бинта на его голове.— Вот, тогда этого бинта не было. И тогда...— Она близко подошла к Анохину, снова совсем другая, чем минуту назад, какая-то совсем другая, ну, словно, родной очень ему человек.— И тогда не было и вас, Миша. Тогда был какой-то агитатор, которому, день ли, ночь ли, надо обязательно проверить списки избирателей. И все.

— И не было вас, Нина,— сказал Анохин.— А была только строчка одна про вас в этих самых списках избирателей. Нина Васильевна Лагутина, 1940 года рождения. И все.

— Может быть, так бы и лучше было, чтобы и все?

— Нет.

— А больница?

— Нет.

— Чудной, Князев-то все равно вернулся. Чудной...

В прихожую выглянул Витька.

— Господа, поймите совесть! Я уже устал от ваших разговоров. Хоть бы делом занялись, а то — слова да слова, слова да слова. Я в ваши годы...

— Он у вас очень робкий, Витя,— живо оглянулась Лагутина — снова чужая, снова насмешливая, будто так вот ей было легче.— Он у вас не поймешь даже какой:

— Не нравится? — деловито осведомился Витька.

— Нет,— качнула головой Лагутина и оценивающе, очень по-женски как-то, очень беспощадно посмотрела на Анохина.— Совсем не герой моего романа.

— Вам такие, как Охотников, должны нравиться,— сказал Витька.

— Угадал, мальчик. Смышленный!

— На том стоим. Угощение будет, хозяйushка? Или не припасено ничего?

— Припасено.— Лагутина глянула на Анохина, усмешливо-добро сожмурив глаза.— Не сердитесь, Миша. Я такая...

Они вошли в комнату. Как и тогда, в первый раз, здесь все сверкало новизной и было с избытком света. Жила ли здесь Лагутина эти недели? Ни единой

перемены даже в том, как стояли стулья, как висели занавески, не заметил Анохин.

— Я больше на кухне живу, — сказала Лагутина, перехватив его взгляд. — Там мне вроде уютнее.

— Тогда пошли на кухню, — предложил Витька. — Где еда, там всегда уютнее.

— Нет, когда гости, я здесь. — Лагутина подошла к буфету и стала вынимать графин — тот самый, что вынимал и Князев, рюмки тарелки.

Все вспомнилось Анохину, все сразу, все, что началось с того вечера. Вдруг, как промелькнуло, все сразу вспомнилось. Не по порядку, а в вихре каком-то. В вихре с князевскими глазами, с князевской застылой улыбочкой. И от этих глаз, от этих губ, кружась, отскакивало то одно, то другое, памятно вставая перед глазами. То одно, то другое. И всякий раз было тяжело заглянуть в припомнившееся, там не было ничего радостного. Все было трудным там, все, как кулаками, упиралось в грудь, мешая дышать, мешая идти.

Анохин отчаянно тряхнул головой.

— Что с вами, Миша? — испуганно спросила Лагутина.

— Нина! — задохнувшись, проговорил он. — Так дальше нельзя!

— Я знаю. А что делать?

— Вы не должны бояться всякого шага, всякого стука! Не должны, не смее! Разве вы одна?! Разве у вас нет друзей?!

— Друзья? Это с которыми в кино можно пойти или там на танцы? Отчего же, есть.

— Я говорю не о таких.

— А других и не бывает. В беде человек всегда один, Мишенька.

— Это неправда!

— Правда, правда...

— Нет, вы и сами не верите в то, что говорите.

— Верю. Вот честное вам слово, что верю.

— Неужели вам так плохо?

— Вы даже не знаете как.

— И все из-за Князева?

— Да, из-за него. Но не только из-за него. Не он один такой по земле бегает. Если бы вы знали...

— Что, Нина?

— Нет, ничего, ничего не нужно вам знать.

Это все говорилось, куда Лагутина расставляла на столе тарелки да рюмки. Это все говорилось, словно походя, не говорилось даже, а приговаривалось под звон посуды, когда глаза следят за действиями рук, и в них одна лишь живет забота, как бы что не побить.

Витька помогал Лагутиной, на свой вкус переставляя тарелки, и помалкивал. Весьма возможно, он и не слышал, какой идет разговор. Он оглох и ослеп ко всему, что не вмещал в себя этот маленький столик с выпивкой и закуской. Сейчас вот нальются рюмочки, сойдутся рюмочки и можно будет ухватить зубами что-нибудь из этой лакомой жратвы, так влекуще, так по-домашнему улегшейся на тарелках. Какие-такие еще могут быть разговоры?!

— Займемся-ка делом! — сказал он, сглатывая слюну.— Эх, умеют же дамочки едой распорядиться! Ну, что вот мой дед, даром что краснодеревщик? Кусок колбасы на газету шмякнет — вот и весь банкет. Решено, еще годик потерплю и женюсь. Выпили?

— Выпили,—наливая рюмки, сказала Лагутина.— А на ком, если не секрет? На той, на маленькой?

— Весьма возможно, очень даже может быть,—уклончиво протянул Витька.— Впрочем...

— Хорошая будет жена,—сказала Лагутина.— Сразу видно, что крепкий человек растет. А я вот — ни то ни се. И это тоже сразу видно. Выпили.

— Ну пусть нам будет...—провозгласил было Витька и осекся.— В общем, не так чтобы очень плохо! — Он запрокинул рюмку.— Это что за напиток? Кагор? Для больных?

— Нет, портвейн,—чокаясь, усмешливо глянула на Анохина Лагутина.— Для выздоравливающих. Миша, очнитесь. И давайте выпьем. Знаете за что? За вашу веру во все хорошее — вот за что. За вашу веру в людей, будто есть хорошие люди. Ну, словом, за вашу наивность. Не обижайтесь, это я, уважая вас, говорю. Мне это нравится в вас. Нет, не то! Давайте выпьем за вас, Миша, просто за вас, за то, что вы такой.

— Какой? — спросил Анохин. — Наивный? Доверчивый?

— Да, наивный, доверчивый. Хоть один такой да встретился мне. Скоро вы станете другим, скоро, совсем скоро. Но пока — вы вот такой, и я рада, что вас встретила.

— И я тоже рад, — с полным ртом сказал Витька, наливая себе еще. — Нет, правда, я рад, босс, что вы мне возвращаете веру в людей. — Эту торжественную фразу Витька почти целиком сжевал. У него получилось что-то вроде: «Рад... босс... вос... люд...»

— Понял, спасибо, — рассмеялся Анохин. — Ладно, давайте пить за меня!

Чокнулись, выпили, так и не присаживаясь к столу, нарочито торжественно вытянувшись вслед за Витькой.

И вдруг что-то дрогнуло и что-то угасло в лице Лагутиной. И вдруг снова вскинулась ее рука, и пальцы судорожно легли на губы.

Стало тихо, и в этой тишине явственно услышался щелчок затворяемого лифта, и услышались негромкие скользящие шаги, и вот уже негромко, раздумчиво будто, побарабанил кто-то пальцем в лагутинскую дверь.

— Тук да тук-тук да еще разок тук, — пошевелил губами, следуя этому стуку, Витька. Жалко улыбнувшись, он присел на стул. — Ну, дела! Князь!

Не трогаясь с места, Лагутина оглянулась на Анохина, беззвучно спрашивая его: «Открывать?»

— Открывать! — сказал он громко.

Она вздрогнула от громкого его голоса, снова переспрашивая глазами: «Это так, надо открывать?»

— Да, сказал Анохин. — Да, Нина. Нельзя бояться, нельзя прятаться. Нельзя!

— А то бы затихли? — шепнул Витька. — Нет никого и нет, а?

— Нельзя, — повторил Анохин.

Под его взглядом Лагутина робко тронулась к двери, так робко, что Анохин, шагнув, сразу обогнал ее. Он первым вышел в прихожую и сам протянул руку к замку.

— Не так, — издали шепнула она. — Нет, вам не отворить, он с секретом.

Она все не подходила, а Анохин сам никак не мог отомкнуть замок.

За дверью было тихо, там терпеливо ждали, ни голоса, ни стуком не торопя событий.

Возле Анохина вырос Витька.

— Не надо, говорю, Князева вы не знаете! — лихорадочно зашептал он.

— Знаю.

— Не знаете, говорю!

За дверью было тихо, ни единого шороха не доносилось оттуда.

— А может, он ушел? — с надеждой шепнул Витька и сам себе отрицательно качнул головой. — Нет, он не уйдет...

Анохин снова взялся за замок, рванул нетерпеливо на себя дверь.

— Пустите, — подходя, сказала Лагутина. Она положила свою руку на руку Анохину и посмотрела на него, а он на нее. Они ничего не сказали друг другу, но, кажется, сказали очень многое. Она никогда так раньше не смотрела на него. Никогда с такой надеждой, с таким уважением и так вот грустно и добро не смотрела.

Под ее пальцами легко, сам собой, отомкнулся замок, и сразу же начала тихо отворяться дверь. Никто ее не подталкивал, дверь сама пошла на петлях, и холодным ветром дунуло с лестницы.

Лагутина не выдержала, ударом руки отмахнула дверь настежь.

— Ну,ходи!

— Что ж, на «ты» так на «ты», — прозвучал из-за двери вкрадчивый голос, и в дверном проеме, неспешно и неслышно, встал Анатолий Павлович.

--- Вы?!

Войди сейчас Князев, Лагутина, быть может, не больше бы напряглась, чем при виде заведующего своего ателье.

— Я, он самый, — дружелюбно проговорил Анатолий Павлович. — Вот, решил заглянуть, проведать, так сказать, свою сослуживицу. Или не рада?

— Милости прошу, — сказала Лагутина.

— Неудобство, Нина, что нет у тебя телефона.

Был бы телефон, я бы сперва, конечно, позвонил. А то ведь, дело молодое, можно помешать.

— Милости прошу,— повторила Лагутина.

— Так не помешал? — Анатолий Павлович только теперь взглянул на Анохина. — А-а, старый знакомец! Так это вы тут за дверью свет держали, никак не хотели меня пускать? Кого это вы испугались, друзья хорошие?

— Друзей хороших! — бойко отозвался Витька. Убедившись, что опасность миновала, он явно решил вознаградить себя за пережитое волнение. — Есть такие, знаете ли, дружки, что не дай господь с ними встретиться! Ну, к вам-то это, конечно, не отнесится. Директор предприятия — из гостей гость. Как же, честь! А если он еще бутылочку прихватил, то...

— Да, решил вот зайти,— медленно проговорил Анатолий Павлович, зорко все поглядывая то на Лагутину, то на Анохина и вовсе не замечая Витьку, не слушая даже, что он там такое болтает.

Наконец-то Анатолий Павлович переступил порог и не спеша начал стягивать с себя пальто.

— Милости прошу,— в третий раз сказала Лагутина.

— Так вот, хорошо бы нам, Нина, поговорить. — Анатолий Павлович аккуратно повесил пальто на крючок, на него же нацепил шапку, пообтер ботинки о коврик. И все это медленно, чего-то выжидая.

— Идите,— сказала Лагутина, протянутой рукой не давая Анохину заговорить. — Миша, идите.

Дверь еще до конца не притворилась, и Лагутина носком туфли снова широко ее распахнула.

— Нужно? — спросил Анохин.

— Нужно. — Она хотела еще что-то сказать, но раздумала. Только чуть подернулись у нее губы. Будто усмехнулась невесело.

Анохин низко опустил голову и широко шагнул в дверь. Витька — за ним, схватив в охапку его пальто и ушанку.

— Чего это вы, босс? — удивленно спросил Витька, настигая Анохина уже на лестнице. — Вроде как побежали? От этого-то? Да он у них тихий. Это вам не Князь.

— Да не побежал я! — с досадой сказал Анохин. — Не побежал!

Он остановился, вырвал у Витьки пальто, зло нахлобучил, забыв о повязке, шапку.

— Ничего я что-то не пойму, Витя, вот беда, — сказал он вдруг тихо и понуро зашагал вниз по ступенькам.

19

Удивительное выдалось нынче утро! Солнце еще не очень горячее, не слепящее, его еще можно разглядеть в небе. И небо такое дальнее, что дух захватывает смотреть в эту даль. Верится, можно досмотреться в нем до каких-то никому неведомых доселе небесных пределов. И сам ты на земле кажешься себе крошечным, и дела твои земные кажутся совсем малыми — уж очень огромно все вокруг, ослепительно, бескрайне.

Но это так, это секунда только одна. Иные мысли приходят к тебе, будто откуда-то нагрянула к тебе радость. Такая радость, что и не сыскать причины. Ты смотришь вокруг, ты все зорко замечаешь, ты ко всему с открытой душой. Нет, не малость — этот вот мир вокруг да и ты в нем. Все тут полно значения, полно смысла, на свой лад удивительно разумно и даже красиво. Вдуматься, нет в жизни человека ничтожных дел, ничтожных минут. Надо только шире, глубже, вот как сейчас, этим утром, всматриваться в жизнь.

Анохин пересек подсохшую уже площадь перед своим домом и вышел к самому краю площади, но не туда, где начинался пустырь, а туда, где был перекинут через овраг мост, где за полями синел недалекий лес. На полях еще жил снег. Он осел, кое-где проглянула земля, кое-где уж будто зеленью подернулась прошлогодняя бурая трава. А лес был синим, сплошняком синим. Увидишь такой на картине и не поверишь, подумаешь, что это художник зачудил. Но лес был синим взаправду. И молодые сосенки на опушке, и березы чуть подальше, и снова сосны, только уже рослые, — все было укрыто плотной,

чистой, сверкающей синевой. А снег на полях был то розовый, то желтый, то синевато-белый. И над всем этим шли легкие облака, то розовые, то прозрачно-синие, то просто цвета солнечных лучей. Лучи же эти были выкрашены в теплый оранжевый цвет и, как им и полагалось, не жгли, не слепили, а лучились.

Анохин все оглядывался, все присматривался, дивясь увиденному. Он попытался вспомнить, видел ли он такое раньше, ну, в прошлые весны. Не вспоминалось. Такое не вспоминалось. Даже горько стало, что столько прожито им лет, а только вот нынче так увиделась ему весна. И тревожно вдруг стало: отчего это так вот все ему сейчас увиделось?

Тревога не покидала его. Всякая мысль оживала в нем тревогой. Даже радость разгоралась в нем тревогой. И тревога была вокруг — в этом синем лесе, в этом лучистом солнце, в розовых полях. Тревога гнала, не давала долго стоять на месте, ветряными наскоками перехватывало вдруг дыхание.

Анохин повернулся и теперь по асфальтовой дорожке, обтекавшей площадь, пошел назад к своему дому.

Было время, когда лишь какие-то минуты оставались до начала работы. В эти минуты все бегут, все опаздывают. Анохин работал сегодня на вечерних сеансах, ему некуда было спешить, но и он поддавался этой всеобщей торопливости и тоже заспешил. А тревога, жившая в нем, все разгоралась, все сильнее колотилось сердце.

Лишь подойдя к своему дому, спеша, все спеша, как и те, кто опаздывал сейчас на работу, — все эти люди работали в его доме: в ателье, в столовой, в магазине, — Анохин сообразил, что домой идти он вовсе не собирался. Он ведь только оттуда — из дому. Он стал вспоминать, куда думал пойти, когда выходил. Оказывается, никуда. Но это было не так, он куда-то все же собирался идти. Не просто весна тянула его на улицу. Он и одевался с деловитостью вовсе не на прогулку идущего человека. И эта вот тревога в нем — она была как предвестник чего-то серьезного, на встречу с чем он шел, выходя на улицу.

Он встретился с солнцем, с синим лесом, с бескрайним небом. И эта встреча оказалась очень значи-

тельной для него. Но он ждал чего-то иного, готовился к чему-то иному. Тревога, как предвестие, не покидала его.

Он остановился, а люди вокруг спешили. У молодых были одинаково по-весеннему вскинутые лица, разгорающиеся изнутри глаза. И у пожилых казались одинаковыми сейчас лица, единое поутру жило в них выражение. Какое-то с прищуром выражение. «Весна? Ну-ну, посмотрим, что за весна. Знали мы эти весны...»

Конечно, если взглядеться, всякое лицо на особицу. Это так только, когда сразу и мимоходом поглядишь на всех — вот только тогда приметится это общее лица выражение. Прав ты, нет, но так тебе показалось. А взглядишь, всяк сам по себе, как и ты, Анохин, сейчас сам по себе со своей тревогой.

Поток опаздывающих схлынул. Впрочем, не поток, а, скорее, ручей, но бурливый, как и должно ему быть весной.

Здесь — в этой малой частице громадного города — и не могло быть множества людей, спешащих на работу. Здесь бы нечего было делать множеству людей. Не сюда на работу ехали, а отсюда на работу уезжали живущие здесь люди. Но все же и здесь была работа — в этом вот магазине, ателье, столовой. И здесь, стало быть, жило дело, трудились люди, и все было здесь, как и в ином каком месте, как на большом каком-нибудь заводе, всерьез. Люди трудились по-настоящему, отдавая работе годы и годы своей жизни, живя этой работой, радуясь и мучаясь в своем труде, продвигаясь и поникая и старясь в своем труде, зарабатывая, чтобы жить. Да, все было тут серьезным, как на самом серьезном заводе, даром что тут шили да перешивали какие-то платья, жарили котлеты и отвешивали колбасу. Как ни умаляй все это, как ни пренебрегай всем этим в эпоху космоса, расщепленного атома и счетно-решающих устройств, — ничто из этого не умалишь, ничем этим не пренебрежешь. Вот и опаздывали сейчас здесь люди и бежали в свою последнюю предрабочую минуту с такой же озабоченностью в лицах, как и те, кто вбегал где-то там в проходные номерных своих заводов и научно-засекреченных институтов. Люди трудились повсеместно

и равно серьезно, равно кладя в свой труд свою жизнь, чтобы жить.

Асфальтовая дорожка перед домом Анохина опустела. А Анохин все не двигался с места. Он чего-то все ждал, он поглядывал вокруг, размышляя вот о только что прошедших мимо него людях, и все чего-то ждал, сам не ведая чего.

От дома Лагутиной отделилась какая-то фигура и бегом, бегом, срезая путь через площадь, побежала на Анохина. Он только краешком глаза увидел эту фигурку, он даже не повернулся, чтобы посмотреть, кто это бежит. Он знал: это — Лагутина. И сразу все прояснилось: это ее он ждал здесь, только ее все время ждал.

Вот она уже совсем рядом. Теперь он обернулся к ней. Сейчас они встретятся, и она на бегу что-то скажет ему, одно пусть слово. И все. Он успеет заглянуть в ее глаза — и все. Вот за этим он и пришел сюда, вот только за этим.

Лагутина поравнялась с ним, не взглянув, пробежала мимо. Пробежала, нарочно отвернувшись. Он хотел ее окликнуть, но не решился. А она уже была далеко, уже взялась рукой за дверь своего ателье, и вот и нет ее вовсе. Пойми ее! Вчера — одна, сегодня — другая. Вот, отвернувшись, как врага встретила. Что же случилось, что же опять с ней случилось за эти часы, которые легли между ними со вчерашнего вечера?

— Меня ждешь?

Перед Анохиным, протягивая ему свою побитую руку, стоял космато-седой Саркисян, уже по-весеннему без шапки, уже успевший где-то по-южному загореть.

— Ну здравствуй, герой! Давно бы пора ко мне заглянуть. А то все слухами о тебе питаюсь.— Саркисян, не выпуская руки Анохина, подвел его к ателье.— Зайдешь?

— Не хотелось бы,— сказал Анохин.

— Стесняешься?

Анохин кивнул.

— А разговор у тебя ко мне серьезный?

Анохин кивнул.

Еще минутой назад он и не собирался встречаться с Саркисяном, говорить с ним. Но вот, оказывается, ему действительно надо с ним поговорить. Оказывается, надо.

— Хорошо, тогда подожди меня здесь. Взгляну, как там у нас начинается день.

Саркисян распахнул, входя, дверь, и Анохин увидел в глубине зала Лагутину. Она уже сидела за своим столиком у колонны и уже уверенно втолковывала что-то почтительно внимавшей ей полной заказчице.

Дверь своим ходом притворилась, и Анохин отошел на обочину тротуара и стал ждать Саркисяна, безрадостно уставившись в темный за домами и полями лес. Там, наверное, сейчас сыро, промозгло, осклизло. Ни на лыжах не пройти, ни даже в сапогах. Схватишься рукой за дерево, и ладонь соскользнет по наледи на коросте. А снег на полях серый, и земля, должно быть, совсем раскисла — шага не сделать.

## 20

— Пойдем поговорим. — Саркисян неслышно встал за спиной Анохина. Этот немолодой и погрузневший уже человек все еще умел легко и молодо нести свое отяжелевшее тело. Должно быть, как там, на границе.

Они двинулись мимо окон ателье, которым, казалось, не будет конца. За огромными этими окнами подробно высвеченные белесым светом мерцающих трубок работали знакомые Анохину женщины. Они еще только приступали к работе. Кто поудобнее рассаживался, кто еще занят был разговором. Наверное, там, за стеклами окон-витрин, сейчас неумолчно звучат голоса. Но еще минута, другая, и голоса смолкнут, уступая место шуму машин, звукам труда.

Анохину надо было миновать и окно, за которым смутно виднелся столик Лагутиной. С улицы Лагутину было не видно, а вот она могла его сейчас увидеть. Вместе с Саркисяном.

— Куда мы? — спросил Анохин, торопясь проскочить это окно.

— Да ты не беги, не беги, — придержал его за локоть Саркисян. — Раз уж попал в зону обстрела — ходи спокойней. Нэ так замэтен будешь. А побежал —

обязательно заметят.— Саркисян снова вспомнил свое громкое, горловое «э». Видно, когда он шутил, это «э» было ему просто необходимо. И когда злился — тоже.

— Вот что, а не зайти ли нам сюда? — предложил Саркисян, когда они поравнялись с дверями «Семерки».— Времени у меня в обрез, но на чашечку кофе хватит. И на прямой разговор наберется.— Саркисян скосил на Анохина свои прихваченные желтизной, но молодо еще бедовые глаза.— Прямой разговор — всегда самый короткий. Согласен?

Он распахнул перед Анохиным дверь «Семерки» радужным движением хозяина.

— Заходи, дорогой!

Вошли, сдали на вешалку пальто, глянули друг на друга в стенное зеркало, улыбнулись друг другу в это зеркало и пошли в зал.

Там не было ни души. Только Анюта за буфетной стойкой.

Она еще не видела их. Закованная в накрахмаленный халатик, она прямо и строго смотрела за окно. Нет, не строго, а пристально очень. Что увиделось ей там — за окном? Синий лес и розовый снег на полях? А может, просто черный лес и грязный снег?

Саркисян выбрал столик у окна, раздвинул пошире занавески.

— Весна! Эх, Анохин, нет тяжелей времени, чем весна, когда ты бухгалтер! Весной, знаешь ли, цифры начинают прыгать перед глазами и в голову лезут всякие там воспоминания. Например, вот идешь ты горной тропой, а облака, представь, где-то там — под твоими ногами. А, Анюта! — Саркисян только было сел, но тут же поднялся, приветствуя подошедшую девушку.— Две чашечки кофе, если это возможно. Мне без сахара, если это выполнимо. И чуть-чуть повеселей взгляд, если, конечно, это в наших силах.

— Сейчас,— сказала Анюта.— Здравствуйте, Миша. Вы все сердитесь на меня, да? Я думала...

— Две чашечки кофе, только две чашечки кофе,— повторил Саркисян, усаживаясь.

— Вот ни разу с тех пор не приходили. Я знаю, Миша, я сглупила тогда. Но мне казалось...

— Ладно, забудем об этом,— сказал Анохин.

— Вы ведь помирились потом, правда?

— Помирились.

— Вот и хорошо! — Анюта хотела и еще о чем-то спросить Анохина, но, перехватив взгляд Саркисяна, заспешила к стойке. — Сейчас, сейчас! Только кофе, да? Больше ничего?

— Коньяк будем пить на праздники, — сказал ей вдогонку Саркисян. — Скоро май — вот тогда и выпьем. Ну, Михаил, трудно тебе?

— Трудно, — признался Анохин.

— Мне тоже. Знаешь, просто иногда плакать хочется.

— Вам?

— Да, мне. От бессилия своего. Нэ веришь?

— Вы кажетесь мне очень сильным человеком, Сурен.

— Кажусь? Казаться мало, дорогой. Казаться можно чем угодно. Хорошим руководителем, например. Хорошим коммунистом. Просто, честным человеком. Надо быть, а не казаться! И тут вот возникает целый ряд трудностей. — Саркисян, прищурившись, глянул в окно. — А ведь я могу и на пенсию и к чертям собачьим все это! Набил рюкзак, взял ружьишко и в горы! Весна, ты в горах, и ни единого жулика на сто километров вокруг! А?! Хорошо?! — Саркисян понуро свел плечи. — Нет, нельзя. Ну, а ты что лезешь, тебе что нужно?! — вдруг накинудся он на Анохина.

Анюта принесла кофе.

— Эта вот без сахара, а эта вот с сахаром, — сказала она, ставя на стол чашки. — Я, когда подходила, слышала, товарищ Саркисян, о чем вы говорили. Я совершенно с вами согласна, что честный человек не может быть сейчас в стороне. Не имеет права!

— Благодарю. Так какая без сахара?

— Эта вот.

— Благодарю.

— И Миша Анохин тоже поэтому... Я теперь поняла... Стал бы он иначе с Витькой возиться. Ведь это мука, какой парень!

— Мука? Поняла? Да, а вот мы с Анохиным еще не все поняли. Ну, спасибо, спасибо, тозарищ Анюта. Сигареты «Прима» у вас тут есть? Сделай милость, принеси, если есть.

- Есть. Сейчас принесу. Одну пачку?
- Одну. Не так будет тяжело тащить.
- Вы все шутите.
- Да, все шучу,— согласился Саркисян, провожая глазами Анюту.— Ну, отвечай, Михаил, на мой вопрос. Быстро! Коротко! Секунд через тридцать эта милая девица снова будет тут.
- На какой вопрос? — спросил Анохин.
- Про Князева. Почему отмалчивался, почему не назвал его, когда спрашивали, кто на тебя напал?
- Потому что... — Анохин замаялся.
- Быстрее, быстрее.
- Он побежал тогда. Я думал...
- Думал, что ты его победил — и делу конец?
- Я думал, он не вернется.
- А он вернулся. Знаешь об этом?
- Знаю.
- И даже требует, чтобы его снова взяли к нам на работу. Требует! А почему, как думаешь, он так вдруг обнаглел?
- Не знаю.
- К столу быстрыми шагами подошла Анюта.
- Вот вам ваша «Прима», товарищ Саркисян.— Анюта тревожно глядела на Анохина.— Кто вернулся? Миша, кто вернулся?
- Да, а спички? — спохватился Саркисян.— У нас с Анохиным ни одной. Анюта, доченька, сделай милость, принеси.
- Хорошо,— кивнула Анюта и неохотно пошла от стола, тревожно оглядываясь на Анохина.
- Еще тридцать секунд,— сказал Саркисян.— Ну, так почему же он так обнаглел — этот Князев?
- Не знаю,— повторил Анохин.
- Хорошо, я скажу. Он думает, что ты чего-то испугался во всей этой истории, вот потому и молчишь. А раз ты испугался, то он осмелел.
- Чего же мне бояться? — спросил Анохин.
- В том-то и дело, чего? Эх, идет назад! — усмехнулся Саркисян.— Бегом, бегом. А ты, Анюта, просто рекорды скорости ставишь в обслуживании,— встретил он подошедшую девушку.— Вот, даже запыхалась. Спасибо, спасибо, дорогая.

Саркисян взял у Анюты спички и начал закуривать сигарету. Он управлялся одной рукой. Анохин потянулся ему помочь, но Саркисян не отдал спичек.

— Сам! — Как-то исхитрившись, прижав коробок к столу, он чиркнул и зажег спичку.

Пока он прикуривал, Анята наклонилась к Анохину и шепотом спросила:

— Миша, кто вернулся? Кто?

— Князев, — сказал Анохин.

Анята отпрянула от него, испуганно изломав дужки своих всегда удивленно приподнятых бровей. Ее круглое личико вдруг стало несчастным, будто из готовившимся к слезам.

— Опять?! — горестно шепнула она. — А что Витька? Опять?..

— Витя ночевал у меня, — сказал Анохин.

— А сейчас он где? — спросила Анята.

— Кто, Князев? — спросил Саркисян.

— Нет, Витька.

— Пошел домой к деду, — сказал Анохин.

— И опять, опять?.. Снова эта водка?

— Нет, не думаю, — сказал Анохин.

— И я не думаю, — сказал Саркисян. — Князев не все только водку пьет, Анята. Есть у него дела и поважней.

— Какие?

— Не сумею тебе ответить, Анята, сам не знаю. Но должен, должен узнать.

— Мне Витьку жалко, — шепнула Анята. — Его только помани...

— Слушай, доченька, уважь старика, принеси еще чашку кофе.

— Без сахара? — все также шепотом спросила Анята.

— Без сахара, — тоже шепотом ответил ей Саркисян. — Ну, ну, нэ горюй — отобьем мы твоего Витьку.

— Он и не мой совсем, он мне совсем и не нужен! — высокомерно вскинула головку Анята. — Просто, жаль человека. Разве нельзя просто так пожалеть человека? — И она отошла от стола и зашагала к своей стойке, сердито взмахивая руками.

— Обиделась, — улыбнулся Саркисян. — Гордый народ нынче у нас растет. Что ж, это хорошо. Ну,

Анохин, давай ловить момент, давай продолжим наш разговор. Отвечай, Анохин, чего же ты все-таки испугался в этой истории? Молчишь? Хорошо, тогда я тебе навещающий вопрос задам. Прости, если трудным будет для тебя этот мой вопрос. Не захочешь, не ответишь.

— Спрашивайте,— сказал Анохин.

— Я про Лагутину. Можно?

— Спрашивайте.

— Вот что, Миша, что у тебя с ней?

— И сам не пойму.

— Так. А надо бы понять, правда?

— Надо бы.

— А то ведь другие начнут понимать да так поймут, что белое у них черным станет. Думал об этом?

— Нет, не думал.

— Вот что, Миша...

Но тут вернулась Анюта. Она поставила чашку и, решительно пододвинув к себе стул, села напротив Саркисяна.

— Раз про Князева разговор, то я тоже буду разговаривать,— сказала она и пристукнула кулачком по столу.

— Родственник тебе?

— Нет, не родственник. Он мне враг.

— Убедила,— наклонил голову Саркисян.— Оставайся.— Он пододвинул к ней чашку с кофе.— Пей ты, мне теперь не нужно.

— Так ведь без сахара,— сказала Анюта. Но все же взяла чашку и боязливо потянула из нее коричневатую жижу.— И как такое люди пьют!

Замолчали. Анохин рад был бы и вовсе уйти. Да как уйдешь, когда столько уже сказано? Он ждал теперь новых вопросов Саркисяна, внутренне приготавливаясь к ним, сам себя наперед пытаясь спросить о том, о чем, он знал, мог прямо вот сейчас спросить его Саркисян. Только не получалось, он никак не мог сам себя ни о чем спросить. Какое-то бездумье сковало его. Мысли были одними и теми же, одними и теми же. Они сгрудились и топтались на месте, как люди в толпе перед закрытой дверью.

Может быть, не подоспело время для этого разговора? Может, слишком уж прямыми были вопросы?

А что, если дать человеку самому во всем разобраться? Пусть ему будет трудно, так же трудно, как зажигать однорукому спички, но пусть он сам, все же сам с этим справляется.

И Анюта тоже не знала, что сказать. Вот напросилась на разговор, а теперь молчит. Если спросит она, то спросят и ее. О чем? Даже странно подумать, что можно говорить об этом вслух. А о чем — об этом? О Витьке Снегиреве? Даже странно подумать, что она станет вслух о нем говорить. Она еще не разговаривала о нем и сама с собой. И вот только сейчас, и вдруг стыдно и трудно, подумалось ей о Витьке.

— А ведь мне пора, — нарушая молчание, сказал Саркисян. — А ведь мне надо на работу. Бухгалтерам в рабочие часы распивать кофе не положено. Вот что, ребята, хороший вы народ — вот что я вам скажу. — Он прилег грудью на стол и сделал такое движение, словно собрался обнять Анохина и Анюту. Но пустой рукав беспомощно дернулся и сник, а здоровая рука судорожно рванулась назад. — Да, все не привыкну... — Саркисян встал и, ссутулившись, начал добывать из кармана деньги. — А если что не так, не беда. Главное, вы за людей — я это вижу.

Он положил деньги на стол и, все так же сутулясь, заспешил к выходу.

## 21

В ателье выдался трудный день. Теперь, незадолго до праздников, каждый день будет таким. Много народу, и все торопят. А о чем, спрашивается, думали раньше? Пришли бы месяц назад — все бы уж давно было для них сделано.

О чем думали раньше?.. Вот эта полная женщина, например? Какие у нее еще заботы, если не считать этой вот пустяковой, чтобы успеть к празднику сшить себе нарядное платье? Да и пригодится ли оно ей? Но, как знать, не в этом ли ее самая главная забота: годы-то уходят.

Лагутина подняла глаза от квитанции. У женщины измученное тревогой лицо. Нет, это не по пустякам так вот укладываются возле губ морщины.

— Можно подумать, что от этого нового платья вся ваша жизнь переменится,— сказала Лагутина.

— Не совсем, но посудите сами: муж возвращается из Антарктиды. Два года, понимаете, два целых года мы не виделись.

У женщины теплеют губы, глаза, она уже не кажется такой старой.

— Хорошо, я сделаю пометку, чтобы заказ выполнили срочно. И позвоню вам. Не беспокойтесь.

— Спасибо.

Женщина отошла от стола, ее место заняла другая. Сейчас и она станет просить, чтобы побыстрее, побыстрее все ей сделали. И у этой, наверное, с новым платьем связаны какие-то планы, какие-то надежды. И у той, у следующей, тоже.

Надежды, планы... А у нее, у самой, все пусто внутри. Никаких ни надежд, ни планов. О чем ни подумай, ни о чем не додумывается. И только одна пустота. И еще — страх. Да, все время страшно. Хоть рукой потрогай этот вот страх. Он все время с ней, рядом, вокруг. Поднимешь глаза — и страшно, прислушаешься — и страшно. Все чего-то ждешь, чего-то, страшась, ждешь. Так было, когда арестовали последнего мужа матери. Когда потом они с матерью пугались всякого стука, остановившихся шагов за окном, подъехавшей машины. Нина знала, что и мать тоже участвовала в грязных делах своего мужа — этого закадычного друга Евгения Князева. Вот когда это уже началось, вот когда! Нина еще в школу тогда ходила, ее подруги не все еще пообрезали свои косы, а она уже узнала, что такое страх, когда вздрагиваешь от шагов за окном, когда сердце падает при стуке в дверь. И потом, не было дня потом, чтобы отпустил ее этот страх. Пока жила мать, было страшно за нее, казалось, что только за нее. Но вот мать умерла, а страх так и остался. Теперь стало страшно за себя. Одиноко, страшно, беззащитно. Мать, умирая, как бы оставила ей этот страх в наследство. Вместе со своим нечестным прошлым... Вместе со всеми от нее вещами... Вместе со всеми от нее друзьями, такими же, как она... Вместе с Евгением Князевым, за которого она велела дочери выходить замуж... «С ним не пропадешь!»

«Ошиблась, мама, ошиблась — пропаду...»

— Что с вами, на вас лица нет?

— Правда? — Лагутина попыталась улыбнуться, испуганно смотревшей на нее заказчице.

А в дверях, только вот переступив порог, стоял Евгений Князев. Он перехватил Нинину улыбку и ответно просиял ей всеми своими морщинками.

— Молодая, — сказал кто-то из очереди. — Ничего небось в танцах. Вот днем щеки и мелеют.

Лагутина поднялась.

— Простите, я ненадолго...

Князев поравнялся с ней, кивнул мимоходом, словно они час назад только виделись, шевельнув неприметно пальцами, поманил за собой.

Лагутина пошла.

Князев двигался не спеша, твердо, не по-своему ставя ноги. Обычно он скользил как бы, а тут шел, припечатывая шаг. Шел да оглядывался, здороваясь и с теми, кто смотрел на него, и с теми, кто не смотрел. Дружески, по-свойски. Он был тут среди своих. Он утверждал это, он настаивал на этом каждым кивком, каждым взглядом.

— Зайдем, — без стука отворил он дверь в кабинет Анатолия Павловича — такую же из фанеры будку между колоннами, что и кабинет Саркисяна.

«Зайдем», — было сказано Лагутиной.

Переступив порог, Князев придержал дверь на пружине, чтобы вошла и Лагутина. Она вошла. Тогда Князев отдернул руку, и дверь прихлопнулась.

Анатолий Павлович поспешно встал им навстречу.

— Явились? Парочкой? А умно ли?

— Умно! — резко проговорил Князев. — Хватит, брат, финтить! Ну, что твой армяшка?

Анатолий Павлович, раньше чем ответить, долго, изучающе, смотрел на Князева.

— Не очень ли ты, Женя, сердит для разговора? — осторожно спросил он.

— Как раз в самый раз.

— С Ниной-то переговорил?

— Еще успею. Наговоримся еще.

— Так... Ну, а с Суреном Мкртичевичем у меня опять нелады. Толковал с ним о тебе, и так и сяк толковал вот и сегодня тоже. Упирается.

— Пошли! — Князев рванул, распахивая, легонькую дверь.

— Куда это?

— К нему!

— А стоит ли, а не подумать ли?

— Шагай, шагай!

Князев прижал ногой дверь к стене, ожидая, когда Нина и Анатолий Павлович выйдут из кабинета. Они вышли. И двинулись вперед, как под конвоем, сопровождаемые Князевым.

Теперь Лагутина больше не слышала его припечатающихся шагов. Он снова заскользил неслышно. Он только дышал явственно, отрывисто. Казалось, его дыхание бьет ее горячими шлепками по затылку.

У двери к Саркисяну Анатолий Павлович попытался было снова отговорить Князева:

— Опасаюсь я, Женя, что...

Князев не дал ему договорить, налег на него плечом.

— Шагай, шагай!

Против обыкновения неторопливому, степенному Анатолию Павловичу пришлось чуть ли не вломиться в кабинет к своему бухгалтеру — так подтолкнул его Князев. А Нину он не торопил. Наоборот, взял ласково под руку, хотя и глядел мимо нее, глядел на Саркисяна.

Так вот и вошли они в крошечный кабинетик бухгалтера, где сразу стало тесно, набито, как в трамвае в часы «пик».

Саркисян не стал тратить время на всякие там выяснения «Что?» да «Почему?». Уставившись на Князева, как выстрелив в него, он сказал отрывисто:

— Уходи! Бандиту здесь не место! Вон, говорю!

Князев только плечами повел и даже улыбнулся. Лагутина увидела, как дернулась, перечеркнула щеку одна из смешливых его морщинок.

— Почему бандит, дорогой? — шутейски передразнил он акцент Саркисяна. И тотчас посерьезнел: — Что за честь свою постоял, поэтому?

— Честь?! Нашел для себя слово! Честь! Бить человека свинчаткой по голове! Честь! Уходи, говорю!

— А я вот пришел. — Князев был невозмутим. —

Сперва, правда, испугался, прятаться хотел, а теперь вот пришел. Интересуетесь, почему?

— Нет!

— Напрасно.— Князев пододвинулся к Саркисяну, доверительно потянулся рукой к его руке. Но Саркисян сжал руку в кулак, и Князев, сам того не желая, тоже сжал руку в кулак.

— Уходи! — тихо сказал Саркисян.

— Я здесь у вас по договору работаю, у меня здесь вот невеста — куда пойдешь? — тоже тихо ответил Князев. Он оглянулся на Анатолия Павловича.— Товарищ заведующий, замолвите словечко. Как-никак, а вы тут главный.

— Не говори! — безвольно взмахнул рукой Анатолий Павлович.— Уж такой главный, что самого чуть не гонят. Ревизуют! Указуют! Не говори! — Он все же рискнул вмешаться в разговор: — Сурен Мкртичевич, ну член вы бюро райкома, ну наш парторг, ну почет вам и уважение, а верно ли так-то? Ведь тут, как я смотрю, личное дело разворачивается. Жених тут, невеста тут, невестин ухажер вот еще. Пусть бы втроем бы и решали бы, что да как. А?

— Какой еще ухажер? — спросил Саркисян.

— Да этот вот, Анохин-то. Ну, столкнулись два соперничка, ну, побеседовали, погорячились. Жизнь...

— Понял вас, Анатолий Павлович, понял, — сказал Саркисян.— Не пойму только, зачем вам это нужно.

— А мне и не нужно. Я бы рад-радешенек и вовсе в это дело не вникать. Личное дело! Сердечное! Разве можно? Но человек без работы, человек обижен, даже оскорблен — вот и приходится.

— Так... Понимаю, понимаю... Ну, а что скажет невеста? Вот ты, Лагутина, пришла с ними. Что скажешь, Нина?

С той минуты, как Лагутина увидела Князева, она все еще не могла опомниться. Она пошла за ним, действуя, скорее, в забвенье, нежели сознавая, что делает. Он только пальцем ее поманил — и она пошла. Его власть над ней снова оказала себя. Ее страх перед ним снова сковал волю.

Но этому всему предшествовал вчерашний ее разговор с Анатолием Павловичем. О чем они говорили?

И не вспомнить по-настоящему. Какой-то мутный, скверный, из недобрых слов разговор. Из притаенных, какие, год живи, не услышишь. А тут все эти слова вывалились враз.

Говорил почти все время Анатолий Павлович. Спрашивал, сам же отвечал, пугал, сам же пугался — ее пугал, за нее пугался. Да, пугал! В этом и была суть всего его разговора.

На себя вчера непохожий, — куда подевалась его вкрадчивость, его обходительность, — Анатолий Павлович заговорил с ней сразу о самом что ни на есть тяжком для нее, о самом что ни на есть потаенном в ее жизни.

Оказывается, он все знал про ее мать. Чуть ли не больше того, что мог бы знать Князев. Как следователь какой, усердно перечислил он Нине тягчайшие провинности ее матери. Спекулировала... Покупала краденое... Давала взятки...

— И это только, если вглубь не вникать, — заключил он, когда, а он обвинял, загибая пальцы, все десять его пальцев сжались перед Нининым лицом в кулаки.

— Но она умерла, умерла! — выкрикнула Нина.

— А это вот все? — развел руки, так и не разжимая кулаки, Анатолий Павлович. — А это от кого тебе досталось? Какими трудами нажито? Не вникаешь? Пользуешься, живешь, а понять, что к чему, нет желания? Не получится, Ниночка, не выкроится.

Он заговорил о Князеве. Все с той же не свойственной ему резкостью, жесткой и темной прямоотой.

— Запутала парня. Слово дала, а теперь в сторону? И опять не получится, Ниночка. Смотри, поберегись. Князева теперь одной спичечкой взорвать можно.

Нина слушала его и не узнавала ласковенького их Анатолия Павловича. Не узнавала, но и узнавала. Покуда он говорил, а он много еще чего говорил, все грозя, все пугая, — ей начало казаться, что она и раньше угадывала в нем и жестокость, и злобность, и темную его темность. Угадывала, как можно угадать в приветливой улыбке вдруг проскользнувший злобный оскал. Но в том-то и дело, что проскользнувший, промелькнувший. Взглянешь снова — и нет ничего.

Почудилось, зря заподозрен в недобром отзывчивый, добрый человек.

Не зря! Не добрый!

Она слушала его, почти не слыша. Она собрала все свое внимание на то, как он говорит, не вникая в то, что он говорит. То, что он ей говорил, не раз толковывал ей и Князев. Но Князев, даже он, говорил обо всем этом, ну хоть весело, бойко, всегда будто готовый свести все на шутку.

Этот говорил по-другому. Он бил словами. И без того тонкие его губы вытянулись в белесые ниточки. Страшно было смотреть на него, смотреть в его постылое лицо, разгорающееся бесцветным злобным жаром. Так вот он какой, их Анатолий Павлович — уступчивый да вкрадчивый, чуть что не потешный старикан!..

— Слушаем тебя, что скажешь, Нина? — издали донесся до нее голос Саркисяна.

Она опомнилась, этот голос помог ей. Он позвал ее, как зовут спящего человека, которому пора проснуться. И хорошо, что позвал. Спящему виделся скверный сон.

Она опомнилась и огляделась, как проснувшийся вдруг человек. И увидела Князева. Не во сне, а наяву. И увидела Анатолия Павловича. И тоже не во сне, а наяву. Только теперь он был всегдашним, был тихим, казался даже прибитым, угнетенным. Этого и того, вчерашнего, было невозможно сравнить. Но теперь-то Нина знала, что это один и тот же человек. И он показался ей сейчас еще страшнее, чем вчера. Ей стало даже жаль Князева. Он вот хорохорился сейчас, он чуть ли не в драку лез, он этого Анатолия Павловича держал в явном трепете. Глупый ты, глупый...

— Говори! — больно схватил Нину за руку Князев. — Чего молчишь?! Говори!

— О чем?

— А обо всем! Помолвка у нас с тобой была?

— Была.

— Слово мне давала?

— Давала.

— А потом этот парень, агитатор этот, себя заместо меня стал подсовывать, так? Говори!

Нина не ответила, только еще раз подумала: «Глупый ты, глупый...»

— Сурен, можно я пойду? — попросила она.

— Иди, Нина, иди.

Ей удалось вырвать руку из тисков князевских пальцев. Следы пальцев остались на руке. Онаглянула на эти следы и стала оттирать их ладонью. Но они не оттирались. Как усердно она ни терла, они не оттирались.

Анатолий Павлович предупредительно распахнул перед ней дверь.

— Это он любя, любя, — ласково зашептал он. — Горячий. Ох, горячий!

Она вздрогнула и зажмурилась, чтобы не видеть этого всегдашнего, вкрадчивого, предупредительного Анатолия Павловича.

Дверь за ней притворилась, и сразу же взорвались за дверью взбешенные голоса.

— А теперь убирайся! — кричал Саркисян. — Слышать ничего не хочу! Убирайся!

— Не прогонишь, ты здесь не главный! Найдется и на тебя управа! — кричал Князев.

«Глупый ты, глупый...»

## 22

Семен Иванович решил пойти погулять. Денек выдался на славу. Весна! Как ни прихватывай утреники, — весна. Славно! На душе вроде и не очень хорошо, но мир вокруг уж больно хорош. Да и на душе будто не так уж и скверно. По-всякому. То помрачнеет, то повеселеет.

Семен Иванович приделся, что означало у него до блеска начистить сапоги и долге, с завидным упорством, терзать одежду жесточайшей щеткой, а прежде всего побриться до розовой синевы на щеках. Порядок! Можно и в путь...

Но тут в прихожей робко так, словно и не позвонил никто, дрогнул звонок.

«Кому бы это?» — Семен Иванович не без тревоги пошел к входной двери. И пока шел, пока отворял, гренюга все ширилась в нем: так вот робко могла позвонить к нему лишь какая-нибудь беда. Что гово-

рить, Лебедев хорошо умел расслышать всякую беду своим истончившимся к бедам ухом.

Торопясь, он отчего-то никак не мог управиться с замком.

— Сейчас, сейчас! — приговаривал он, сердито дергая замок непослушными пальцами.

Наконец, замок уступил, и Семен Иванович увидел перед собой Реню и Нину Лагутину.

Он только глянул на них и сразу повернулся и пошел в комнату, рукой приказывая им идти за собой. Он только глянул на них, но этого ему было довольно, чтобы понять по их удрученным лицам, что вот сейчас придется ему выслушивать некую неприятную новость, придется и самому стать участником какого-то огорчительного дела. А ему бы не хотелось, совсем не хотелось вникать во всякие там человеческие горести. Хватит, нагоревался. Но нельзя, не хорошо быть в стороне, если люди идут к тебе за помощью. Не людски это.

— Говорите, что там у вас еще стряслось?!

Встретив пристальный взгляд старика, Лагутина быстро опустила голову и, не отвечая, будто за важным делом, заторопилась к окну. А там, у окна, прижавшись лбом к стеклу, она замерла в какой-то неестественно напряженной позе, безвольно изогнув тонкую спину.

— Князев? — догадался старик. — Опять что-нибудь отмочил молодец?

Не оборачиваясь, Лагутина кивнула.

— Что? — подступил к ней старик.

Но Лагутина продолжала молчать.

— Он написал на Анохина заявление, — сказала Реня.

— Заявление?!

— Да. Он написал, что Анохин пытается помешать его браку с Ниной, потому что сам решил за ней поухаживать. Увидел, понравилась ему, вот он ее и сбивает. Пользуется тем, что агитатор, что может являться к ней, беседовать с ней, — вот он ей голову и мутит.

— И все это он написал? Князев? — спросил Семен Иванович.

— Да. Они вызвали Нину и показали ей это пись-

мо, а потом Князев понес его в кинотеатр, где работает Анохин.

Лагутина вслушивалась в голос Рени, и ей казалось, что та рассказывает про какую-то другую Нину и про какого-то другого Князева — про совсем незнакомых ей людей, почему-то только со знакомыми именами.

— Кто — они? — спросил Семен Иванович. — Куда вызвали?

— Князев и заведующий ателье. Разговор шел в кабинете этого заведующего. Или, мол, немедленно оформляй с Князевым свой брак, или же этому вот письму будет дан ход. Нина, я так, я верно рассказываю?

— Верно, — глухо отозвалась от окна Лагутина. Но все равно, хоть она и ответила, и, стало быть, разговор этот был о ней, касался ее, все равно ей продолжало казаться, что разговор идет о каких-то сторонних людях, только вот со знакомыми ей именами.

— Ну, Нина, конечно, отказала Князеву в его домогательствах и вот...

— Так это не заявление, Реня, то, о чем вы мне толкуете, — сказал Семен Иванович, строго вскинув голову. — Это — донос.

— Правда, мерзость?! Когда Нина пришла ко мне и рассказала мне все это, я сразу же решила бежать к вам. Надо что-то предпринять, Семен Иванович! Надо немедленно что-то предпринять! Хорошо бы, если бы Миша Анохин просто даже и не узнал про это письмо.

— Да, это — донос, — повторил Семен Иванович. — Вот оно что, и заведующий тут еще какой-то объявился, вот оно что... Да, надо идти, надо говорить...

— Я никуда не пойду, — сказала Лагутина. — Я никуда больше не пойду. Вы не знаете...

Она жадно посмотрела за окно, надеясь отыскать там что-то доброе для себя, доброго, что ли, увидеть вестника, спешащего к ней на взмыленном коне. Как встарь, как в сказке... Как на той картине, где мчался всадник впереди свадебного поезда...

Она увидела пустырь за их домами. Отсюда, из окна лебедевской комнаты, этот пустырь был ви-

ден особенно хорошо, весь, до самого оврага; куда он стекал, стекал да так все и не мог стечь.

— Хорошо, не нужно вам никуда ходить,— сказал Семен Иванович.— Я пойду. Ах, подлецы-то какие, ах, мерзавцы! Так вот они что придумали, вот как все поворачивают!

— Я пойду с вами, Семен Иванович! — решительно проговорила Реня и даже сделала шаг вперед, как из строя вышагнула.

— А мне нельзя, мне нельзя,— сказала Лагутина. И очень тихо добавила: — Мне нужно на работу.

— И правильно, правильно, ступайте на работу! — закивал Семен Иванович.— Вы нам вовсе и не нужны. Сами управимся! А хотите, так и тут оставайтесь, дождитесь нас с новостями. Пошли, Реня!

— Пойдемте.— Реня торопливо подошла к Лагутиной, шепнула ей: — Нина, не горюйте, все будет хорошо. Это мерзкое письмо просто разорву! Вот увидите, его просто разорвут и кинут им в лицо!

— Нет, Реня, не разорвут,— касаясь губами стекла, невнятно ответила Лагутина.— Вы еще не знаете этих людей, еще не знаете...

К пустырю, въехав колесами на тротуар, подкатила и остановилась весьма странного вида машина. Даже не машина, а целый поезд на автомобильных колесах. Два вагончика и тупоносый грузовичок вместо паровоза.

Едва этот поезд остановился, как двери в вагончиках распахнулись, и на землю начали прыгать какие-то высоченные все и ловкие очень и — даже из окна было видно — веселые очень парни. И самый высоченный из них, самый веселый из них, самый уверенный в своих движениях — и это тоже все отлично было видно из окна — был Охотников. Тот самый Охотников, который сказал тогда про нее у пустыря: «А девочка-то, кажется, запуталась...»

Вот он и явился со своими парнями, как и обещал. Он тогда многое обещал, какие-то просто чудеса. И вот явился. И вот уже его парни куда-то бегут от вагончиков, разматывая на ходу провод. А грузовичок отцепился и укатил, весело посигналив на прощание. Значит, они сюда надолго — эти вагончики,

эти парни и их высоченный насмешливый командир? Ну и пусть их! Ей-то что до них? Ну, построят они здесь еще один дом, пусть два, пусть целую улицу — ей-то что с того?

Лагутина не заметила, как ушли Реня и Семен Иванович. Она оглянулась, спрашивая Семена Ивановича:

— Что здесь будет? Затеваается что? — И только тут обнаружила, что одна в комнате. — Затеваается?.. — громко повторила она и сразу все вспомнила.

23

Разговор с директором кинотеатра у Лебедева не удался. Едва взглянув друг на друга, едва заговорив, они сразу же невзлюбили друг друга — эти столь схожие внешне старики. Оттого, надо думать, и невзлюбили, что оба были низкорослы, подсушенны, подчеркнуто аккуратны в одежде и оба втайне терпеть не могли себе подобных.

Не помогло и участие в разговоре Рени. Ее волнение, ее быстро-быстро выговариваемые слова, ее неумение понять самых, казалось, простых вещей и упорство, с каким она твердила о какой-то там справедливости, о какой-то там порядочности — все это не могло не насторожить весьма искущенного в делах людских, — так он думал, путая часто дела людские с делами персональными, — Матвея Игнатьевича Крутихина.

Вот почему, едва узнав, зачем к нему пришли эти люди, едва выслушав их, Матвей Игнатьевич Крутихин самым решительным образом заявил им:

— Простите, товарищи, но то, о чем вы мне толкуете, — это наше узкое дело, так сказать, сугубо партийное дело. Это вам не семечки, дорогие товарищи. Вот так. Вы члены партии? Нет? Тем более.

Надо бы не перечить этим высказываниям, а как-нибудь обойти их стороной. Надо бы понять Семену Ивановичу, с кем он решил заспорить, понять — не мальчик ведь, — что за человек перед ним, но Семен Иванович начал горячиться, он еще в пути начал горячиться, а горячность в таких делах плохой помощник. И Семен Иванович резко возразил:

— Простите, уважаемый, но партийные дела не могут быть узкими. Это, во-первых. А во-вторых, мы тоже тут не со стороны. В конце концов Анохин наш агитатор.

— Хотите погубить?

— Напротив.

— Погубите,— убежденно сказал Крутихин и даже заметно сразу погрузстнел.— Гласность! Ответственность! Вы этого добиваетесь?

— Мы добиваемся, чтобы вы порвали это позорное письмо! — сказала Реня.— Поймите же, вы способствуете подлецам, их грязным домогательствам!

— Я?! — возмутился Крутихин.— Не забывайте, девушка! Да я, если хотите знать, Мишу Анохина, как сына родного любил!

— Любили? Уже прошедшее время? Эх, вы!

— Не забывайте, я говорю, не забывайте у меня в кабинете!

— Пойдем,— потянул Реню за руку Семен Иванович.— Какой теперь разговор, он сейчас глухой. Пойдем отсюда...

И только уже на улице он пожалел, что ушел, что погорячился.

— Уж больно невозможно изъяснялся человек,— как бы оправдываясь, пожаловался он Рене.— Сердце разрывается от таких вот собеседований. Вот я и попался, как бык на красный лоскут. Что будем делать?

— Не знаю.

— Надо предупредить Михаила.

— А как? Что мы ему скажем? Это так все отвратительно...

— Да, положение. Послушайте, Реня, а во всей этой истории нет доли истины?

— И вы тоже?! И вам тоже начинает видаться во всяком поступке человеческом корысть?!

— Корысть не корысть, а сердцу не прикажешь.

— А если даже так? Разве любить — это только брать? Разве любовь не дарит себя, не жертвует собой?

— Вам виднее, вам виднее.

Реня порывисто обернулась к Семену Ивановичу и так вдруг покраснела, что он, щадя ее, отвел глаза.

— Что вы имеете в виду? — спросила Реня, смело подступив к Семену Ивановичу. Она и сама чувствовала, что щеки у нее горят, но смотрела на старика прямо и смело.

— Вот как вы вспыхиваете, хуже меня, — миролюбиво сказал Семен Иванович. — А какие у вас глаза в эту минуту, какие глаза! Как два ярких костерика.

— Вы не ответили мне.

— А про что отвечать-то? — удивился старик. — Ну, молодая вы, ну, вот вам и виднее все эти сердечные дела. Только и всего.

— Хорошо, оставим это.

Они пересекали площадь, возвращаясь той же дорогой, которой только что прошли к кинотеатру.

— Смотри-ка, перемены! — оживился Семен Иванович. — Что за дома на колесах? Что за народ? Десяти минут не прошло, а уже новость. Пойдемте-ка, глянем.

Опережая Реню, он свернул к пустырю, туда, где встали домики на колесах строительной бригады Спиридона Охотникова. И тотчас увидел его — самого рослого из всех. И услышал. Голос Охотникова легко узнавался из многих своей самонадеянной молододой силой. Какой-то ликующий голос.

— Батюшки! — искренне обрадовался старик. — Не наврал, явился!

Охотников позволил ему себя обнять и сам тоже обнял старика, ненадолго оторвав от земли.

— Ну, пусти! — Семену Ивановичу стало неловко. — Пусти, говорят!

Смеясь, установил Охотников старика снова на ноги и, напроць забыв о нем, устремился навстречу Рене.

— Счастлив вас видеть!

— Вы, кажется, уже это говорили в прошлый раз.

— И еще скажу. И не раз. Каждый день теперь будем встречаться. В библиотеку к вам запишусь. Каждый день книжечки буду менять. Вот так вот.

— Милости прошу, мы рады всякому новому читателю. Надеюсь, и ваши товарищи тоже запишутся?

— Надеюсь. — Охотников весьма бесцеремонно принялся разглядывать Реню. И все сразу увидел: ее мешковатое пальто, ее сбившийся платок, ее дале-

ко не модные туфли, просто дешевенькие и ношенные, ее скуластое и бледное, но осиянное громадными, тревожными глазами лицо.

— Я и не знал,— сказал Охотников серьезно,— что бывают такие прекрасные глаза.

Реня издала как-то, откинув голову, поглядела на Охотникова.

— Зачем я вам? Вы просто поняли, что я разгадала вас, и вот теперь хотите перебороть меня, подчинить меня? Это вам нужно, чтобы еще раз утвердить себя в собственных глазах, не так ли? Вам все время требуется такое вот самоутверждение?

Подошел Семен Иванович и весьма выручил своим появлением опешившего парня.

— Что вы, что вы такое тут наговорили?! — только и успел пробормотать Охотников.

— Итак, сказка становится былью? — спросил Семен Иванович. — Неделя — дом, месяц — и улица? Вы обещали нам именно это, Спиридон. И никакого через месяц пустыря?

— Никакого пустыря.

— Эх, годом бы вы раньше сюда поспели!

— И что бы случилось? — Реня несогласно качнула головой. — Разве дело в этом вот пустыре? Дело в нас с вами, Семен Иванович, только в нас с вами, только в людях.

— О, философское настроение? — начал наверстывать упущенное Охотников. — Или, проще говоря, минор? Или еще проще — неприятности? А мне-то, бедному, за что досталось? Если бы вы только знали, Семен Иванович, что мне тут минуту назад было высказано! Я даже потерялся, знаете ли.

— Но вот и снова нашлись,— насмешливо сказала Реня.

— Не без труда! — в тон ей отозвался Охотников. — Ну, знаете ли, мука с вами. Отступлюсь!

— Да, со мной трудно,— согласилась Реня. — Семен Иванович, а нам надо идти.

— Пойдемте,— восторженно воскликнул старик. И зашагал, так вдруг удрученный своей заботой, что забыл даже кивнуть на прощание Охотникову.

Реня нагнала его.

— Куда?

— И верно, куда?

Охотников, недоумевая, смотрел им в след.

— Шальные какие-то,— пробормотал он.

Пройдя несколько шагов, Семен Иванович остановился. Остановилась и Реня.

— Похоже, мы прямехонько идем ко мне домой,— сказал старик. Он выжидающе глянул на Реню.— Зайдем? Лагутина, должно быть, нас заждалась.

— Нет, не зайдем,— твердо сказала Реня.— Нам нельзя, нам стыдно отступаться, Семен Иванович.

— А я разве отступаюсь? — оскорбился старик.— Разве, едва вы пришли, я не побежал разговаривать с этим тягчайшим человечком? Увы, канцелярия уже заработала, дело уже начато. Дело! Страшное это слово, Реня, Оно мне снится и по сей день. Дешевенькая такая папочка со скоросшивателем и на папочке черные и жирные буквы: «Дело».

— Пойдемте, знаете куда, пойдемте к Лагутиной на работу,— сказала Реня. Она и не слушала, что говорил ей Семен Иванович.— Там есть один очень хороший человек. Как я сразу не подумала? Пойдемте!

— Мы можем подвести Нину,— засомневался Семен Иванович.— Вы понимаете, сколь сложно ее положение? Откуда мы все это узнали? Она рассказывала? Ох, Реня, Князевы такое не прощают.

— Тот человек не станет болтать.

— Кто это?

— Саркисян, их бухгалтер. Я сама видела, как он однажды выгнал Князева из ателье. Это было в тот самый вечер, когда Князев потом напал на Анохина.

— Вот видите.

— И все же мы сейчас пойдем туда. Пойдемте.

— Что ж, пошли...

Лагутина давно уже была на работе. Она не стала дожидаться возвращения Лебедева и Рени, ей было в тягость оставаться одной в чужой квартире.

И вот она снова за своим столиком и снова при-

нимает заказы и дает советы людям, что и как им следует шить, чтобы казаться постройнее, помоложе, может быть, даже посчастливее. Советует, отвечает на вопросы, улыбается иной раз, а у самой такая тяжесть на душе, такая боль, что хоть криком кричи.

Приметив в дверях Реню и Лебедева, Нина и впрямь чуть не вскрикнула. Ведь они выдадут ее! Вот сейчас заговорят с ней и выдадут! Анатолий Павлович где-то тут совсем рядом. Да где бы он ни был, он все равно все услышит.

Первым ее движением было вскочить и убежать. Но куда? Она заставила себя остаться на месте и только вобрала голову в плечи. Страх, снова страх, по всякому поводу страх! Как невыносимо было так жить!

Утром, после разговора с Анатолием Павловичем, когда они пригрозили ей, если она не покорится, «вывести ее Анохина на чистую воду» — слова-то какие: «На чистую воду!» — она, сама не своя, прибежала к Рене в библиотеку. Она побежала туда, где знала, встретит сочувствие. Ей нужно было хоть с кем-то поговорить. А никого не было — ни близких друзей, ни родных. Никого! Вот только Реня, почти незнакомая ей девушка.

А потом Реня повела ее к Лебедеву, а потом они куда-то ушли, чтобы где-то там вступить за нее, за Анохина. И вот они здесь, вот приближаются к ее столику. Теперь она жалела, что рассказала обо всем Рене. Жалела, испугавшись, что об этом узнают Анатолий Павлович и Князев. Они не простят ей этого. Они — страшные, они не простят!

Реня и Лебедев прошли мимо, не взглянув на нее. Не заметить ее они не могли. Значит, сделали вид, что не замечают. Значит, поняли, что ей нельзя здесь с ними говорить. Тогда хорошо, тогда, может быть, все еще обойдется. Что, обойдется? Да вот это вот, то, что они пришли. Но к кому они пришли? Зачем?

Из-под руки Лагутина следила, куда держат путь Реня и Лебедев. Они не очень-то и сами знали, куда им идти. Но никого ни о чем не спрашивали. Молодцы! Просто шли и шли, присматриваясь к надписям на дверях. Миновали дверь в цех. Подошли к кабинету Анатолия Павловича. К нему?! Слава богу, нет!

Дальше, дальше идут. И вот, наконец, остановились, ну, правильно, прямо перед дверью в кабинетик Саркисяна. А вот уж Реня и стучит к нему.

На душе стало чуть полегче. Сурен не выдаст. Она не могла сама пойти к нему: заметил бы Анатолий Павлович. Но Реня и Лебедев молодцы, что пошли. Они теперь втроем что-нибудь да надумают.

Надо было работать, и Нина снова распрямилась над своим столиком, и снова зазвучал ее потихоньку набирающий уверенность голос: это, мол, вам к лицу, а это вот не подходит.

А в кабинетике у Саркисяна тем временем начался военный совет. С первых же слов Рени — разговор начала она — Саркисян понял, что его заведующий и Князев затеяли нечто не шуточное.

— И вы говорите, письмо уже отдано? — спросил он. — Это так? Кончились угрозы, начались действия?

— Да, — сказал Семен Иванович. — Этот самый Крутихин, заведующий кинотеатром, не удивился, когда мы заговорили о письме Князева. Оно у него.

— Письмо Князева! — Саркисян с сомнением крутанул головой. — Нэ такой это человек, чтобы писать всякие там письма. Нэ его рук дело.

— Согласен с вами. А чьих?

— Этого самого, которого вы называете заведующим ателье. Черт его душу знает, чем он тут заведует! Так, ясно: хотят опорочить хорошего, чистого парня, хотят загрязнить его. А зачем?

— Да, зачем? — спросила Реня. — Зачем это им нужно?

— У них разные цели, дорогая. Одному нужно одно, другому — другое. Честно скажу, меня не Князев беспокоит в этой истории, меня мой заведующий беспокоит.

— Что за человек? — поинтересовался Семен Иванович.

— Штатского объяснения не подберу. Позвольте, как бывшему пограничнику объяснить. Вы, я вижу, бывший военный?

— Да.

— Ну вот, бывший пограничник и бывший военный... Так вот, на границе у нас самых трудных нарушителей называют «своими». Свой! Ясно вам? Его

никто не подозревает. Он — гражданин твоей страны, у него не хуже документы, чем у тебя. Он смеется, как ты, грустит вместе с тобой, песни те же поет, что и ты.— Саркисян умолк и оглянулся, поискав глазами за спиной карту своих пограничных служб. Но не нашел ее, он сам же ее недавно снял. Тогда подумалось, что это нескромно тыкать всем в глаза, кем он был, где служил. А теперь пожалел, что снял. С этой картой за спиной как-то было ему увереннее сейчас жить.— Да, песни поет... А если стреляет, то стреляет тебе в спину.

Саркисян поднялся. Грузный, старый, тяжело покалеченный человек. Но Рене почудилась громадная в нем сила, и вдруг слезы встали у нее в глазах, будто это ее отец, которого и у нее тоже, как и у Анохина, не стало с войны, будто это ее отец вот сейчас поднялся к ней навстречу.

— Не с тем человеком, друзья, вы в этом кино-театре разговаривали,— сказал Саркисян.— Надо было вам с Лидией Петровной Забелиной поговорить...

25

Счастливый и горький день выдался нынче на долю Витьки Снегирева.

Утром он явился домой к деду — он ночевал у Анохина — и застал дома мать. Чуть ли не год не виделись они, хоть и жили в одном городе. Он сперва даже и не узнал ее. Сидит какая-то разнаряженная дамочка, и в комнате далеко вокруг пахнет от нее сладким и странным в этом мужском обиталище запахом духов.

«К старому, чтобы мебелишку отремонтировал», — подумал Витька, недовольно морща нос.

Дамочка обернулась, что-то сказала, будто охнула, и Витька, еще не успев разглядеть ее хорошенько, уже оказался в ее руках и уткнулся уже в мягкую ее грудь, вздрагивая, как на холоде, от узанного им родного тепла.

— Витенька!

Он молчал.

Дед громко отодвинул стул, пошел быстро из комнаты.

— Витенька! — снова и теперь совсем тихо окликнула мать.

А Витька и рад бы отозваться, но у него, как от озноба, свело скулы.

— Сыночек! — Мать сама отвела его голову и близко заглянула в его прижмуренное лицо. — Ну что же это ты?

— А что? — Он начал как бы просыпаться. И его, Витькин, норов стал возвращаться к нему. И ему уже стало стыдно минутной своей слабости, этих вот мурашек по плечам, сведенного беззвучным плачем рта. — Старею, мать, старею.

Она улыбнулась. Лучше бы она так не улыбалась. Все напомнимось ему этой улыбкой, такой молодой в ней, словно они и сегодня живут вместе, и такой виноватой, что нет, не забудешь, ничего нельзя забыть.

— А я вот к тебе, — сказала мать.

— Вижу.

— Все растешь? — Она отшагнула от него и оглядела быстрым оглядом, продолжая улыбаться своей молодой улыбкой.

— Расту. — Он тоже, смаргивая, смотрел на нее. Так, смаргивая, ему было легче на нее смотреть. То видно ее, то не видно, то видно, то не видно.

— А я вот к тебе, — повторила мать. — Сядем.

— Давай.

Они уселись у стола, но как-то боком к столу и неудобно, на краешки стульев. Так садятся ненадолго, когда спешат или когда присаживаются перед дорогой.

— Почему никогда не заедешь? — спросила мать.

— Все времени нет, — ответил сын.

— Уж у тебя-то и нет? Какие у тебя заботы? Один.

— Забот хватает. А ты чего?.. — Он недосказал своего вопроса. — А как ребята? Они ведь мне вроде брат и сестра.

— Конечно, брат и сестра.

— Как они?

— Все хорошо. Павлик этой осенью в школу пойдет. Ну, а Леночка...

— Как время бежит,— вяло и очень по-взрослому проговорил Витька.

— Да, время бежит,— подтвердила мать.— Вот ты и взрослый. Отец-то не пишет?

— Отец? — усмехнулся Витька.— Это который мужем твоим был? Нет, не пишет.

— Не осуждай меня, сынок, в жизни всякое бывает.

-- Это верно.

Вернулся дед. Громко шагая, прошел через комнату, гроыхнув стулом, сел.

-- Ну, поговорили? Что делать-то с парнем собираешься? А если я помру завтра-послезавтра, куда он? Не учится, шалопай. При живом-то отце с матерью.

— Он уже не маленький.

— Самый маленький и есть. Маленький. Был бы маленьким, я бы забот не знал. А он как раз в таком сейчас возрасте, когда прививку надо делать. Или дичком вырастет, а то еще того хуже.

— Ты за меня не беспокойся, дед,— сказал Витька, слишком уж весело подмигивая старику.— Не сгущай краски, не пропаду.

— Не должен бы,— горестно вздохнул дед.— А только обидно: мать — отец живы, а парень — сирота.

— Какой же он сирота? — протестуя, выпрямилась мать.— Что вместе не живем — это еще ничего не значит. Если нужно, я всегда... Вы же знаете моего нового мужа... Трудно с ним...

— Мама! — Витька рванулся к ней.— Мама, не нужно!

Она вскочила ему навстречу. Они снова прижались друг к другу, мать и сын. И Витька снова замер в ее руках, сердцем угадывая, что прощается с ней, что такое вот уже больше не повторится в их жизни. Будут еще встречи, но такое вот не повторится. Ему почудилось, что что-то кричит в нем: «Прощай! Прощай!»

— Ну, мне пора,— сказала мать, отводя руки сына.— От вас ехать еще и ехать — все равно как из другого города.

Витька почувствовал, что мать что-то сует ему

в карман куртки и быстро отходит от него. Витька все это время стоял с плотно закрытыми глазами — так ему лучше все вспоминалось и запоминалось. Теперь он поспешно открыл глаза.

Мать собиралась уходить. Стоя перед зеркалом, поправляла волосы, потом порылась в сумочке, достала пудреницу и начала обводить пуховкой лицо.

Витька смотрел во все глаза, смотрел и запомнил.

«Прощай! Прощай!» Будут еще встречи, но такая вот — последняя. Он все вырастет, и она все дальше и дальше уходит от него. Им больше не встретиться так, не обняться, не прижаться друг к другу. Это время уходит, ушло.

— Пойдем, я провожу тебя, — сказал он матери.

— Вот спасибо! — обрадовалась она. — Я тут у вас сразу заблужусь. Все дома одинаковые, улицы одинаковые, никак не разберешься.

— Зато люди разные, — сказал Витька.

Он не стал ждать, пока мать простится с дедом, и поспешно вышел из комнаты. Закурил, понаделав множество ненужных движений. Отчего-то, как на ветру, гасли спички. Но только закурил, в коридор вышла мать.

— Куришь?

— И пью тоже.

— Ой, Витенька, не нужно!

— И девочки тоже вот... Одна, другая, третья...

— Что ты, что ты говоришь?

Вышли на улицу. Ветер мягко обдул их, дохнув близким лесом.

— Как на даче, — сказала мать. — А помнишь?.. — И пожалела, что надумала напоминать ему, как они когда-то жили все вместе на даче. Совсем недавно как-будто бы и давным-давно.

— Помню, — сказал Витька.

Молча дошли до троллейбусной остановки. Как раз и троллейбус подъехал. Витька поддержал мать под руку, очень беспечно на прощание улыбнулся ей, и троллейбус покатил. Витька увидел, как мать махнула ему рукой из-за стекла и что-то сказала, беззвучно шевельнув ртом. Вот и все.

Домой идти не хотелось, и к Анохину идти не хотелось, и в кинотеатр идти не хотелось. Податься бы к Анюте? Опять начнется этот разговор, что ты не так живешь, не туда идешь. Нет, и к Анюте идти не хотелось. Витька брел вдоль улицы, развлекая себя чтением вывесок навыворот. Смешные иногда получались слова. Например, «Молоко» становилось «околом», а их «Кристалл» чем-то похожим на ластик.

Витька шел и все что-то силился вспомнить. Что-то важное, что было у него только что с матерью. Нет, не слова, а что-то иное. Он начинал вспоминать все по порядку, и выходило, что все было важным. Но что-то, что-то и еще было такое, чего он никак не мог вспомнить. Это мучило и не давало собраться с мыслями. А надо бы было подумать, спокойно подумать обо всем. День такой случился, что надо бы было подумать.

Человек, вышедший ему навстречу из-за угла дома, еще издали, как со знакомым, поздоровался с ним, дотронувшись пальцем до козырька кепки. Что за человек? Он шел оттуда, где садилось солнце, и его было не разглядеть.

А все же ноги так и приросли к асфальту, и засосало внутри, как от скверного очень запаха.

— Гляди-ка, сам кореш мой Витюха топает! — услышал Витька. Не зря остановился, не зря сжалось все внутри. Князев!

Тот подошел своей вразвалочку походочкой и тяжелую уронил на Витькино плечо руку.

— Прогуливаешься?

— Ага, — сказал Витька.

— Глаза-то у тебя, чего, как котята, шныряют? Глупый, я ж тебя не убиваю.

— Они у меня всегда такие, — сказал Витька. — Осматриваюсь.

— Как бы что принять? — дружески подмигнул Князев. — Нет, ты робкий для этого. Вот что, пошли.

— Куда?

— Поможешь мне.

— Да мне некогда, Евгений Андреевич.

— Толай! — Князев вдруг так яростно распахнул на Витьку свои обычно щелочкой глаза, что Витька даже отпрянул от него.

А Князев уже толкал в спину, упористым, как дуло, пальцем. Одним всего пальцем. Вел, точно втиснув в спину готовый выстрелить пистолет.

— Куда? — Витька бы уперся, но этот палец сверлил ему позвонки.

— Шагай, шагай, стилиага!

Вышли к площади, миновали Витькин и Анохина дом, — вот бы сейчас показался в дверях Анохин! — свернули по проулочку между домами к пустырю.

Неподалеку от того места, где они сошли на пустырь, стояли два строительных вагончика. Еще вчера Витька их тут не видел.

— Откуда? — удивился он.

— Помалкивай! — И не веришь, что так много ярости можно вложить в одно-единственное слово. Так с придыхом его выговорить, так ненавидя.

Витька понял, это не на него сейчас ярился Князев. Но и ему может достаться, если что не так. Палец все сверлил и сверлил позвонки.

По мокрой, скользкой и тряской тропе подошли к князевской будке.

— Только я пить не буду, — сказал Витька робко. Ему удалось ненадолго встать к Князеву боком. Снова увидел он вагончики строителей у обочины пустыря и шустрых парней, которые как раз повыскакивали сейчас из своих вагончиков. Он узнал среди них Охотникова. Крикнуть бы?! Позвать бы?! А вдруг замешкается? А Князев не замешкается.

— Не бойся, я и сам пить не буду, — сказал Князев, вновь ужимая Витьке в спину железный свой палец. — Пить надо не во всякий час, а в свое время. Поможешь мне вещички кой-какие перенести. Видал гавриков? — Князев мотнул головой на парней у вагончиков. — Чуть зазевайся, все тут растащат. Ну, стой, не дергайся.

Князев быстро отомкнул замок, рывком отмахнул засов. Пиная ногой, распахнул настежь дверь.

— Эх, сам бы тут все изрубил да некогда! Входи!

Князев запалил свои трубки, и Витька ненадолго ослеп от замерцавшего их света.

А когда пригляделся, памятно все встало перед глазами. Тот день, когда упился он здесь, когда потом Анохин и Анюта выволокли его отсюда, и все, что случилось потом, и как не поспел он предупредить Анохина о грозящей ему опасности, и как, уже много позже, когда Анохин лежал в больнице, снова встретился с Князевым и даже ходил с ним в ресторан. И попросту замутило всего от этих воспоминаний. Убежать бы! Кинуться в открытую дверь — и бегом отсюда! Но ноги были ватными — это он чувствовал. Не убежишь! И страшила осклизлая тропа через пустырь. Казалось, едва вступишь на нее, поскользнешься и упадешь.

— Шевелись, чего не живой? — окликнул Князев.

Витька послушно шевельнулся, прошел коротких три шага от двери к стене. Здесь все осталось в неприкосновенности. Все эти вырезки из газет и журналов, которыми были уклеены стены. Все эти напоминания о делах запретных и суровой каре за оные дела. И репродукция картины Сурикова «Утро стрелецкой казни» — тоже висела под потолком. Репродукция отсырела, покрылась кое-где плесенью. И, может быть, поэтому стала походить на настоящую картину, обрела свой значительный, пугающий смысл.

Князев начал укладываться. Бросил на пол большой лоскут мешковины и стал складывать на него все, что намеревался отсюда унести. Тут оставались еще кое-какие инструменты, несколько кепочных болванок и эта вот коллекция, столь тщательно собранная Князевым, на тему о преступлении и наказании.

— Отлепляй все это от стен, — приказал Князев. — Только не рви, дурила. Почитаем еще.

Витька приступил к делу. Отсыревшие газетные вырезки легко отлипали от стен, но все же надо было действовать очень осторожно. И покуда Витька снимал заметку за заметкой, он их местами прочитывал. И что ни фраза, то будто щелчок в лоб. Такой-то начал спиваться... А вот этот связался с дурной компанией... А вот тот занялся спекуляцией...

Каждая из статсек, как правило, завершалась одним и тем же суровым уведомлением: «Суд приговорил...»

Как ни скверно себя чувствовал Витька, но такую возможность для шутки он упустить не мог.

— Евгений Андреевич,— сказал он, чуть приободрившись,— а вы-то сами, какую из этих заметок для себя облюбовали?

— Ты про что?

— Ну, как собираетесь усаживаться? По какой статье? По какому делу?

— Я-то? — Князев задумался, вовсе не шуточно отнесясь к Витькиному вопросу.— Я, парень, если теперешнего меня брать, меньше чем на вышку не соглашусь.

— Расстрел? — спросил Витька, и смешливые нотки сникли в его голосе.

— Он самый. На меньшее и мारаться не стану. Да только нет, не дурной, чтобы на законы лезть. Не дурной! Я теперь эти закончики ваши на свою пользу решил приспособить. Меня чтобы защищали. Обижают! Грабят! В душу плюют! Люди добрые, помогите! — Князев принялся выкрикивать эти слова шутовски петушиным голосом и руками взмахивал, как петух крыльями, но было ему не до смеха. Он даже побагровел, такая изнутри накалилась в нем ярость. А в глаза его Витька только раз и глянуть посмел — такими бешеными сейчас были эти щелочки-глаза.

Да, Князеву было не до смеха. Уж больно круто все начало закручиваться. И непонятно как-то, хотя он сам все и закрутил. Сам вернулся сюда, сам пошел требовать, чтобы его опять приняли на работу, сам написал на Анохина заявление, сам снес его, куда надо. Все сам! И ничего этого сам бы по себе Князев не стал делать. Ну, может, вернулся бы в эти места через некоторое время, ну, подстерег бы, может, Нинку Лагутину и потолковал бы с ней с глазу на глаз, но вот и все. Запалило бы его, может, и сорвался бы, начудил бы чудес, но вот и все. А чтобы так вот, как теперь, чтобы писать всякие там заявления, чтобы требовать суда да разбора в защиту своих прав — об этом Князев еще недавно и подумать бы не мог. Выходит, Анатолий Павлович надоумил? Он, он. Голова, оказывается, тихоня-то этот. Какие там права да обиды, думал, как бы самому не загреметь, а получилось, что он — Женька Князев — и обвиняет.

Впервые, можно сказать, в жизни. Ничего не скажешь, ловко. И все же сам бы он на такое не пошел. Не его дорожка. Нет, не пошел бы...

— Сделано,— сказал Витька, укладывая на мешок последний со стены князевский экспонат: репродукцию «Стрелецкой казни». — Евгений Андреевич, мне можно идти?

— Сделано, сделано,— согласился Князев. Он думал о своем, совсем запамятовав о Витьке.

И Витька тоже стал думать о своем, решив переждать и не будить сейчас Князева. Еще нарвешься на подзатыльник.

Витька стал думать о своем, стал снова вспоминать что-то самое главное, что было у него с матерью, и чего он никак не мог припомнить. Все было главным в их встрече, но было что-то и самое главное. Что же?

Машинально Витька запустил руку в карман куртки и нащупал пальцами какую-то бумажку. Вот! Вот оно! Вспомнил! Прощаясь, мать положила ему что-то в карман. Наверное, записку от себя. Наверное, про то записку, про что не скажешь вслух. Наверное, такие какие-нибудь слова, какие он всегда так ждет от нее в их редкие, все более редкие встречи. Эти слова потом даже снятся ему. Они из детства — эти слова. Они произносятся всегда шепотом, приходят к тебе вместе с теплым дыханием, вместе с мягким прикосновением губ.

Витька осторожно ухватил пальцами в кармане бумажку, осторожно стал доставать ее, страшась теперь только того, чтобы Князев не проснулся от своих мыслей и не помешал ему прочесть мамино письмо.

И вот бумажка извлечена, и Витька, сторожась Князева, украдкой глянул на нее.

Да что же это?.. Вовсе не записка была зажата в его пальцах. А всего-то навсего красненький лоскуток, мятый, хватанный сотнями рук. Десятка!

Витька издал какой-то горлом звук и скомкал судорожно десятку в кулаке. Никогда еще так больно не била его обида.

«Откупилась!»

Никогда еще таким жалким и брошенным не казался он себе. Но почему, собственно, он решил, что мать должна была ему что-то там такое написать?

Да потому только, что он хотел этого. Потому, что совсем почти ничего не сумела она сказать ему при встрече. И он ждал, он надеялся, что эти слова еще будут сказаны. В записке?.. Глупая, смешная надежда. Ну, конечно, так суют в карман только деньги, когда их стыдно выложить на стол. Только деньги..

— Ты что это скис? — Теперь Князев будил Витьку от сковавших его мыслей. — Это что у тебя в кулаке? — Он легко разжал Витькины пальцы. — Красенькая? Зачем же ее мять-терзать?

Князев разгладил на своей ладони десятку и сунул ее обратно в Витькин карман.

— Уложился? Тогда берись за концы и на спину.

Витька покорно наклонился, и Князев помог ему поднять узел.

— Пошли! — Крутанув головой, Князев оглядел ободранные стены. — Прощай, хибара! Отсюда gone — в ателье перейду. Меня голыми руками не возьмешь! Верно говорю, Витюха?

— Верно, — уныло отозвался Витька.

27

Вышли снова на пустырь.

— Куда теперь? — спросил Витька. — В троллейбус с таким мешком не пустят. Возьмем, может, такси? Вот хоть на мою на десятку.

— Не требуется, ножками дойдем. А ты, я смотрю, богатым стал, десятками на такси кидаешь. С каких это доходов? При Анохине, думаю, не разживешься.

Витька промолчал.

Пересекли пустырь и совсем близко прошли мимо охотниковской бригады. Да вот и он сам. Если бы Витька захотел, если бы только голову приподнял, Охотников его бы увидел. Но Витька, наоборот, еще ниже согнулся под мешком.

— Эй, старье-берем! — крикнул им вслед Охотников. Молодой, веселый, счастливый его голос далеко разнесся вокруг. — Эй, парни, чего вы там на этом паршивом пустыре раскопали?!

— Полдюжины болванов! — обернулся Князев. — Ежели им кепочки подобрать, вроде вас выйдут! Умники-разумники!

— Ладно, кати, кати, барахольщик! — Охотников, запоминая, всмотрелся в Князева. Тот приостановился — на, мол, смотри. Недолго померились издали взглядами, натвердо запомнив друг друга.

А Витька не остановился и все так и шел, не поднимая головы. Он боялся, что Охотников его сейчас узнает и, чего доброго, начнет высмеивать. Витька и не помышлял сейчас искать защиты от Князева. Витьке стало вдруг все безразличным. Князев не Князев — какая разница. Князев хоть не орет на тебя таким вот счастливым голосом, какой так и прет из Охотникова.

Князев нагнал Витьку.

— Слыхал героя? А того не понимает, что я могу из него очень просто мешок с костями сделать. Меня сейчас трогать не надо бы...

Снова шли они мимо Витькиного и анохинского дома. Но теперь Витька не подумал, что хорошо бы, если бы на выручку ему вышел сейчас из подъезда Анохин. Теперь Витьке было наплевать — с Князевым так с Князевым. Не помирать же из-за этого мешка. Велит нести и несу. С Князевым сейчас не поспоришь. Но куда это он?..

Свернув к дверям ателье, Князев поманил за собой Витьку.

— Сюда, сюда волокиты.

Такого Витька не ожидал. Войти с этим мешком в ателье, чтобы все увидели, что он снова позналсЯ с Князевым и вот даже барахлишко его таскает, — на такое Витька согласиться не мог.

— Дальше не пойдё, — сказал он, намереваясь скинуть мешок.

— Пойдешь.

Лучше бы Витька не смотрел на Князева. Лучше бы бросил этот мешок да и бегом отсюда. Но он посмотрел, и опять не стало у него веры в свои силы, и показалось, что ноги подведут его, что он обязательно поскользнется и упадет. А Князев не упадет, от такого не уйдешь.

Да, Князев был на пределе, всякая малость могла взорвать его, и тогда уже ничто не сдержало бы его звериной ярости. Это Витька понял, когда заглянул в князевское лицо. Какое-то без цвета вдруг в гла-

зах, какое-то потекшее вдруг к подбородку, с приоткрытым ртом.

Пригнувшись, как под непомерной ношей, Витька переступил порог.

И снова повел его Князев, так твердо упершись в его спину пальцем, точно это было пистолетное дуло.

Витька не смотрел, куда идет, он уставился глазами в пол.

— Стой! — приказал ему Князев.

Витька остановился.

— Скидывай!

Витька пригнул плечо, и мешок сполз к его ногам. Теперь ничто не отгораживало Витьку от всякого тут, кто бы хотел на него посмотреть. А, все равно, пусть смотрят! Лишь бы это был не Саркисян, лишь бы не Лагутина. Но как-раз Лагутина-то и смотрела на Витьку. Они оказались друг против друга, их разделял только ее столик.

— Вот, Ниночка, начинаю помаленьку перебираться, — сказал Князев. — Сунь куда-нибудь, пока мне места своего не отведут. Уговорились?

Нина никак не могла отвести глаз от Витьки. Она смотрела на него, но виделась ей сейчас она сама, будто в зеркало глядела. Она сама — вот такая же напуганная, обезволенная, как Витька. Вот такая же пристыженная, обмаранная, как Витька. Он принес князевский мешок, а она спрячет этот мешок. И ни Витька, ни она ничего не посмеют сделать наперекор Князеву. Они боятся его.

Вокруг ходят люди, зови любого на помощь, а они не смеют это сделать. Да и те, что ходят вокруг, посмеют ли вмешаться? Посмеют ли встать перед Князевым, схватить его за руки, если что? Нет, не посмеют или промедлят. Как не смеют и медлят, порой, в толпе, глядя, как бушует один-единственный хулиган. А потом, уже расходясь, эти люди станут искать и находить оправдание своей нерешительности. Мол, не наше дело, личные тут счета...

— О чем задумалась, невеста? Мешок, говорю, приberi. — Князев привычно заулыбался морщинками.

— Хорошо, приберу. Уходи... Уходите!..

— Идем, идем. — Князев потянул Витьку за рукав, и Витька пошел за ним, оборотив лицо к Лагутиной.

Витька хотел крикнуть ей, что он бы уперся, что он бы ни за что на свете не покорился сейчас Князеву, если бы не горькая его обида на мать, на всю свою никому не нужную жизнь. Но Витька молчал, конечно.

А Лагутина смотрела на него, и тоже хотелось ей закричать и ему, и себе, и всем вокруг, что и она бы тоже не испугалась бы, не покорилась бы ни в чем Князеву, если бы не сковывал ее старый страх, еще от детских лет, еще когда пугались они с матерью всякого стука в дверь, всякого шага на лестнице. Но и она промолчала, конечно.

28

— А что, Реня Савостина здесь живет? И дома она? Дома? Отлично! Могу я ее увидеть? — Голос матери Реня не слышала — та отвечала, должно быть, очень тихо. А может, слишком уж был громок голос спрашивающего. Не громок даже, а напористо звонок и самонадеянно несдержан, словно человек, говоривший сейчас в передней с матерью, наперед знал, что понравится ей, обворожит ее. Как бы он ни повел себя, что бы ни спросил, — он знал, что это у него получится хорошо, привлекательно. В голосе звучала этакая выверенная победность.

Что за человек? Голос его был знаком Рене, очень знаком. И все же она до крайности удивилась, когда вслед за коротким «Можно?» в дверях ее комнатки возник великан Охотников. Кого угодно, но только не его ждала она к себе. Она сказала, оторопев:

— Зачем?

— Это вместо-то здравствуйте? — Он встал посреди комнаты, такой большой тут, что его нельзя было даже хорошенько разглядеть, и вдруг позабыл о Рене, уставился на какой-то портрет на стене.

— Кто она?

Реня посмотрела, куда и он.

— Бабушка, — сказала она. — В молодости, конечно.

— Теперь все ясно, — сказал Охотников. — А это кто? — Он пошел вдоль стены, на которой много еще было всяких фотографий. — А это кто?

Реня не знала, о ком он спрашивает. Ей не видно было из-за его спины, на какую фотографию он сей-

час смотрит. Она сказала сразу обо всех, чьи лица памятно жили для нее на этих старых фотографиях:

— Землемеры, учительницы, врачи... А бабушка умерла еще до революции. Она была женой революционера и, знаете, как некогда декабристки, поехала за мужем в ссылку. И там умерла. Я очень горжусь своей бабушкой.— Реня подошла поближе к Охотникову и заглянула ему в глаза, чтобы проследить его взгляд.— Это отец,— сказала она.— Он погиб на войне... В сорок третьем...

Реня наклонилась и стала смотреть теперь уже сама для себя на очень маленькую, какие делают для документов, на очень уже выцветшую фотографию молодого, большелобого, с простодушными широко расставленными глазами человека.

Так бывает, висит у тебя на стене фотография родного человека, давно висит, привычно для глаз, и ты, порой, месяцами не примечаешь эту фотографию, никак не улучив минуту, чтобы пристально вдруг всмотреться в родное лицо. Но если такая минута приходит, ты смотришь и смотришь, наново что-то узнавая для себя в позабытых было родных чертах, смотришь и думаешь и сравниваешь, непременно начинаешь сравнивать что-то свое, нынешнее, с тем, что было прежде, как бы глянув на себя со стороны, и этими вот родными глазами человека с фотографии.

— Теперь все ясно,— вновь проговорил Охотников.

«Что ему ясно? — подумала Реня.— И зачем он здесь? Что ему нужно от меня?» Она как бы спрашивала обо всем этом человека на фотографии, родного своего отца, которого едва помнила живым, но все же помнила, помнила. Голос его звонкий и добрый, вот эти вот глаза — вот и сейчас засветившиеся ей навстречу, его улыбку, хоть на фотографии он и не улыбается, да, и его улыбку — все вдруг вспомнилось сейчас Рене. Она обернулась к Охотникову:

— Зачем вы пришли?

— Я хотел...— Охотников в замешательстве топтался в крохотной Рениной комнате, не зная, куда себя деть.

— Садитесь,— сказала Реня, указывая ему глазами на единственный в комнате стул, с высокой, обтянутой кожей спинкой.

Охотников послушно сел и в упор посмотрел на Реню, будто наново знакомясь с ней.

— Вы здесь совсем другая,— сказал он.

— Какая? — Она села напротив него на низкую, почти у пола, тахту. Теперь и ей легче было разглядеть его. И она тоже в упор, совсем не уступая Охотникову в дерзости, принялась его рассматривать.

— Хотя нет,— сказал он.— Я примерно такую вас дома и представлял.

— Какую?

— И комната ваша — ну, прямо такая, какую бы я нарисовал, если бы наперед задумался над этим.

— Над чем?

— Ну, над всем этим,— Охотников неопределенно повел рукой.— Книги, книги, и вся эта старинная мебель, и эти вот фотографии. Нет, вру — я все же такого не ожидал.

— Чего?

— Да перестаньте вы добивать меня своими вопросиками! — Охотников как бы примерил к маленькой комнате всю напористую силу своего победного голоса. Нет, не прозвучал здесь его голос. Сглож как-то, не произвел должного впечатления. Охотников и сам это понял и, рассмеявшись, заговорил чуть что не шепотом:

— Реня, ну, не глядите на меня так враждебно.— Он поднялся и пересел к ней на тахту и, переждав, когда уgomонятся поднявшие бунт старые пружины, все так же смиряя свой голос, продолжал: — Знаете, я просто не мог к вам не прийти. После того разговора нашего у пустыря — просто не мог.

— Вас задело, что нашелся человек, который не пожелал сразу же вами восхититься? — Реня спокойно отняла свою руку, вдруг оказавшуюся в руке Охотникова.— Спиридон, ну что вы, зачем вы? Вам кажется, это все так просто, да?

— Как с кем.— Он распрямился.— Бывает, что и очень просто, Ренечка.

— Как мне их жаль — тех женщин, которым все это просто. Скажите, где вы раздобыли мой адрес?

— У вашей начальницы — у Любовь Григорьевны. Представьте, старушка не хотела мне давать его. Учи-

пила целый допрос — зачем да почему? Впрочем, как и вы вот сейчас.

— Но вы мне так и не ответили. И вот я снова спрашиваю: зачем вы пришли?

— Вы мне нравитесь, Реня.

Отодвинувшись, Реня быстро взглянула на него.

— Ну, какой вы, какой вы, когда лжете? Бог мой, вы все такой же — само очарование. Нет, я бы не могла полюбить такого.

— А кого бы вы могли полюбить? Впрочем, смешной вопрос — вы уже и полюбили. Честно, я никак не пойму, за что это ему такое отличие.

— Ему... Вот и тут вы сказали, как отрезали. А я ведь и сама не знаю, что у меня к нему. Но он из настоящих — это верно.

— Настоящий! Какая-то бабушкина терминология. Даже монолит не бывает однородным, а вы говорите о человеке.

— Настоящий, честный, правдолюбивый, самоотверженный. Я за то, чтобы в человеке было все это и без примесей. Я за однородные монолиты, Охотников. И пусть так, пусть я смотрю на людей глазами своей бабки. У нее были зоркие глаза, знаете ли. И честные.

— Вы — странная. Простите, если я откровенно до конца вам о вас скажу: вы — старомодная. Вы не рассердились?

— Ничуть. Что ж, может быть, я и старомодная. Мне будет трудно, я знаю, мне и теперь трудно. Что ж, но разве на честность, на убежденность мода уже прошла? И разве Миша Анохин — тоже старомоден? И все мои друзья, которым не просто подружиться, которым не легко полюбить, а уж если дружба, если любовь, то уж до конца, — что ж, все эти люди по-вашему старомодны?

— Но ведь и я тоже предлагаю вам свою дружбу. Отчего же вы меня гоните?

— Вы не ответили мне. Ну, хорошо, значит, не знаете, что ответить. А дружба ваша... Я не верю вам, Спиридон. Это вы все для себя, все для себя добываете, когда приходите к другому. Это не дружба, когда все для себя.

— Хорошо, я докажу вам, что я вам друг. — Охот-

ников встал, собираясь уходить. Но внезапно передумал и, рывком притянув к себе Реню, начал целовать ее, так прижав к себе здоровой рукой, что Реня как бы сломилась в талии, что ей и не пошевелиться было. Ему показалось, что она отвечает на его поцелуи.

— Милая! — шепнул он. — Ну, брось, ну, перестань... — Он глянул в ее прижмуренные глаза и тотчас разжал свою руку. — Простите меня... Как вы, я вижу меня презираете... Простите...

— Нет, я не презираю вас, — сказала Реня. Ей трудно было говорить, она задыхалась. — Но только прошу вас — уходите, уходите!

Он покорно направился к двери.

— Не прогоняйте меня навсегда, Реня. — Голос у Охотникова звучал растерянно, и потому, может быть, в сказанных сейчас им словах почудилась Рене искренняя, серьезная нота. -

— Я не властна прогонять человека, если он человек, — сказала она, все еще задыхаясь. — А теперь уходите, уходите...

Он молча наклонил голову и быстро шагнул за порог.

## 29

У Анохина нынче был выходной. И он засел дома, наверстывая упущенные дни. До экзаменов оставалось совсем немного, всего только месяц.

Развернув на столе весьма обширный лист учебного плана заочного обучения по специальности «Русский язык и литература», Анохин не без священного трепета путешествовал от графы к графе, от наименования дисциплин к срокам их сдачи, все более утверждаясь в мысли, что этот громадный мир знаний, который надлежало ему пройти за каких-нибудь пять лет, неодолим и за куда больший срок. Если знать, а не казаться знающим. «Политэкономия», «Психология», «Логика», «Диалектический и исторический материализм», наконец «Русский язык», «Русская литература» и еще и еще дисциплины, множество дисциплин, включая даже «Основы марксистско-ленинской этики» и «Практикум по выразительному чтению». И все это за пять лет. И знать все это надо от самого зачина и по наши дни. Знать, стало быть осмыслить, утвер-

даться в верности своих знаний, в человечности всякой идеи, рожденной этими знаниями, ибо ты учитель и тебе надлежит учить людей, дальше, все дальше передавая добытые в веках знания. Но если это так, а это так, то сколь ни обширен учебный план, занявший целую бумажную простыню на твоём столе, в плане этом все же недостает еще одной хотя бы дисциплины. Эту дисциплину можно было бы назвать так: «Опыт души».

Тебе не преподавать, друг, русскую литературу, если ты скуден, малограмотен душой. И не разбираться в «Истории СССР», если мелок твой душевный опыт, как декоративный пруд. Не сумеешь. Разве что выйдет из тебя еще один говорун «от сих до сих».

Дверной звонок прервал размышления Анохина.

Дверной звонок — это человек за дверью, это радость или неприятность, или просто чье-то новое лицо, сейчас еще новое, а потом, может быть, бесконечно важное в твоей жизни. Всякая встреча — обещает. Всякое слово — дарит или отнимает, ранит или врачует. Так, только так должно жить, только так можно жить, когда все силы твоей души напряжены, когда нет пустого слова, безразличного взгляда, ничемной встречи.

Анохин пошел открывать, наперед готовый и к значительной встрече и к не пустым словам. Будь то хоть Витька, которому давно пора бы явиться, а он нейдет и, значит, с ним что-то опять стряслось, будь то хоть Князев, который тоже может оказаться за дверью, будь то хоть...

За дверью оказались Лидия Петровна Забелина и Сурен Саркисян.

От неожиданности Анохин даже рассмеялся, ничего не сказал, а только рассмеялся.

— Весело тебе? — спросил Саркисян. — Напрасно.

Он пропустил вперед Забелину, которая почему-то медлила входить, помог снять ей пальто.

— Затвори дверь, — распорядился он. — Нечего изображать из себя застылую статую. И перестань так глупо улыбаться. Показывай, куда идти.

— Вот сюда, — сказал Анохин, как регулировщик взмахнув рукой. Он ждал кого угодно, но только не Забелину, да еще вместе с Саркисяном.

Вошли в комнату. Саркисян огляделся.

— Так, живешь хорошо.

Что он хвалил тут, скромность ли обстановки или, наоборот, то, что Анохин живет в большой и хорошей комнате,— этого было не понять.

— Хорошо,— тоже оглядываясь, согласилась Забелина.

— Вот даже занимается,— похлопал Саркисян по стопке книг. Взял наудачу одну из них, сведя брови, начал читать наугад открытую страницу: — «Педагогика с методикой преподавания русского языка и литературы». Педагогика с методикой... Разберись тут. А знаешь, Анохин, на тебя написан донос.

— Точнее говоря, заявление,— сказала Забелина.

— Что? — не понял их Анохин. — Да вы садитесь, вот стулья, садитесь.

Он начал пододвигать Забелиной и Саркисяну стулья, а в мозгу, сталкиваясь, расшвыривая все прочие мысли, бушевали два эти только что сказанных слова: «донос», «заявление». Никак не удавалось унять их, отодвинуть куда-нибудь в сторонку, вдуматься в смысл, который они в себе таили.

— Нет, точнее говоря, донос,— возразил Забелиной Саркисян. — Сядем, Лидия Петровна. И ты садись, Анохин.

Все сели, придвинув свои стулья к столу, точно собирались приступить к еде, а может, и выпить рюмку-другую.

— Поставить чайник? — спросил Анохин.

— Сиди. — Забелина положила ему руку на плечо. — Так-то вот, Миша.

— Короче говоря,— решительно сказал Саркисян,— тебе, Анохин, предъявлено обвинение в том, что ты, будучи агитатором, стал навязывать себя одной из агитируемых, стал вмешиваться в ее жизнь, но не бескорыстно, совсем не бескорыстно. — Саркисян перевел дух. — Считаю, что я тебе зачитал ту бумажку. А сочинили ее не безызвестный тебе Князев и заведующий нашего ателье. Все!

Помолчали.

— Что скажешь, Анохин? — спросила Забелина и медленно сняла руку с его плеча. Теперь он остался один. Двое смотрели на него, и ему надо было им от-

вечать. Коротко, всю правду и не тянуть с этим, не давать себе времени на раздумывания.

— Я люблю Нину Лагутину,— сказал Анохин.

Сказал им и себе самому. В первый раз он сказал это и себе самому. Да, это так, он любит ее. Да, это так. Как просто, как оглушительно просто все это: он ее любит.

— Что ты, Миша, что ты?! — испугалась Забелина.

Анохин молчал. Собственные слова оглушили его. Да он бы и не мог ничего больше сказать сейчас. Он сказал самое большее, что мог, про самое большое, что жило в нем.

— Молодец, честно ответил,— уважительно поглядел на него Саркисян.— Вот он и пришел, твой ответ, Михаил. Помнишь наш разговор?

— Но если он станет придерживаться этой версии и при разборе дела, он погубит себя! — срываясь на свой властно-громкий голос, возмутилась Забелина.— Им этого только и нужно, писакам этим! Миша, прошу тебя, как мать прошу, не глупи!

— Это не версия, дорогая Лида, это любовь,— сказал, поднимаясь, Саркисян.— Уйдем, мы и так уже довольно тут натоптали.

— Хорошо, уйдем,— встала Забелина.— Но как все же нам быть? Заявление поступило, а он — кандидат партии. И обвинение, Сурен, так повернуто, что сугубо личное дело превращено чуть ли не в общественный проступок.

— На это и ставка делалась. Не Князевым, конечно, а тем, кто посоветовал ему написать этот донос, помог его написать. И тут уж все касается не столько Анохина, сколько меня. Прости, друг, но боюсь, что вся каша заварилась из-за меня.

— Из-за вас?

— Да. Это мой заведующий, милейший Анатолий Павлович, решил дать мне бой.

— Вы-то при чем? — удивилась Забелина.

— При чем. Я настоял, чтобы выгнали Князева, а он, оказывается, жертва. Я вместе с Анохиным беседовал с Лагутиной, отговаривал ее выходить за Князева замуж. А зачем отговаривал? Затем, оказывается, чтобы освободилось место для Анохина. Ревизия, которую я наслал на свое ателье, ничего

предосудительного не установила, мой зав остался чистеньким, а вот я, оказывается, интриган и пособник всяких аморальных дел. Вот как все можно толковать, дорогая Лидия Петровна, и вот как, ручаюсь, и попытаются все толковать наши с Анохиным не-други.

— Час от часу не легче! Целое дело, целый поход на вас, бедных.

— Да, поход. Но мы не бедные, и мы не испугались. Так ведь, Миша?

— Только поскорее, если можно... поскорее обсу-жайте,— попросил Анохин.

— Обсудить тебя можно хоть завтра,— сказала Забелина.— Но как, в каком составе?

— Было бы лучше, Лида, если бы разговор этот был на людях.— Саркисян притянул к себе Анохина.— Слушай, Миша, выдержишь, если мы все на этот разговор придем?

— Кто — все?

— А вот все, кто захочет, из наших домов, из ателье, из столовой. Понимаешь, у тебя много там друзей, двое даже прибегали уже ко мне, понимаешь?.. Да и я не могу быть в стороне. Весь сыр-бор по сути из-за меня, все равно меня вспомнят. Ну, как, согласен?

— Мне все равно,— сказал Анохин.— Я сейчас не о себе думаю.

— Понял. Но и для нее так будет лучше. Слушок уже потянулся, сплетня уже пушена. И для нее, Михаил, будет лучше, если разговор пойдет в открытую. Согласен? Решаешься?

— Согласен,— сказал Анохин.— Только пусть по-скорее.— Он попытался объяснить, почему так торопится: — У меня скоро экзамены.

— Вот тебе и экзамены,— пригорюнилась по-бабьи на руку Забелина. Но тут же снова выпрямилась и заговорила громко и властно: — Ладно, утрясем как-нибудь! Если, конечно, глупить не будешь. Поосторожнее надо быть, Михаил. И в делах и в словах. А то — нате вам: «Я люблю Нину Лагутину». Прикинь, подумай, как выступать будешь.

Попрошавшись и что-то сказав Анохину в ободрение, те торопливые слова, которые обычно говорят

в прихожей и в которые не очень-то вслушиваются, Забелина и Саркисян ушли.

И только они ушли, только сникли их шаги на лестнице, вышел из дому и Анохин.

30

Он забыл надеть пальто, шапку, да и не нужно было все это надевать. По-летнему теплым был вечер. Случаются такие весной вечера, когда явственно проглядывает в них лето. И даже душно по-летнему. И откуда-то доносится запах цветов и прогретого асфальта. И кажется, что лето уже пришло и надолго теперь установится, до самой осени. И кажется, что до этой осени страшно далеко. Лето, все время будет лето, и все время будут распахнутыми окна домов.

Анохин поискал глазами окно Нининой комнаты и сразу нашел его. В окне был свет. Она — дома.

Срезав дорогу через площадь, Анохин пошел к ее подъезду. Так ходил он и раньше. И тоже сперва отыскивал глазами ее окно. А потом — уходил, не решаясь подняться к ней. Он решался на это, лишь когда твердо был уверен, что идет ради нее самой, идет по долгу своему, а вовсе не потому, что хочет ее видеть. Он не признавался себе в этом даже и тогда, когда понял, что ему очень нужно ее видеть. Он думал по-всякому про это, но до конца не додумывал. И вот только сегодня, несколько минут назад, он сказал вслух и чужим почти людям то, что и самому себе до этого не решался сказать. И он рад, что сказал. Еще трудней стало ему жить теперь, когда все он понял, и все же в чем-то и легче теперь стало ему жить.

Но это была не легкая легкость. Все стало еще сложнее. Так совпало, что все стало еще сложнее, безысходней даже. Вот он идет к ней, но не для того, чтобы увидеть, хоть только увидеть, а для того, чтобы предупредить о грозящей ей опасности. Он не думал сейчас о том, чем грозила вся эта история ему, он думал о том, чем грозила эта история ей. Он думал о том, как Нину вызовут на собрание, как станут ее расспрашивать, какие чудовищные вопросы, возможно, станут ей задавать. И все из-за него. Тяжесть собственной вины все отчетливее открывалась ему. Во всем вино-

ват только он. Но в чем виноват? Трудно было уяснить себе это. В том, что хотел помочь ей? В том, что полюбил ее?

Лифт стремительно поднял его на восьмой этаж. Он и не думал, что так могут мчаться эти лифты. Дверь лифта будто сама распахнулась, а внизу уже кто-то нажимал на вызов, торопя, торопя. Как медленно ни иди, а шаги все равно большие, а коридор от лифта до квартиры Нины все равно очень короткий.

И вот она, и эта надпись на стене у Нининой двери, вот оно, это Нинино «Ненавижу!» всему скверному, темному, страшному, что захлестнуло ее жизнь. Он пытался помочь ей, высвободить ее, но только то и сумел, что полюбил ее. Он был бесконечно сейчас сам себе жалок.

Надо стучать. Как? Он пригнулся к двери, к узкой полоске света, выходящейся между створками, и негромко позвал:

— Нина!

Ему отвратительно было стучать к ней условным стуком, как Князев, или просто так, как обычно, гадая, на какой стук она отзовется. Ему отвратительно, унижительно было само это гадание.

— Нина! — снова позвал он. И услышал ее шаги.

— Это вы, Миша?

— Я,— распрямляясь, сказал он.

Щелкнул замок и еще какой-то засов, которого раньше, кажется, не было, и дверь отворилась.

— Входите быстрее,— сказала Нина, быстро потянув его за руку и тут же прихлопнув дверь на замок и еще на какую-то задвижку, которой совсем недавно не было.

— Так это вы, опять вы?

— Я, опять я. Нина, я пришел, чтобы предупредить вас... Князев написал заявление, в котором...

— Не нужно, я знаю.— Она протянула руку и осторожно дотронулась пальцами до повязки на его голове.— А если бы здесь был Князев?

— Я не думал о нем. Нина, так вышло, я полюбил вас.

— Правда?

Они стояли в прихожей, в которой либо очень яркая горела лампа, либо совсем было темно. Но тог-

да и во всей квартире было темно. Сейчас лампа в прихожей горела, кажется, еще ярче, чем всегда. И в комнате тоже были зажжены все, какие только были там, лампы. И в кухне — тоже. И все было видно сейчас очень подробно, как в солнечный день.

В такой день никуда не девать себя, если на тебя смотрят. Ты знаешь, тебя всего видно, даже крапинки в твоих глазах можно пересчитать.

Нина смотрела на Анохина, смотрела, будто этим и занялась: пересчетом крапинок в его глазах.

— Правда? — повторила она.

— Да, — сказал он, тоже глядя на нее, так глядя на нее, так долго и близко, как не решался еще ни разу. И совсем по-новому увиделась она ему сейчас. Изнутри как бы. Нежданно робкий очерк губ, с белесой каемочкой, как еще у девчонки. Запавшие глаза, усталые и узнавшие столько всего, что в них больно было смотреть. Но только в них и хотелось смотреть — в эти усталые, и родные, и чужие глаза. И в них страшно было смотреть, и больно, и удивительно. Она все могла сейчас сделать с ним. Он бы все мог сейчас сделать для нее. Он любил ее, робел ее, знал и не знал. Как это было удивительно — все, что виделось ему, все, что чувствовалось ему в эти минуты.

— Пойдем, — позвала она и вошла в комнату.

Он пошел за ней, не узнавая женщину, идущую впереди, ее походку, изгиб шеи, упавшие линии плеч.

Она обернулась вдруг, эта женщина, и смело положила ему на плечи свои руки, голые по локти, смело посмотрела на него своими измученными глазами.

— Ты любишь меня?

— Да.

— Ты — смелый. Какой ты смелый!

Ее губы мимолетно и жарко коснулись его лба.

— Нина, — шепнул он, — будь моей женой.

В ее измученных глазах вспыхнули, разом отгорев, насмешливые искорки.

— Чудной, разве для этого обязательно выходить замуж? Молчи... — Ее губы дотронулись и замерли на его губах. Он даже не услышал, он почувствовал, как она сказала: — Миша, заступись за меня... — И потом еще одно слово: — Милый...

С тяжелым сердцем готовился Саркисян к разговору об Анохине, к разговору на людях. Одолевало сомнение: так ли надо было поступить в этом деле. Вот оно уже и появилось, это «дело». Дело о любви, которое станут разбирать согласно поступившему заявлению. Впрочем, в заявлении говорится о другом. В этом заявлении, а точнее — доносе, говорится совсем о другом. В нем подозревают, в нем нашептывают, не тая ухмылочки, в нем гневаются, оберегая свои права, в нем требуют защиты, требуют смиренно, но по сути с величайшей наглостью. Смять бы, порвать бы этот донос, то бишь заявление, — и делу конец. Нельзя. Речь идет о молодом коммунисте, речь идет о делах общественных, в заявлении, то бишь доносе, так все и повернуто, чтобы сделать упор на общественную сторону дела. Не очень-то новый прием, но все же достаточно ловко примененный к случаю. Пожалуй, порвав эту бумажку, ты только обрадуешь ее авторов. Они напишут новую. И еще что-то добавят насчет попранных своих прав. Подпись под заявлением одна: Князева. Но считай, что подписались двое. Да нет, куда больше. Подписей под этим заявлением столько, сколько в новых этих домах живет людей из старого мира, людей злобных и темных душ. Им нужна грязнеца для того, чтобы им тут легче дышалось. Им без мути, без склоки, без вражды не прожить. Очень уж они видны на свету. Вот они и мутят, чтобы можно было им здесь пустить корни. Вот потому-то и надо с ними воевать в открытую, на народе, чтобы никакой шепоток не пошел тут гулять, чтобы всем стало ясно, что к чему. Это так, нет ничего лучше, чем прямой разговор на людях, но беда в том, что удар-то делается не в прямую по нему — он бы выдержал, и не такое выдерживал, — а бьют по человеку совсем еще юному, незащищенному жизненным опытом, и бьют как раз тогда, когда человек этот более всего открыт для подобных ударов. Парень полюбил, а его тянут на собрание, разбирать его персональное дело. Не хочешь, а усомнишься: верно ли было затевать это собрание. Впрочем, теперь уже поздно что-либо изменить. «Сегодня, в восемь часов вечера, в помещении

столовой номер 7 состоится собрание жильцов микрорайона. Повестка дня: персональное дело члена агитколлектива Анохина М. Н.». Это объявление висело на дверях столовой. И такое же неподалеку от кинотеатра. И такое же на доске объявлений жилищной конторы. Три дня назад, когда эти объявления вывесили, вместо слова «сегодня» стояло число. А сегодня это число заменили словом «сегодня». Да, сегодня все это и состоится.

Саркисян взглянул на часы. Без четверти восемь, пора идти...

За час до собрания Реня пришла к Лебедевым. Еще накануне было условлено, что она зайдет за Семеном Ивановичем. Еще накануне обо всем было переговорено. Семен Иванович, не ожидая ничего хорошего от этого собрания для Анохина, решил выступить в его защиту. Старику страшно не хотелось выступать, он попросту робел этого, но надо было выступить, он не мог не выступить. Он полагал, и не без основания, что сам Анохин защищаться не станет. Либо будет молчать, либо буркнет два-три слова. А что скажешь на его месте? Нужно было, чтобы заговорили хоть другие, кто знал Анохина. Он, Лебедев, знал его и обязан был выступить. На беду, за те дни, что предшествовали собранию, Семену Ивановичу не удалось повидать Анохина. Казалось, парень просто прятался ото всех. Семен Иванович и звонил ему и заходил, но дома Анохина не было, к телефону никто не подходил. А на работе у него, в кинобудке, когда стрекочет лента, какой же разговор. Вот и придется сегодня выступать Семену Ивановичу, так и не узнав, что обо всей этой истории думает сам Миша Анохин. И Реня тоже не сумела повидать его в эти дни. Да, пожалуй, и не очень искала этой встречи. Случись, встретить она его, так ни о чем бы и не спросила. Тут тоже не все просто — у нее с Анохиным. Не понять этого нельзя. А что толку-то, что все-то ты понял, все-то разглядел? Как будешь выступать, знаешь ли? Нет, не знаешь.

Любовь Григорьевна идти на собрание отказалась наотрез.

— Смотреть, как станут позорить человека,— негуж, избавьте.

— А ты не смотри, ты вступишь за человека,— возразил жене Семен Иванович.

— Не мастерица я языком болтать, Семен. И что скажешь? Что можно тут сказать? Знаешь ли?

— Нет, не знаю,— теперь вслух признался Семен Иванович.

— И я не знаю,— понурилась Реня.

— В том-то и дело. Человеку почти не дано вмешиваться в чужую жизнь. Всякое такое вмешательство только вредит. Это мое глубочайшее убеждение.

— Можно глубочайше и ошибаться,— сказал Семен Иванович.

— Докажи, докажи, в чем моя ошибка? — с удовольствием изготавливаясь к спору, гневно спросила Любовь Григорьевна.— Ну, попробуй-ка, убеди нас, глупых!

— Не время сейчас спорить, Любочка.— Семен Иванович озабоченно посмотрел в окно.— Вот, уже и народ собирается. Пойдемте, Реня...

«Работы ведет СМУ-6». Куда ни пойдешь сейчас в пределах трех домов-великанов анохинского микрорайона,— эта надпись на щите — красные, крупные буквы на белом листе фанеры — видна отовсюду. Как виден и пустырь за домами, к которому и подступились со своими машинами люди из СМУ-6.

В вечер собрания, совсем незадолго до его начала, когда из всех домов потянулись к «Семерке» жители, в этот самый вечер бригада Охотникова приступила к сносу ржавых и дырявых коробок-гаражей, во множестве гнездившихся на пустыре. Вернее, не к сносу, а переносу. Небольшой автокран подхватывал на тросах очередную громыхающую коробку и, черканув ею по воздуху, ставил в кузов могучего грузовика. Одна коробка, другая, а иногда и еще сверху ящичек — и грузовик трогался в путь. Шинные следы уходили куда-то за пустырь, за овраг, терялись в лесной синеве.

И только отъезжал один грузовик, как на его ме-

сто вставал другой. Не на то же самое, уже очищенное пространство, а на несколько метров продвинувшись в глубь пустыря, вплотную подступив вместе с краном к очередной жертве. И снова скрип и стон железных стенок, и натужное кряхтение тросов, и снова бойкий поворот крана, скинувшего свою ношу в кузов грузовика.

Пустырь прибирался, очищался, готовясь для какой-то иной и, должно быть, долгой жизни, как больной перед операцией, которая избавит его от тяжелого недуга. И люди, которые проходили сейчас мимо этих мест, давно уже привыкшие к бесчисленным стройкам и перестройкам, все же задерживали шаг и внимательно приглядывались к творящемуся на пустыре. Всегда поражает, как бы часто ты это ни наблюдал, как меняется лик пусть хоть малой частицы земли. Всегда удивительна эта перемена и уже тем, что отчетливо видно, и тем, что дорисовывается воображением. Год пройдет, а может, и меньше — и встанут тут, на месте этого пустыря, светлые, высокие стены, протянется улица, зазеленеют деревья. Обычная история, обыкновенное, каждодневное чудо и уже и не чудо из-за своей каждодневности.

Но вот и восемь, пора поспешить на собрание, на какое-то довольно необычное собрание. Чего только уже не говорят об этой истории молодого агитатора и девушки, с которой он познакомился в мартовские предвыборные дни.

Встал кран, отъехал последний грузовик, бригада Охотникова во главе со своим бригадиром тоже двинулась на собрание. Ребята шли, громко переговариваясь, еще возбужденные работой, а работа сегодня у них была веселая, азартная. И они шли, еще живя этим азартом.

Начало собрания прошло для Анохина как в тумане. Не верилось, что это из-за него собрались здесь люди, не верилось, что это о нем идет здесь речь. И лица людей сперва слились воедино, как и их голоса. Где-то, среди множества этих лиц, если оглянуться, увидится и Нина. Она пришла сюда. Он думал,

что она не придет, а она пришла. С того вечера они больше не встречались. Прощаясь, она сказала ему: «Не надо тебе пока ходить ко мне». О чем думала она, говоря это? Он так и не понял тогда. Может быть, боялась за него, может, за себя, за них обоих. А может быть... Он так и не понял тогда, что заставило ее сказать эти слова, такие отрезвляющие, благоразумные, такие отгораживающие их друг от друга. Он не пришел к ней больше. Все три дня эти шел к ней и не дошел. Всякий час за эти дни был в пути к ней и не дошел. Не решился. Не Князева боялся он, не молвы. Он боялся теперь ее. Боялся услышать безразличие в ее голосе, приметить жалость в ее глазах.

— Успокойся, не горячись.— Это сказал ему сидевший рядом с ним Саркисян. Похоже, даже не Анохину сказал, а самому себе. Что-то, должно быть, уж очень его возмутило. Анохин не знал, что именно. Он все еще не мог вникнуть в суть происходящего. А со стороны, если поглядеть на него со стороны, как это почти все в зале и делали, он казался на удивление спокойным, сидел очень прямо, был весь внимание.

Собрание вел Матвей Игнатьевич Крутихин. Он стоял за легким столиком, предназначенным в обычные дни служить поддержкой для тарелок с соисками и стаканов с киселем, и, опираясь об этот столик одной рукой, а другой плавно поводя по воздуху, произносил, казалось, весьма затянувшийся застольный тост. Матвей Игнатьевич был в выходном костюме, и неизменная бабочка умело расправила свои крылышки над жестко накрахмаленным воротничком. Банкет? Первомайский праздник, который по времени вполне бы мог уже быть? Анохину вдруг стало смешно смотреть на своего вырядившегося директора, и вдруг явственно стали доходить до сознания его слова:

— Таким образом, если даже отбросить чрезмерную резкость обвинений и выражений,— говорил Матвей Игнатьевич,— если даже отбросить всякие там намеки, которые вы, товарищи, конечно, не одобрили в этом заявлении, то и в этом, так сказать, очищенном

от шелухи виде заявление это содержит в себе серьезное обвинение против нашего товарища. Суммирую...

— Хватит, хватит! — сказал Саркисян. — Все ясно! Давайте-ка просто поговорим. Ведь мы не на суд сюда собрались.

— Мы разбираем проступок нашего товарища, — недоумевая, уставился на Саркисяна Крутихин и едва приметно подернул плечами — серьезный, мол, человек, а перебиваете, мешаете. — Мы вынуждены устанавливать факты. А факты таковы, что в нашу партийную организацию и ко мне, как к директору предприятия, поступило заявление на нашего работника, кандидата в члены партии Анохина Михаила Николаевича в том, что он, будучи выдвинут на работу агитатором, использовал свое право, так сказать, проникновения в чужой дом, свое право, так сказать, знакомиться с людьми, в данном случае с молодой девушкой, и использовал это все в своих корыстных целях. Отбил, вот утверждают, чужую невесту.

— А это вам не семечки! — прогудел кто-то в зале в кулак.

«Витька!» — подумал Анохин. Он оглянулся, но не нашел Витьку, а почти в упор столкнулся глазами с Ниной. Ее глаза теперь помнились ему совсем иначе, чем раньше. И если раньше он знал, какие у нее глаза, то теперь он этого не знал. И вот теперь тоже он этого не узнал. Она быстро отвела свои глаза, еще быстрее, чем это сделал он. Но все равно, он успел все вспомнить — здесь вот, на собрании, — успел все вспомнить, все то громадное, что случилось у них в тот вечер, всю сумятицу, жаркость, когда нечем было дышать, все счастье и горечь, радость и унижение тех минут. Все успел он вспомнить!

— Да, это вам не семечки! — между тем говорил Крутихин, вытягивая шею, чтобы узнать, кто же это его передразнил. — Шуточки здесь, товарищи, неуместны.

— Довольно! Смена ораторов! — крикнул весело Охотников. Его явно забавляло все тут. И вообще, ему было весело, он только что отлично поработал, ощутил себя хозяином машин — крана, грузовиков — и был еще весь в захвате этих могучих машинных движений,

которыми он так четко, так смело управлял. Вот это вот было дело! А тут занимались сейчас какой-то че-пуховиной, жалкой какой-то болтовней. Он вскочил, поднял руку.

— Дайте слово! — И сразу же двинулся к председательскому столу, не глядя, куда шагает, и всегда удачно избегая препятствий на своем пути. А зал столовой был переполнен. Большинство столиков были сдвинуты к стенам, но сидели и на столиках, а на стульях кое-где сидели и по двое.

Матвею Игнатьевичу ничего не оставалось делать, как уступить свое место выросшему перед ним великану.

— Регламент,— только и успел вставить слово Матвей Игнатьевич.

— О чем тут разговор?! — могуче перекрывая его голос, а заодно и отодвинув его рукой в сторону, начал Охотников.— Конечно, мы тут, наша бригада, народ еще новый, но мы в этих местах тоже не гости. Вот, достраиваем ваш микрорайон.— Охотников, ориентируясь, развернул плечи и указал рукой в широкое окно столовой, туда, где в вечерней полутьме видны были очертания замершего до поры крана.— Кое-кто из нас и жить здесь останется. Да и вообще мы из этих мест еще долго не уйдем. Наша улица за лес пройдет — вон куда. Будут здесь домики и в шестнадцать этажей — вон какие. Будет здесь и порядок. Наведем! Это я вам твердо обещаю, товарищи. Ни одного хулигана вы уже через неделю здесь не встретите. И такой истории, какую мы сегодня здесь слышим, больше вы не услышите.

— Что, кончится любовь в этих местах? — негромко спросил Саркисян.

— Какая еще там любовь?! — взорвался Охотников.— Я лучше вас знаю, товарищ, что тут да как! Я с Анохиным три недели койка в койку провалялся. Ничего себе порядочки! Агитатора бьют, агитатора увозят в больницу, а тот, кто бил, еще и заявление на него подает! Дожили! А ну, ты, жених-заявитель, выполняй сюда, давай объяснения, почему напал на агитатора?! Быстрей, быстрей шагай, а то подтолкнем!

— Это вы можете, это вы умеете! — Князев отозвался от самых дверей. — Бегу, бегу, гражданин начальник!

Анохин повернулся, чтобы увидеть, как он идет. Князев тоже шел, не глядя себе под ноги, но всегда отыскивалось в этом переполненном зале свободное для него место. И он шел, как по прямой ковровой дорожке идут к трибуне всеми уважаемые люди, у которых немалые на то есть права, чтобы выступать на народе. Он шел не спеша, хоть и сказал, что «бегу, бегу», и шел весь распрямившийся, коренасто-прочный. И сиял, стиснув губы, сиял всеми своими морщинками.

Должно быть, вид этого человека, его уверенная поступь, его застыло-смеющееся лицо, вся какая-то очевидная серьезность его облика, поразили и Охотникова. В притихшем зале только и слышны были, что шаги Князева. И все смотрели только на него. И Охотников тоже, сменяя в себе свою задиристую веселость, все более серьезнел, глядя на Князева.

Тот подошел к столу, низкорослый рядом с Охотниковым, но много пошире его, подтверже, что ли, и, оттерев слегка Охотникова от стола, очень негромким, лишь в глубине закипающим голосом стал бросать в зал отрывистые слова:

— Ну, сидел... Ну, крал... Ну, опять сидел... Так? Ты на это намекаешь? — Князев ребром ладони одеревенело бил по столу. Вдруг вскинул руку и навис ею над Охотниковым. — Значит, конец мне? Нет никакого выхода? Отпустили, а все равно, как в тюрьме?

Всем показалось, что Князев вот прямо сейчас рубанет своей железной ладонью Охотникова по лицу. Всем показалось, что Князеву едва дается себя сдерживать. Охотников, видно, тоже это понял и чуть подался назад, откатнулся. Едва приметное движение, но все его заметили.

— Да ты не бойся, не бойся, — усмехнулся Князев и опустил руку. — Я и сам робким стал. — И вновь взмыл голосом, доведя его до натужного крика: — Нет, ты скажи, жить вы мне давать будете или как?!

— А вы людям жить даете, Князев?... — вырвалось

у Анохина. Ему казалось, он произносит эти слова про себя, а получилось, что все его услышали.

— Ну, вот! Смотри на него! — подтолкнув Охотникова локтем и как бы беря к себе в сочувствующие, сокрушенно произнес Князев. — А спрашиваешь, почему я с ним столкнулся. Да как же мне было обойти его? У меня помолвка, а он тут как тут. Через неделю свадьба, а он с моей невестой дверь на задвижку. Агитатор? Об чем же он ее там агитировал? А?! Выходит, ему можно, а нам, грешным, нельзя? Ну, судите, ударил я его, не сдержался. Я его, а он меня. Ну, судите, если такая ваша справедливость...

Князев поник головой, тяжело опираясь руками о стол.

— А верно, почему так? — спросил кто-то из зала. — История-то не слишком благовидная... — Знакомый, очень знакомый голос. Где его раньше слышал Анохин — этот звучный, в меру негодующий голос? Оглянуться бы, но боязно: где-то там же сидит и Нина. Снова заглянуть в ее глаза, чтобы снова все обрушилось на тебя, вся память крови и сердца, — нет на это больше никаких сил. А оглянуться надо. Говорят о тебе.

Вдруг вспомнился совсем другой голос, требовательно сказавший ему:

«Отвечай, отвечай, Анохин...»

Эти слова живут в нем, помнятся ему, должно быть, не забудутся, пока жив... Большая комната, почти такая же большая, как и этот вот зал столовой, длинный стол под сукном, ряды стульев, как в кинотеатре, и много незнакомых людей со строгими лицами. Он стоит перед ними, и его спрашивают, спрашивают. Его принимают в кандидаты партии. Сперва он боялся каждого вопроса, напрягался, как на экзамене, но потом успокоился и даже рад был, что его так долго спрашивают, а он так хорошо на все вопросы отвечает. Как на экзамене, когда знаешь предмет. И вдруг — главный вопрос, который ждал, которого, честно говоря, боялся, потому что это был такой вопрос, ответ на который нигде еще не написан...

«Скажи, Анохин, скажи-ка, Миша Анохин, зачем ты вступаешь в партию?»

В самом конце стола, сбоку, у окна, сидел секретарь райкома.

«Отвечай, отвечай, Анохин...»

Да, надо оглянуться. Надо прямо смотреть в глаза человека, который говорит про тебя, осуждая тебя. Как бы трудно тебе ни было, нельзя опускать глаза на людях.

Привстав, Анохин оглянулся на говорившего. Да, это он, осанистый, дородный мужчина, весь какой-то добротный, располагающий к себе, внушающий уважение. Тот самый, которого за косматые его брови Анохин, едва увидев, окрестил бровастым. Тот самый, которого уличил Анохин в лживых записях в дневнике агитбригады: записей было много, дела не было никакого. Тот самый, которому Анохин сказал тогда в запальчивости:

«Коммунист, который лжет партии, не может не знать, что он подлец. Себе дороже».

Да, этот вот человек и держал сейчас речь об Анохине. Говорил спокойно, бархатисто-негромким голосом, слова подбирал все вежливые, интонация у него была скорее вопросительная, но то, что говорилось им, било по Анохину, возвращая ему назад этого самого «подлеца».

— И тем тягостней вся эта история, тем неблагоприятнее, что замешан в ней молодой коммунист, человек, которому было оказано великое партией доверие, которому было дано первое партийное поручение: быть агитатором.— Бровастый чуть что не плакал, так он горевал сейчас за Анохина.— А вместо этого... Нет, не буду дальше говорить: тут каждое лишнее слово ранит души людей, а нам бы с вами, Анохин, следовало бы их врачевать.

Бровастый сел. Анохин ждал, что он прикроет сейчас рукой глаза,— и он сделал это. Анохин ждал, что он затем наклонится к своему соседу, беззвучно спрашивая губами: «Ну, как?» — и он сделал это. Одного только Анохин не ждал, что соседом бровастого

окажется Анатолий Павлович. Вот ведь, отыскивали друг друга! Пожалуй, только сейчас, только увидев этих столь разных людей вместе, понял Анохин, какая грозит ему опасность. Вспомнилось вдруг и предостережение Лебедева: «Шею сломят!»

А где же он, Лебедев, где Реня, где же его друзья? Враги — вот они, а где же друзья?

Он отыскал Семена Ивановича и Реню в самом углу зала. С ними была и Анюта. Далеко было, он не смог разглядеть, как ответно посмотрели на него его друзья. Кажется, Реня ободряюще улыбнулась ему. А вот и Семен Иванович вскинул свою седенькую головку. Держись, мол!

За спиной снова заговорил Князев, и надо было оборачиваться и смотреть на него.

— Спасибо вам, дорогой товарищ,— говорил Князев и даже кланялся.— Спасибо, что не побоялись вступить за маленького человека, что против своего, против партийного, выступили...— Князев не уставал кланяться, каким-то стародавним движением, всем туловищем.

Смотреть сейчас на него, слушать его было и противно и жутко. Лицо кривится в улыбочке, плечи все ныряют и ныряют в поклонах, слова звучат все какие-то покорно-глумливые, странно не нынешние:

— А я уж думал, правда для меня и не положена, защиты мне сыскать и не у кого.

Кланяясь, все кланяясь, Князев пошел через зал на свое место.

Пошел к своим ребятам и явно призадумавшийся Охотников. Проходя мимо Анохина, шепнул:

— Да, друг, крепко это они вопрос ставят...

Матвей Игнатьевич Крутихин снова занял свое председательское место. Зачем-то постучав пальцем о стол, хотя в зале было совсем тихо, зачем-то поправив свою бабочку и одернув пиджачок, словно собиравшись какие-нибудь стишки сейчас прочесть, он вдруг сухо так, отчужденно глянул на Анохина.

— Что молчишь, Анохин? Давай, держи ответ перед народом.

Анохин встал.

— Сюда, сюда,— сказал Крутихин.

Анохин подошел к столу.

— Минуточку! — поднял руку, поднимаясь, Саркисян. — Несколько только слов по ходу собрания. Можно, Матвей Игнатьевич?

— Только покороче, — кивнул Крутихин.

— Я вот о чем, я определить характер нашего собрания хочу, — оборачиваясь в зал, сказал Саркисян. — Что это — суд товарищеский или, может быть, открытое партийное собрание, коль скоро речь идет о кандидате в члены партии? Нет, думаю, это и не суд и не партсобрание. Думаю, это у нас, товарищи, сейчас собрание избирателей нашего микрорайона. Заявление поступило на агитатора, именно на агитатора, а не просто на коммуниста. Просто коммунист мог бы и отбить чужую невесту. В чем дело? Любила одного — полюбила другого. А вот агитатору — нэльзя. — Саркисян вдруг вспомнил свое «э». — Ему нэльзя, войдя в чужой дом, почувствовать там себя человеком. Он — агитатор, а нэ человек. Вот в чем дело. Ну, я все сказал. Говори, Анохин, как посмел ты забыть об этом.

Саркисян сел, пряча усмешку в лукаво сощурившихся глазах. Он добился своего: зал откликнулся на его слова одобрительным гулом.

Но тут же вскочил со своего места Анатолий Павлович, тоже потянув вверх руку, как нетерпеливый ученик, рвущийся с ответом к доске.

— Прошу! — кивнул ему Крутихин и объявил: — Директор ателье, где работает Лагутина. Прошу.

— Я тоже только по ходу собрания, — раздумчиво клоня голову к плечу, заговорил Анатолий Павлович. — Ну, зачем вам, товарищ Саркисян, понадобилось нас всех тут сбивать в сторону? Суд ли это товарищеский, собрание ли партийное, собрание ли избирателей, — какая по существу в том разница? Человек совершил серьезный проступок, причем кандидат партии, причем агитатор — вот в чем суть дела. А если вы его хотите выгородить, то опять же — почему? Какая вам в том польза? Не мешайте, не мешайте людям разобраться, товарищ Саркисян.

Анатолий Павлович сел.

— Есть польза, есть! — через стулья наклоняясь

к нему, громко сказал Саркисян.— Заступиться за хорошего человека — всегда польза. А вот какая вам польза поддерживать Князева, Анатолий Павлович,— вот про это бы сказали?

— Вот уж и неправда, никого я тут не поддерживаю,— вкрадчиво улыбаясь, быстро оглядываясь по сторонам, отозвался Анатолий Павлович.— Я только о том толкую, что нельзя, нельзя нам, товарищ Саркисян, одних выгораживать, а других топить. Справедливость нужна. Время такое.

— Да, время такое,— выпрямляясь, сказал Саркисян.— Время как раз такое — на словах да на заявлянках не проедешь.

— То-то и оно,— закивал Анатолий Павлович.— То-то и оно.

Саркисян отвернулся от него.

— Говори, Анохин! — требовательно сказал Саркисян.— Что поделаешь, говори все до конца.

— Хорошо, я скажу,— поглядел на него Анохин. Надо бы было повыше поднять голову, но если сделать это, то встретишься глазами с Ниной. «А что, если бы я тогда не достучался до нее? — вдруг подумалось Анохину.— Что, если бы мы и вовсе не встретились? Не лучше ли это было бы для нее, для меня?» И сразу же увиделось, вытеснило все, как входит Князев к Нине Лагутиной, он — муж ее!

— Человек пришел к человеку,— услышал Анохин свой голос.— Человек увидел, что другой человек в беде.— Анохин умолк.

— Дальше, дальше, товарищ человек! — поторопил его Анатолий Павлович.

— А дальше я и не знаю, что сказать,— сказал Анохин. Он задумался. Все ждали его объяснений, а как, а что он мог объяснить? Он и на собрание это шел, не зная, что станет говорить. Запомнилась только первая фраза, с которой собирался начать он свою речь, которой и обрывалась эта его речь. «Да, я виноват, товарищи, но только не перед Князовым» — вот какой была эта фраза. А дальше мысли разбредались, слова не шли. Как скажешь, что ты виноват не в том, что полюбил женщину, а в том, что потянулся к ней, зная, что она тебя не любит? Как скажешь, что вся

твоя вина — это вина перед ней, что если бы не было этой их близости, то он бы сейчас ничего бы не робел тут, ничего? И не был бы виноват, а был бы прав, только прав, что встал на пути Князева. Не для себя, а ради Нины. Но вышло, что для себя.

— Я — виноват, — сказал Анохин. — Не в том, о чем тут пишут в заявлении. Я в другом виноват.

Он замолчал, мучительно не зная, что говорить дальше.

— Спой, светик, не стыдись! — Это негромко пошутил Анатолий Павлович.

— Миша, у вас тут много друзей! — Это Реня.

— погоди! Дай я скажу...

А это кто же? Он вскинул глаза. По проходу к столу шла Нина.

Да, он любил ее, но он совсем не знал ее. Он не мог даже подумать, что она так вот гордо умеет держать голову, что может так вот смело идти, танцующим будто шагом.

Она подошла к нему и положила руку ему на плечо, пальцами коснувшись шеи.

— Вы все его да его спрашиваете, а вы меня спросите, что да как. — Она заговорила, и зал вздохнул и смолк, как будто это один человек. сейчас ее слушал — громадный, сложный, и добрый и злой, человек, которого надо было ей склонить на свою сторону. Но это было трудно сделать. Этот человек, заполнивший весь зал, не простил бы ей сейчас ни единого фальшивого слова. Ни ей, ни Анохину.

— А вы меня спросите, — повторила Нина. — Спросите, кто он для меня — этот вот Миша Анохин, агитатор ваш? Ответить?

— Да, мы слушаем! — вскрикнула чья-то добрая душа в зале. Анюта? Кажется, она.

— Он — любимый мой, вот он кто, — сказала Нина.

Ее пальцы у него на шее задрожали, и он не поверил ей. «Любимый?!» Он не поверил ей.

Но громадный и сложный человек в зале ей поверил и дружно вздохнул, изумившись ее словам.

— Да, я полюбила его, — сказала Нина. — За смелость его, за доброту, за честность. Он хотел помочь мне и помог. Я теперь не боюсь, как раньше, каждого стука, каждого шороха. И вас, Анатолий Павлович,

с вашими угрозами, и тебя, Князев, не боюсь. И ему ничего от меня не нужно было, он для меня добра хотел. Вот он меня и сагитировал, чудной,— мягко сказала она. Ее пальцы на миг перестали дрожать.— Милый ты мой, попутала тебя девка.

Зал ахнул и закричал и раскололся на множество людей. Но Нина подняла руку, и все смолкли.

— Мы не хотели ничего такого, так вышло. Я совсем одна осталась, а он стал мне другом. Эти вот, что кричали сейчас там,— Нина протянула руку в зал, найдя там Анатолия Павловича, а потом Князева,— эти вот только и делали, что пугали меня. Зачем? И про это скажу. Князеву одно от меня было нужно, этому вот, заведующему нашему, другое. А взять вместе, им нужно было, чтобы я испугалась да всему покорилась. На всю жизнь испугалась и на всю жизнь покорилась. Чтобы молчала... Чтобы крала, если велят... Чтобы обманывала людей, если велят... Вот меня и пугали. Всем! То матери моей дела вспомнят, то про их же у меня спрятанные сверточки вспомнят, то просто убить посулят. Доносом этим вот еще пугали. И донесли. Эх, Женя, глупый ты, глупый. Всякое я о тебе думала, но что доносы станешь писать — этого не думала. Знаю, не сам писал. Глупый ты, глупый...

Нина обернулась к Анохину, рука ее соскользнула с его плеча.

— Миша, вот и все,— улыбнувшись, сказала она. Доброе, смелое лицо, а глаза все те же — измученные.

— Это правда? — губами спросил он.

— Сама еще не пойму.

К ним подбежала Анюта, подпрыгнула, обняв сразу и ее и его, и что-то зашептала, плача и смеясь, проглатывая слова.

Вдруг, сменяя все прочие звуки, а шум царил в зале такой, точно все там сразу зашпорили друг с другом, послышался от дверей хриловато-бесцеремонный молодой голос:

— Охотников, давай с ребятами на площадку! Самосвалы ждут!

В дверях, потеснив ненароком стоявшего там Князева — если бы он знал только, кого толкает! — вырос

перемазученный паренек-шофер. Нет, он не знал, что тут происходит. Да ему и незачем было знать. «Самосвалы ждут!»

— Ребята, на выход! — поднялся Охотников. Он обрадовался, что снова можно кинуться в работу, можно показать себя на людях. — Голоснем криком!

— Перерыв! Перерыв! — закричали со всех сторон.

— Верно, теперь можно и покурить, — сказал Саркисян Крутихину. — Объявляй, председатель, перерыв.

— Такой раз оборот, то конечно... — Матвей Игнатьевич никак не мог еще приспособиться к новому направлению, которое приняло руководимое им собрание. — Перерыв! — нерешительно выкрикнул он.

На площади было уже темно. И фонари не могли рассеять этой темноты после ярко освещенного зала столовой.

Выходя, люди дробились на маленькие группы, разбредались кто куда, но разговор у всех шел общий. Прислушаться, так это был разговор о самом главном, что есть в жизни человека, — о любви, о честности, о подлости. Вот какой шел вокруг разговор, хотя, если ловить сами слова, то было их немного, речей вокруг не говорили. Кто скажет слово, а кто и промолчит. Люди думали.

Анохин вышел на улицу вместе с Ниной. Их сразу окружили какие-то парни, и Анохин узнал в одном из них того самого паренька-дружинника, который тяжело оскорбил совсем недавно Нину Лагутину — вот тут же, в этой столовой, — назвав ее «девахой Князева». А теперь этот паренек, дружески издали кивнув Анохину и Нине, вместе со своими товарищами встал на их защиту. Да, ребята окружили их, чтобы не подпустить к ним Князева. Они старались не мешать Анохину и Нине разговаривать, но держались поблизости.

Нужна ли была сейчас эта предосторожность? Как знать? Может быть, и нужна, хотя Князева нигде не было видно. Темно, никого не было видно.

Нина и Анохин шли молча, направляясь туда же,

куда и все,— к пустырю. Там, на крыше одного из строительных вагончиков, ярко вспыхнул луч прожектора. Ударившись в небо, захлебнувшись в нем, луч быстро скользнул к земле и пошел, пошел по стенам домов, выискивая себе работу. Он лег на площадь, тихонько побрел вместе со всеми к пустырю, освещая по пути то одного, то другого, а то и сразу нескольких человек. Вот лег к ногам Анохина и Нины и пошел с ними в ногу, подрагивая на их лицах.

Зажмурившись, рассмеявшись, точно это солнечный зайчик упал на ее лицо, Нина близко прижалась к Анохину, шепнула, заглянув в его напряженно ждущие глаза:

— Не торопи меня. Не пойму, не торопи...

К ним подошли Семен Иванович и Реня.

Семен Иванович приготовился, должно быть, о многом сказать Анохину, он даже приостановился для этого, но сказал всего-то три слова:

— Твоя правда, Миша...— И быстро отшагнул в темноту.

А Реня ничего не сказала. Кивнула только быстро Нине, Анохину, щедро одарив их светом своих глаз, и вот уж и нет ее.

А тут и луч их оставил, заторопившись к пустырю, к работе.

Там, на пустыре, уже снова начал действовать кран. Как нарочно, ну, конечно же, нарочно, он подкатил к князевской будке. Теперь только нужно было, чтобы луч подсветил, куда накидывать тросы, как лучше подвести крюк.

Луч начал подсвечивать. Он высветил сперва кран и Охотникова, сидевшего на рычагах управления. Охотникову не терпелось своротить поскорей эту будку, он кричал что-то своим помощникам, азартно высунувшись по пояс из кабины.

Вдруг он увидел Реню. Он окликнул ее:

— Реня, сюда, сюда!

Она обернулась к нему, шагнув в полосу света, и слабо повела рукой, отказываясь подойти.

— Вы пужны мне! — крикнул Охотников.— Очень!

Реня нерешительно шагнула вперед по улегшемуся у ее ног лучу.

— Зачем?

Она шла, спотыкаясь, не глядя под ноги, вскинув лицо к Охотникову, грустное и светлое свое лицо.

— Помогите мне,— сказал он.

— В чем?

Охотников высунулся из кабины и протянул Рене руку, чтобы она могла подняться к нему в кабину. Реня не стала спорить, она ухватилась обеими руками за руку Охотникова, и он мигом поднял ее высоко над землей.

И вот она уже рядом с ним — в тесной кабине, где держится еще дневной железный жар, где повсюду, странно изогнутые, замерли могучие рычаги, где все гудит и звенит, нутужно и тревожно, от работающего мотора. Какое могучее сердце у этой машины! Кажется, что гудит и звенит вокруг вся земля.

— Ну зачем, зачем я вам нужна? — обомлев от этого жара, от этого гула, спросила Реня, не зная, как отстраниться от Охотникова, посадившего ее рядом с собой на высокое и узкое сиденье.

— Я ведь еще однорукий,— сказал он.— Все еще однорукий. Ну-ка, потяните-ка этот рычажок. Сильнее! Смелее!

Реня схватилась руками за рычаг, не веря, что эта громадная железина может стронуться с места, и изо всех сил рванула рычаг на себя. Железина стронулась, и вся громадная машина послушно дрогнула от движения Рениных рук и рванулась, вскинувшись, замерев в ожидании нового приказа.

— Это — я?.. Это — из-за меня? — изумилась Реня.

— Да, да,— подтвердил Охотников.— А теперь вот этот рычажок и вот так, вот сюда.— И он повел плечами, подсказывая Рене движение ее рук.

Она поняла и верно все сделала, изумляясь послушанию машины, не веря и веря, что это ее руки, слабые вот эти руки, заставили сейчас повернуться в небе громадную стрелу крана.

— Это — я?.. Это — из-за меня?..

— Вы. Из-за вас.

Реня оглянулась на Охотникова, счастливо блеснув глазами, и вдруг решила и сама толкнула рукой рычаг. И порывисто наклонилась вперед, чтобы удостовериться, что стрела покорила ее движению. Да, стрела покорила: так же трепетно, так же и

смело и робко, как толкнула рычаг Реня, шевельнулась в небе могучая стрела крана.

— Вы многое можете,— услышала Реня за своей спиной незнакомо серьезный голос Охотникова.— Я понял это, такие, как вы, как Анохин этот ваш, многое могут...

— Смотрите! — вдруг встрепенулась Реня.— Смотрите!

Сдвинувшись в сторону от крана, луч прожектора лег поверх князевской будки, осветив тропинку за ней и шинные следы, уходящие через пустырь к оврагу. И двух человек еще, быстрым шагом отходивших в темноту.

Это были Князев и Анатолий Павлович. Издали казалось, они идут, мирно беседуя. Но то издали...

Князев шел, покачиваясь, ознобом поводило его широкие плечи. Он шел и постанывал, сжевывая в зубах рвущиеся из него слова. А Анатолий Павлович говорил, говорил.

— Ты вот что,— учил он Князева,— ты не теряй головы. Сразу после перерыва проси слова и прямо так и заявляй: сговор, мол, тут у вас, нет у вас тут справедливости. Как же это, мол, так, чтобы у человека всю жизнь разбили, а он же и виноват...

— Сговор?..— Князев остановился.— Провел ты меня, сука. Подвел...

И все, кто стоял сейчас на площади, а народу тут было много, и Реня и Охотников из кабины крана,— все увидели, как качнулся Князев к своему дружку Анатолию Павловичу, как отпрянул потом и вдруг побежал по шинному следу к оврагу. А Анатолий Павлович вдруг стал валиться на землю, судорожно зажимая руками бок.

— Помогите! Убили! — слабо донеслось с пустыря.

Луч прожектора кинулся за Князевым. Где там! Князев исчез...

Город украшался к Первомаю. Красный цвет все чаще просверкивал в серо-белой гамме городских стен, в необозримом, несметном скоплении домов. Как первые полевые цветы по весне, вспыхивали алые

пятнышки флагов на громадном поле громадного города.

И на малой его частице, средь трех домов, вставших вокруг крохотной площади, тоже началось это предпраздничное нашествие кумача.

А что ни говори, красный флаг на стене — обязывает. И эти вот сведенные воедино Серп и Молот обязывают. И звездочка пятиконечная — тоже. Все это обязывает человека вспомнить, жителем какой страны он является. Вспомнить и, пусть мимоходом, подумать о себе самом в своей стране. А каков ты сам в этом обществе, вставшем под алое знамя? Каковы твои мечты, стремления, какова твоя готовность идти дальше — в новое, в неизведанное?

Да, алый флаг обязывает и, хоть на минуту, а выисит твои мысли над повседневностью, заставит задуматься. Вслух не обязательно говорить, о чем ты подумал. Подумал — и ладно. И дальше, и о другом уже потекли твои мысли. Но была минута, когда ты думал об этом красном флаге. Нужная очень минута. Может быть, флаг на стене твоего дома потому и дорог тебе, что дарит такие вот минуты. Он не для праздника больше, а для дум твоих о себе, о стране, о том, как слагаем мы нашу жизнь.

Анохин и Витька занимались сейчас тем, что с помощью нехитрого приспособления медленно поднимали на карниз своего кинотеатра красные прямоугольники первомайского лозунга. По слову на прямоугольник. Уже были подняты и укреплены все, кроме одного, слова этого лозунга: *«КОММУНИЗМ УТВЕРЖДАЕТ НА ЗЕМЛЕ МИР, ТРУД, СВОБОДУ, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО...»*

Анохин стоял на земле, Витька взобрался на крышу. Анохин закреплял на канате последнее слово лозунга, Витька нетерпеливо подергивал канат, готовый взметнуть это слово и поставить в ряд с теми торжественными словами, что уже нашли свое место на крыше кинотеатра.

— Готов?! — крикнул Витька.

— Есть! — отозвался Анохин.

— Ловлю! — крикнул Витька.

**И СЧАСТЬЕ** медленно и торжественно поплыло вверх.

«Счастье...— подумал Анохин.— В чем оно — тут вот, подле этих вот слов, уже поднятых и вставших одно за другим, чтобы сложить первую заповедь нового мира? Не в том ли оно — это счастье,— чтобы жить для других, давать, а не брать?.. Счастье... Вот тогда оно и дастся тебе...»

*Москва.*

*1961—1963 гг*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>КНИГА ПЕРВАЯ</i>	. . . . .	3
<i>КНИГА ВТОРАЯ</i>	. . . . .	171

*Лазарь Викторович Карелин*

**МИКРОРАЙОН**

**Редактор О. В. Трунова**

**Художник А. А. Черномордик**

**Художественный редактор**

**Э. А. Розен**

**Технический редактор**

**Р. А. Медведева**

Сдано в набор 4. IV. 63 г.  
Подписано к печати 26. VI. 63 г.  
Формат бум. 84 × 108/32. Физ. печ. л. 11,0.  
Усл. печ. л. 18,04. Уч.-изд. л. 17,8. Изд.  
инд. ХЛ-548. А01689. Тираж 100.000 экз.  
Цена 60 коп. в переплете

Издательство «Советская Россия».  
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Фабрика высокой печати  
издательства «Советская Россия»,  
г. Электросталь, ул. Школьная, 25.  
Заказ № 1046.

## **К ЧИТАТЕЛЯМ**

*Издательство просит отзывы об этой  
книге и пожелания присылать по адресу:  
Москва, Центр, проезд Сапунова, д. № 13/15,  
издательство «Советская Россия».*

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ „СОВЕТСКАЯ РОССИЯ“**

**ВЫШЛИ В СВЕТ  
И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ  
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- В. Кожевников.** День летящий. Повести и рассказы. 294 стр., 37 коп.
- Г. Николаева.** В человеке не без чуда. Рассказы и повесть. 216 стр., 50 коп.
- Л. Соболев.** Капитальный ремонт. Роман. 428 стр., 90 коп.
- А. Талвир.** Живая ветка. Повести. 372 стр., 74 коп.
- Ю. Лавторов.** Воспоминания о писателе-бойце (сб. статей о Вс. Вишневском). 344 стр., 87 коп.
- Г. Тропопольский.** Кандидат наук. Повесть. 212 стр., 37 коп.
- А. Степанов.** Семья Звонаревых. Роман. 528 стр., 1 р. 09 коп.
- Е. Пермитин.** Первая любовь. Роман. 608 стр., 1 р. 15 коп.
- В. Очеретин.** Сирена. Роман. 319 стр., 63 коп.
- В. Сафонов.** Книга странствий. Путевые повести. 392 стр., 79 коп.
- А. Бальбуров.** Поющие стрелы. Роман. 304 стр., 89 коп.

*Книги продаются в магазинах Книготорга и  
потребительской кооперации, а также  
в киосках Союзпечати*

Larisa\_F

